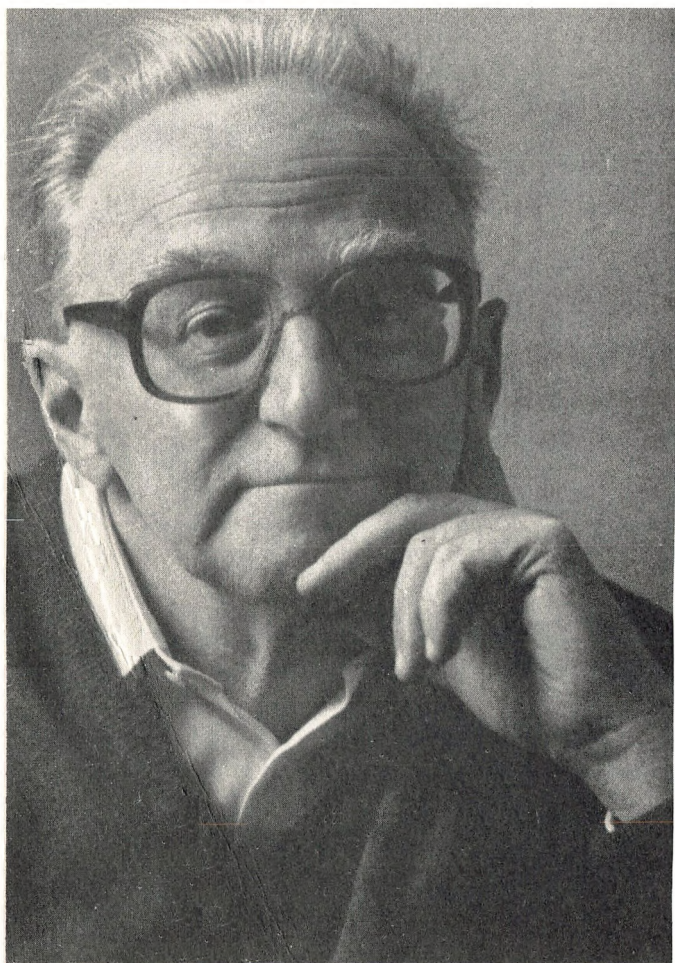


Борис ХАЗАНОВ

Борис
ХАЗАНОВ
ЧАС КОРОЛЯ
АНТИВРЕМЯ.
МОСКОВСКИЙ РОМАН





**Борис
ХАЗАНОВ
ЧАС КОРОЛЯ**

АНТИВРЕМЯ.
МОСКОВСКИЙ РОМАН

Нине —
на память от алдра.

З.р. Мюнхен,
февр. 94.

EX LIBRIS

**ИЗДАНИЯ
КНИЖНОЙ РЕДАКЦИИ
СОВЕТСКО-БРИТАНСКОГО
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

СЛОВО / SLOVO

Москва

1991

ББК 84Р6
X 15

Предисловие
Бенедикта Сарнова

Художник
Алексей Бегак

X $\frac{4702010201-016}{M128(03)-91}$ Без объявл. © Борис Хазанов, 1991
© Сарнов Б. М., предисловие, 1991
© Алексей Бегак, оформление, 1991
ISBN 5-85050-274-2

ПИСАТЕЛЬ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

1

«Вас, писателя, выбросило на необитаемый остров. Вы, предположим, уверены, что до конца дней не увидите человеческого существа и то, что от вас останется, никогда не увидит света.

Стали бы вы писать романы, драмы, стихи?

Конечно, нет.

Ваши переживания, ваши волнения, мысли — претворялись бы в напряженное молчание... Вы тосковали бы по собеседнику, сопереживателю, — второму полюсу, необходимому для возникновения магнитного поля, тех, еще таинственных, токов, которые появляются между оратором и толпой, между сценой и зрительным залом, между поэтом и его слушателями.

Предположим, на острове появился бы Пятница или просто говорящий попугай, и вы, поэт — сочинили бы на людоедском языке людоедскую веселую песенку и еще что-нибудь экзотическое для попугая. Это тоже несомненно. Художник заряжен лишь однополюсной силой. Для потока творчества нужен второй полюс, — вниматель, сопереживатель...».

Этот «мысленный эксперимент», поставленный А. Н. Толстым (в предисловии к книге рассказов 1924 года), кажется непререкаемо убедительным. Особенно убедителен вывод: «Из своего писательского опыта я знаю, что напряжение и качество той вещи, какую пишу, зависит от моего первоначально заданного представления о читателе».

Мысль, что писатель может создать что-либо стоящее, не имея при этом в виду вообще никакого читателя, — такая мысль А. Н. Толстому (да и едва ли не каждому в те времена) показалась бы по меньшей мере нелепой.

А между тем такой писатель уже существовал.

В предисловии к своей книге, красноречиво озаглавленной «Уединенное», — книге, обозначившей, выражаясь привычным нам слогом (вместе с двумя коробами «Опавших листьев» того же автора), некий «шаг в художественном развитии человечества», В. В. Розанов писал:

«Шумит ветер в полночь и несет листья... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полу-мысли,

полу-чувства... Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, — и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листы собрать.

Зачем? Кому нужно?

Просто — мне нужно. Ах, добрый читатель, я давно уже пишу «без читателя», — просто потому что н р а в и т с я...

Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, — можешь и ты не церемониться со мной:

— К черту...

— К черту!

...Пишу для каких-то «неведомых друзей» и хоть «ни для кому»...».

Для каких-то «неведомых друзей» — это еще понятно. Но — «ни для кому»?.. Кокетничает он, что ли?

Толика известного если не кокетства, то эпатажа здесь, конечно, есть. Но есть и огромная доля искренности.

В чем другом, но уж в неискренности Василия Васильевича Розанова никто никогда не обвинял. Обвиняли скорее в излишке искренности, в присутствии ему некоем «духовном эксгибиционизме».

Нет, Василий Васильевич не врал, уверяя, что ему нет до читателя никакого дела. И лично у меня нет ни малейших сомнений, что он продолжал бы вот так же собирать и сортировать свои «опавшие листья», случись ему оказаться даже и на необитаемом острове.

Таких оригиналов, как В. В. Розанов, не то что в русской, но и в мировой-то литературе не шибко много. Но все же я не думаю, что вот в э т о м своем качестве он был такой уж белой вороной.

У мифического царя Мидаса, как известно, были ослиные уши, которые он прятал под фригийской шапочкой. Только один-единственный человек из всех подданных царя мог видеть этот царский изъян: его брадобрей. Брадобреев поэтому всякий раз приходилось убивать. Но однажды царь пожалел мальчишку-цирюльника и не казнил его. Но взял при этом с него клятву, что тот ни за что, никому, ни при каких обстоятельствах не выдаст страшную тайну. Мальчишка знал, что, не сохранив тайну, он погибнет мученической смертью. Но тайна жгла, томила его, нести бремя этой тайны с каждым днем было для него все невыносимее. И вот он — вырыл ямку в земле и крикнул туда: «У царя Мидаса — ослиные уши!»

Продолжение сказки известно. На месте той ямки вырос тростник. Тростинку срезал пастух, сделал из нее дудочку, и дудочка в устах пастуха пропела на весь белый свет, что у царя Мидаса ослиные уши. Тайна вышла наружу.

Вероятно, из этой притчи можно извлечь много смыслов. Но я рассказал ее здесь, чтобы подчеркнуть лишь один. Мальчишка-цирюльник, вырвавший ямку и выкрикнувший в нее эти разрывающие его слова, ни

о чем не думал, ни на что не рассчитывал. Он сделал это просто, чтобы отделиться от непосильного для него бремени.

Каждый истинный художник в чем-то сродни этому сказочному мальчику-брадобрею.

Крамской говорил о своей картине «Христос в пустыне»:

«Уже пять лет неотступно он стоял передо мною; я должен был написать его, чтобы отделиться...»

Можем ли мы с уверенностью утверждать, что видение Христа в пустыне, так упорно преследовавшее художника, что он не мог отделаться от него иначе как попытавшись перенести его на холст, — можем ли мы утверждать, что видение это оставило бы его в покое, окажись он на необитаемом острове?

Конечно, не все творцы, не все подлинные художники созданы по единому образу и подобию. Вероятно, имеют право на существование и другие, заряженные, как говорит А. Н. Толстой, «лишь однополюй силой». Не знаю. Но одно я знаю твердо. Писатель, книгу которого вы сейчас раскрыли, принадлежит именно к той категории художников, которые не перестали бы творить и на необитаемом острове.

В каком-то смысле можно даже сказать, что с ним именно так все и было. Он и начал свой литературный труд, и сложился как зрелый, состоявшийся, самобытный художник, находясь на «необитаемом острове» и почти не имея никаких надежд этот свой «необитаемый остров» когда-либо покинуть.

2

С автором этой книги Геннадием Файбусовичем (он тогда еще не был Борисом Хазановым) меня познакомил Борис Володин, работавший тогда в журнале «Химия и жизнь». Люди, делавшие этот журнал, ни в коей мере не ограничивали себя ни узкими рамками только одной науки (в данном случае — химии), ни какими-либо жанровыми границами. Кто-то из знакомых будущего Бориса Хазанова предложил ему написать для этого журнала какую-нибудь статью. Скажем, о медицине. Или о биологии. (По образованию Геннадий Моисеевич был медиком и работал тогда врачом в одной из московских больниц).

Глянув на статью опытным редакторским глазом, Володин сразу понял, что имеет дело с литератором высокого профессионального класса. Это, понятно, его удивило.

— А вы еще что-нибудь до этого писали? — поинтересовался он.

Автор статейки, помявшись, признался, что да, действительно, писал.

— А вы не могли бы мне показать в сё когда-либо вами написанное?

Без особого восторга, не слишком даже охотно, тот согласился. Прочитав это «все», Володин позвонил мне. Следом за ним повести и рассказы Геннадия Файбусовича (а их к тому времени было написано уже немало) прочитал и я. Прочитал и, что называется, разинул рот. Передо мной был вполне сложившийся, законченный писатель, со своим миром, своим художественным зрением. Но самым удивительным, пожалуй, тут было то, что проза эта была отмечена не только печатью несомненного художественного дарования, но и несла на себе все признаки зрелого, утонченного, я бы даже сказал, изысканного мастерства. Видно было, что автор — далеко не новичок в писательском деле.

— Давно вы пишете? — задал я стереотипный вопрос, когда мы встретились.

Ответ последовал неопределенный. Но я и не ждал определенного ответа. Мне было ясно: чтобы так писать, надо было начать давно. Очень давно. В самой ранней юности. И отдаваться этому занятию не урывками, а постоянно. Всю жизнь.

Впоследствии выяснилось, что так оно в действительности и было. Но тогда я расспрашивать его об этом не стал. Я только спросил, давал ли он до меня и Володина кому-нибудь еще читать свои прозаические опыты. Выяснилось, что читала его повести и рассказы только жена. И ей они не нравятся.

— И у вас никогда не было потребности показать их еще кому-нибудь?

Он в ответ только пожал плечами.

Такое отношение к своим писаниям показалось мне по меньшей мере странным. В нашей литературной среде оно выглядело не то что необычным, а прямо-таки поразительным. Еще с литинститутских времен я привык, что каждый из нас, написав «что-нибудь новенькое», тотчас спешит сообщить об этом всем окружающим и с нетерпением ждет непременно: «прочти», или: «дай почитать», чтобы поскорее получить долю причитающихся ему комплиментов. Впрочем, дело было не только в жажде аплодисментов. Больше всего на свете каждый из нас боялся вызвать подозрение в литературной импотенции. Литератор подобен курице, которая, снеся яйцо, долго кудахчет над ним, стремясь оповестить об этом важном событии всю вселенную.

Я подумал тогда, что отсутствие у моего нового знакомого потребности делиться результатами своего труда с кем бы то ни было обусловлено тем, что у него — сознание д и л е т а н т а, то есть человека, для которого литературные занятия — не профессия, а — х о б б и. Ну и, конечно, — мелькнула мысль, — не обошлось здесь и без некоторого чудачества, порожденного то ли индивидуальными особенностями характера, то ли обстоятельствами сугубо биографическими. (Я уже тогда знал, что, будучи студентом последнего курса классического отделения филфака МГУ, он был арестован и шесть лет провел в сталинских лагерях, а после лагеря, перечеркнув всю свою прошлую долагерную

жизнь, поступил на медицинский факультет, окончил его, стал врачом, тем самым как бы окончательно поставив крест на «гуманитарных» увлечениях своей юности. Кто знает, может быть, втайне он даже стыдился признаться вслух, что до седых волос не может расстаться со своей «детской» страстью к литературе.)

В какой-то мере эти мои предположения, вероятно, были не беспочвенны. Во всяком случае — в той своей части, которая относилась к индивидуальным особенностям характера, вернее, к тому, что принято называть экзистенцией, то есть коренными, сущностными свойствами личности. Но, как выяснилось впоследствии, было тут и другое.

За этим образом поведения лежала сложившаяся, выношенная, во всех своих подробностях и деталях продуманная концепция.

Эту концепцию Борис Хазанов несколько позже изложил в одном частном письме, адресованном безвестному молодому литератору. Письмо представляло собой документ в известном смысле программный. Оно даже было несколько торжественно озаглавлено «Письмом к писателю». Но, в полном соответствии с характером автора и исповедуемой им теорией, так и осталось частным письмом и, насколько мне известно, никогда нигде не публиковалось.

В этом «Письме» автор развивал любимую свою мысль, которую он частенько повторял в наших с ним постоянных разговорах на литературные темы. Речь шла о так называемой «неклассической литературе» и ее связи с «неклассической физикой». Классический роман XIX века он сопоставлял с картиной мира, описанной Ньютоном, уподоблял его ньютоновской, компактной, прочно устроенной вселенной, где все происходит точно в соответствии с законами, где все будущее строго зависит от всего прошедшего.

В те времена предполагалось, что существует некоторый всеобъемлющий объективный мир и некоторая идеальная точка зрения, с которой этот мир может быть созерцаем наиболее совершенным образом: это и есть точка зрения художника. Время в этом мире было чем-то безусловно объективным, то есть протекающим для всех с одной и той же скоростью, что доводилось до сознания читателя при помощи классической линейной последовательности изложения: все следствия происходили после причин, герои никогда не умирали прежде, чем родиться. («Время в моем романе расчислено по календарю», — заверял читателей своего «Онегина» Пушкин.)

И вот эта уютная, прочная и толково устроенная вселенная рухнула.

Великой революции в физике соответствует столь же грандиозная революция в искусстве. И подобно тому, как эта первая революция связывается обычно с именем Эйнштейна, так вторая по праву должна быть связана с именем Достоевского. Именно Достоевским, утверждает Борис Хазанов, был впервые дискредитирован объективный мир, а вместе с ним и всезнающий, всевидящий, всепонимающий мироописатель. В

старом романе художник был подобен творцу, единому Богу: он незримо присутствовал везде, но его не было видно. Он воплощал ту идеальную точку зрения, с которой видно все: весь мир и все души. И никому не приходило в голову спросить: а откуда автор знает, о чем думала Анна Каренина за миг до смерти, ведь она ни с кем не успела поделиться этими своими мыслями? Такой вопрос не мог даже и возникнуть: на то он и автор, чтобы знать самые сокровенные мысли созданных им персонажей.

И вот этот Бог исчез. И точка зрения, с которой отныне имеет дело читатель, уже, оказывается, вовсе для него не обязательна, потому что вдруг, нежданно-негаданно выяснилось, что нет на свете истины, одинаковой для всех: любая точка зрения более или менее случайна. И время, бывшее в старом классическом романе единым для всех, теперь для разных персонажей протекает по-разному. Романист XX века обращается с временем весьма свободно: он то сгущает его, то растягивает...

Я не стану более подробно излагать суть этой концепции современного искусства: полагаю, что даже в этом моем довольно неуклюжем изложении основная мысль Б. Хазанова достаточно ясна. Стоит, пожалуй, только добавить, что «Письмо», в котором он излагал эти свои соображения, было подлинным гимном вот этой самой новой, неклассической прозе, в которой «мир предстает перед нами искривленным и поначалу кажется иррациональным. Но этот мир, в котором читатель чувствует себя заблудившимся, как Дант, потерявший Виргилия, пронзительно правдив».

Борисом Хазановым движет уверенность, что старый, классический роман неспособен правдиво отразить действительность, в которой мы живем. Он не говорит об этом прямо, но мысль его именно такова, тут не может быть сомнений.

«Можно было бы объяснить, — замечает он, — откуда возникла такая концепция. Она — порождение века, в котором человек перестал чувствовать себя хозяином не то чтобы на всей планете, — этого, слава Богу, никогда не было, — но на своем маленьком клочке земли, в своей собственной квартире. Она детище того времени, когда каждый ощущает себя обездвиженным придатком, а то и рудиментом, в чудовищно сложном и непостижимом мире, который отлично может обойтись без него; когда все мы точно висим на подножке переполненного трамвая; когда стоимость человеческой личности стремительно падает и каждый на самом себе испытывает тяжесть гнета анонимных человеческих институтов, непостижимым образом ведущих самостоятельное, не зависящее от воли людей существование, — армии, государства, тайной и явной полиции, идеологического аппарата и механизмов массовой информации. Вместе с тем это искусство представляет собой героическую и по-своему действенную попытку отстоять человечность в обезличенном и обезчеловеченном мире».

Последняя фраза нуждается в некоторых разъяснениях.

Героические стимулы всегда были свойственны искусству. Классической прозе XIX века не в меньшей мере, нежели той «неклассической прозе», убежденным приверженцем и апологетом которой выступает в этом отрывке Борис Хазанов.

Один из самых глубоких исследователей творчества Л. Н. Толстого Б. М. Эйхенбаум посвятил этой теме специальную статью. Рассуждая о стимулах, побуждавших Льва Николаевича творить, он приводил отрывок из письма автора «Анны Карениной» А. А. Толстой, написанного в 1874 году:

«Вы говорите, что мы как белка в колесе... Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что *du haut de ces pyramides 40 siecles me contemplent* (с высоты этих пирамид сорок веков смотрят на меня) и что весь мир погибнет, если я остановлюсь».

Приведя эту цитату, Б. Эйхенбаум так ее комментирует:

«Речь здесь идет именно о стимулах: Толстой не хочет соглашаться, что мы «как белка в колесе»... В противовес формуле «как белка в колесе», он приводит слова Наполеона, сказанные в Египте... Но следом за этой формулой приводится другая, ведущая свое происхождение из философии Шопенгауэра и еще более многозначительная: «*Весь мир погибнет, если я остановлюсь*». Толстой, оказывается, чувствует себя центром мира, его главной движущей силой — солнцем, от деятельности которого зависит вся жизнь. Как ни фантастичен этот стимул — он составляет действительную основу его поведения и его работы... Это больше чем «вдохновение», — это то ощущение, которое свойственно героическим натурам... Совсем не этика руководила Толстым в его жизни и поведении: за его этикой как подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стояла *героика*».

Вывод этот, при всей своей кажущейся убедительности, не представляется мне вполне справедливым. Толстой ведь прекрасно понимал, что мир не погибнет, если он прекратит свою работу. Более того: в глубине души он, вероятно, понимал даже, что деятельностью своей, сколь гигантским ни было бы воздействие ее на людей, он не в силах хоть сколько-нибудь изменить ход мировой истории, хоть на йоту отклонить развитие мировых событий от «заданного курса»: вся философия истории Л. Н. Толстого может служить подтверждением несомненности этого вывода.

В письме к Н. Страхову, жалуясь на очередную остановку в работе, Толстой вскользь обронил: «Все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения...»

Поразительное словосочетание это — *энергия заблуждения* — с исчерпывающей ясностью объясняет смысл его формулы: «весь мир погибнет, если я остановлюсь». Формулу эту ни в коем случае не следует понимать буквально. Это чувство, это сознание, что весь мир

остановится, если он прекратит работу над своим романом, — всего лишь энергия з а б л у ж д е н и я, то есть самообман, без которого он не может творить. Да и в письме к А. А. Толстой, которое цитирует Б. Эйхенбаум, эта мысль просвечивает довольно ясно. Толстой ведь прямо говорит там, что ему, в сущности, нет дела до того, живем ли мы и работаем «как белка в колесе». Пусть даже это действительно так. Чтобы жить и работать, «этого не надо говорить и думать».

В сущности, Толстой рассуждает как экзистенциалист: пусть моя жизнь и работа не имеют ни малейшего смысла, я все равно должен жить и работать так, как будто мир погибнет, если я остановлюсь.

Но если это так, в чем же тогда разница между героическими стимулами, движущими пером Льва Толстого, и героическими стимулами, побуждающими творить писателей новой эпохи?

Разница в том, что на тех писателей, от имени которых говорит в своем «Письме» Борис Хазанов, никакая энергия заблуждения уже не действует. В том мире, где им предстоит жить, источники этой энергии давно иссякли. Ни при каких обстоятельствах, никакими силами они уже не смогут заставить себя поверить, что их работа может хоть что-нибудь изменить в мире, где «все мы точно висим на подножке переполненного трамвая». Но даже ощущая себя «обездвиженным придатком в мире, который отлично может обойтись без него», он упорно, настойчиво, вопреки всем запретам и помехам, продолжает заниматься своим делом. Не потому что верит, что это нужно его ближним или «дальним», современникам или потомкам, читающей публике сезона или человечеству, а только лишь по той единственной причине, что это необходимо е м у с а м о м у.

3

Ему было 15 лет, когда он сделал ошеломившее его открытие.

Но лучше пусть он расскажет об этом сам:

«Я жил чудной, магической жизнью подростка, которую я не силах сейчас описать. Глухое татарское село, больница, где работала моя мать, с общим корпусом, как две капли воды похожим на флигель, где находилась палата № 6, холмы, поросшие лесом, река, сугробы, сани, звон почтового колокольчика, милиционер в форменной шинели и лаптях, деревенский базар, все впечатления никогда не виданной мною «почвы» перемешались в моей душе с образами книг, с «Разбойниками» и «Заговором Фиеско», с Фаустом, в котором больше всего меня поразили не приключения с Маргаритой, а таинственная обстановка средневековой кельи, знак макрокосма и духи, с Герценом, со стихами Блока... В это же время совершилось во мне то, что можно было бы назвать «кризисом веры».

Кризис заключался в том, что я перестал верить в советскую власть. Точнее, я перестал верить в то, чему учили, что говорилось о политике, о революции и социалистическом строе... Каждый день я открывал что-нибудь новое; каждый день падал какой-нибудь очередной глиняный идол. Так повалились одна за другой «первая в мире страна», «власть трудящихся», «дружба народов», «закон, по которому все мы равны», рухнул, разбившись вдребезги, и сам великий вождь и учитель... Как и подобает мыслящему человеку, я вел дневник, в котором начертил, когда мне было 16 лет, мысль, казавшуюся мне необыкновенно оригинальной, о том, что «у нас здесь, в СССР, — фашизм!». Я рассуждал о том, что если бы Ленин был жив, то был бы наверняка объявлен врагом народа и расстрелян, вроде того как у Достоевского Великий инквизитор собирается сжечь Христа, действуя от его же имени.

Я сделал эту длинную выписку из неопубликованного автобиографического наброска автора этой книги не для того, чтобы показать, каким умным и проницательным подростком он был, как рано прозрел, как быстро открылись ему истины, которые многие его сверстники постигали десятилетиями, по капле выдавливая из себя прочно вбитые в их бедные головы фетиши. Цитата эта понадобилась мне для того, чтобы показать, какую огромную власть над его душой уже тогда имела литература. Все его жизненные впечатления, все социальные, политические и экономические откровения, рожденные первым столкновением (война, эвакуация) с реальностью советской жизни, переплетены, пронизаны литературными ассоциациями. Тут и чеховская «Палата № 6», и драмы Шиллера, и «Фауст» Гете, и Герцен, и Блок, и Великий инквизитор Достоевского...

Немудрено, что, окончив школу, он без колебаний выбрал для себя филологический факультет. Он не мыслил свою будущую жизнь вне литературы. Литература (точнее, классическая филология) должна была стать его профессией.

Но тут произошло событие, резко повернувшее всю его жизнь.

О причинах этого рокового события можно было бы не говорить, поскольку, как сказано в уже цитировавшемся мною его автобиографическом сочинении, в то время в нашей стране «вероятность попасть за колючую проволоку для каждого превысила вероятность заболеть раком, угодить под автомобиль или лишиться близкого человека».

И все-таки если не о причинах, то о конкретных обстоятельствах, послуживших поводом для его ареста, тут надо сказать. Потому что и тут дело не обошлось без художественной литературы.

«Я сидел в углу за крошечным столиком, — вспоминает он, — ночью, под яркой лампой, а в противоположном углу комнаты, на безопасном расстоянии, за массивным столом под портретом Лаврентия Берия сидел следователь и перелистывал бумаги; это могло продолжаться много часов. Вошел некто с рыбьим выражением лица, следова-

тель протянул ему листок со стихами, они действительно были переписаны моей рукой.

Я смерть зову, смотреть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе...

Человек смерил меня взглядом и произнес:

— Хорош фрукт, а?!»

Казалось бы, это комическое недоразумение тотчас же должно было разъясниться: стоило только подследственному тактично разъяснить следователю, что инкриминируемые ему крамольные стихи сочинил отнюдь не он, а Шекспир. И поскольку сочинены они были без малого четыреста лет назад, их ни при каких обстоятельствах нельзя считать клеветой «на советский общественный и государственный строй».

Но вся штука в том, что сам он, оказывается, вовсе не считал случившееся недоразумением, поскольку «стихи с абсолютной точностью выражали отношение подследственного к славной действительности первого в мире социалистического государства, к его охранительным силам, к его вождю, они удостоверяли правильность доносов, лежавших на столе у следователя, — это и было главным. Поэтому было бы лицемерием называть себя жертвой беззакония».

Впрочем, 66-й сонет Шекспира, переписанный его рукой и обнаруженный в его бумагах, был не единственным и даже не главным содержанием заведенного на него дела.

Главным содержанием дела оказалось другое, уже не столь зыбкое и эфемерное, а куда более основательное обвинение. Роковым образом оно тоже было связано с гибельной страстью подследственного к художественной литературе.

«Вскоре после войны, — вспоминает он, — в Москве вышел роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку»... Незачем пересказывать содержание этой достаточно известной книги. Я скажу о ней лишь несколько слов. В ней рассказано о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и поэтому тот, кто осмеливался их произнести, был заведомо обречен. Он был обречен задолго до того, как был выслежен и арестован. В этой книге комиссар Эшерих объясняет уличному бродяге, что бывает с теми, кого схватит тайная полиция:

«Знаешь, Клуге, они посадят тебя на стул и направят на тебя сильную лампу, и тебе придется смотреть на эту лампу, и ты будешь изнемогать от жары и яркого света. И они будут тебя допрашивать, долгими часами, они будут меняться, но тебя никто не сменит...»

В том же самом городе жил один рабочий-краснодеревщик. Он был тихий и незаметный человек. Однажды он получил известие, что его

сын солдат погиб во Франции. И вот этот человек, который никогда не интересовался политикой, затеял странное и опасное предприятие. Он купил нитяные перчатки, ибо он был очень осторожен, этот незаметный человек, он слышал, что от пальцев остаются отпечатки, — надел их и старательно, печатными буквами написал открытку с пропагандой против Гитлера. С тех пор каждое воскресенье он писал такие открытки, по одной в день, потом отправлялся в какую-нибудь отдаленную часть города, заходил наугад в подъезд и оставлял открытку перед чьей-нибудь дверью или бросал в почтовый ящик. Он представлял себе, какое они возбудят брожение в умах, как их будут передавать из рук в руки, рассказывать о них друзьям.

А в это время комиссар, занимавшийся делом Невидимки, аккуратно втыкал флажки на большой карте города Берлина, отмечая места, где были подобраны открытки. За два года их набралось почти две сотни, и все они, сложенные стопкой, лежали на столе у комиссара. Полиции не пришлось их разыскивать; люди сами несли их в гестапо, едва успев пробежать глазами первую строчку... В этой книге, которую я не решаюсь перечитывать, чтобы не разочароваться в ней, меня поразило сходство атмосферы. Я недоумевал, как всевидящая цензура не заметила опасности произведения, описывающего почти то же самое, что было в нашей стране, — но странным образом остался глух к его безжалостной и безнадежной морали. Способ протеста, изобретенный краснодеревщиком Отто Квангелем, очаровал меня, и я поделился своими планами с двумя самыми близкими друзьями, один из которых давно уже писал о нас донесения комиссару Эшериху, сидевшему в своем кабинете в высоком доме на площади Дзержинского».

Рассказывать о том, что такое сталинские лагеря, как ломают и коречат они душу человека, — не говоря уже о его брэнном теле, — нет необходимости. Немудрено, что, выйдя из лагеря с сомнительными документами, запрещавшими проживание в столицах, Геннадий Файбусович о филологии уже не помышлял. Он поступил на медицинский факультет и окончил его. Может быть, какая-то душевная склонность к медицине у него и была. Но главной причиной, определившей этот новый выбор профессии, я думаю, был все-таки его лагерный опыт. Многие мои друзья и знакомые, выйдя из «зоны» на свободу, поспешили, — кто всерьез, а кто хоть накоротке, — овладеть какими-то медицинскими познаниями. Камил Икрамов, например, выучился на фельдшера. С пятнадцати лет скитаясь по лагерям, он убедился, что стать лагерным «лепилой» — едва ли не самый верный способ выжить в тех нечеловеческих условиях. А уверенности в том, что лагерь вновь не протянет к нему свои всеильные щупальца и не притянет его опять к себе, — такой уверенности тогда не было, да и не могло быть ни у кого из вернувшихся.

По этой ли, по другой ли причине, но Геннадий Файбусович решил стать врачом. И стал им. Жизнь постепенно налаживалась. Не сразу,

после множества мытарств, но все-таки появились и справка о реабилитации, и московская прописка, и квартира, сперва скромная, крохотная, а потом сравнительно большая, по московским понятиям просто отличная. Стали налаживаться и литературные дела. Была написана и вышла в издательстве «Детская литература» книга об истории медицины, в том же издательстве появилась написанная им художественная биография Ньютона.

Став литератором-профессионалом, он наконец решил распространиться со своей врачебной деятельностью, устроившись на работу в редакцию журнала «Химия и жизнь». Писал новую популярную книгу о медицине для издательства «Знание». Переводил философские письма Лейбница.

И вдруг все это хрупкое, ненадежное благополучие разлетелось вдребезги.

В один прекрасный день, точнее, в одно прекрасное утро в его квартиру вломились (это не метафора, — именно вломились) семеро молодых, назвавшихся следователями Московской прокуратуры. Предъявив ордер на обыск и «изъятие материалов, порочащих советский общественный и государственный строй», они унесли с собой рукопись романа, над которым он в то время работал. Рукопись была изъята, вся, целиком, до последней странички. И рукописный оригинал, и машинописные копии (автор только начал перебеливать свой труд, успел перепечатать от силы пятую его часть).

Над романом, который у него отобрали, он работал три с половиной года. Работал самозабвенно, урывая для этого главного дела своей жизни каждую свободную минутку.

Самое поразительное во всей этой истории было то, что изъятый при обыске роман даже по понятиям и критериям того времени никаких устоев не подрывал и никакой общественный и государственный строй не порочил. Вы легко сможете в этом убедиться, поскольку речь идет об одном из произведений Бориса Хазанова, составивших эту книгу. Изъятый при обыске роман называется «Антивремя».

— Вот как! — облегченно вздохнете вы. — Стало быть, роман не пропал! Стало быть, автору его все-таки вернули!

И наверняка даже у кого-нибудь мелькнет утешительная, вселяющая оптимизм мыслишка, что вот, мол, что ни говори, а все-таки времена меняются к лучшему. При Сталине рукопись изъятого романа автору нипочем не вернули бы, каким бы невинным ни был этот роман по своему содержанию.

С сожалением вынужден огорчить тех из моих читателей, мысли которых уже настроились на такой оптимистический лад. Рукопись изъятого романа, хоть дело происходило и в новые, послесталинские времена, Борису Хазанову так и не вернули. Бесконечные жалобы, письма, ходатайства, бесконечные хождения в прокуратуру не помогли. Рукопись так и осталась навеки похороненной в анналах «Министерства

Любви», как назвал это таинственное ведомство Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе. Может быть, она и по сей день обретается там среди пыльных дерматиновых папок, на которых вытиснен мрачный, горделивый девиз: «Хранить вечно». А может быть, ее сожгли или выкинули на помойку вместе с другими ненужными бумагами во время какого-нибудь очередного воскресника или субботника.

Что же касается текста романа, вошедшего в эту книгу, то он возник уже в другой, новой жизни его автора — в Мюнхене, где он оказался на положении политического эмигранта именно вследствие всей этой истории. Возник, как Феникс из пепла. (К вопросу о том, как именно это произошло, мы еще вернемся). Там же, в Мюнхене, этот восставший из пепла роман был опубликован. И автор не мог отказать себе в удовольствии послать один из авторских экземпляров в Москву, тому самому прокурору, который на все его просьбы и ходатайства вернуть рукопись незаконно изъятого романа неизменно накладывал одну и ту же суровую резолюцию: «Считаю нецелесообразным».

Удивляться такому поведению прокурора не приходится. Вряд ли, конечно, он хоть одним глазком заглянул в изъятую рукопись. Да если бы даже и заглянул, вряд ли мог хоть сколько-нибудь компетентно судить о том, имело ли смысл автору продолжать работу над этим сочинением. (Да и кто вообще мог бы об этом судить, кроме самого автора?). Вопрос о целесообразности (или нецелесообразности) тех или иных литературных занятий — не прокурорского ума дело. Это вопрос сугубо философский. Дать на него сколько-нибудь вразумительный ответ, как мы отчасти уже убедились, не мог даже Лев Толстой. (В письме к Д. Хилкову, написанном в 1899 году, во время работы над «Воскресением», Лев Николаевич так отвечал на этот проклятый вопрос: «Думаю, что как природа наделила людей половыми инстинктами для того, чтобы род не прекратился, так она наделила таким же кажущимся бессмысленным и неудержимым инстинктом художественности некоторых людей, чтобы они делали произведения, приятные и полезные другим людям. Это единственное объяснение того странного явления, что неглупый старик в 70 лет может заниматься такими пустяками, как писание романа».) Но то, что для Толстого было загадочным и необъяснимым, для прокурора не таило никаких загадок. Для него все определялось тем, что автор изъятого романа писал нечто несанкционированное. Да еще к тому же имел наглость заниматься этим делом, не будучи членом Союза писателей. Уже одного этого было довольно, чтобы отобрать у него (на всякий случай) рукопись подозрительного сочинения и ни при каких обстоятельствах эту рукопись ему не возвращать.

Но почему все-таки где-то там, в недрах «тайных канцелярий», возникла сама эта мысль о необходимости произвести обыск у ни в чем вроде бы не провинившегося сотрудника редакции журнала «Химия и жизнь»? Иными словами, чем по существу был вызван этот

внезапный налет следователей Московской прокуратуры на его квартиру?

Подлинной причиной этой «акции» было то, что в 1976 году Геннадий Файбусович под псевдонимом Борис Хазанов (именно тогда и возник этот псевдоним) опубликовал повесть «Час короля», которая сразу обратила на себя внимание всех, кому интересна и дорога русская литература. Эта повесть, рассказывающая о звездном часе короля, надевшего на себя желтую звезду, чтобы разделить гибельную участь горстки своих подданных, — к несчастью автора, была опубликована в журнале, выходящем за рубежом. Хуже того! В журнале, который издавался тогда — о ужас! — в Иерусалиме.

Те, кто задумал и осуществил налет на квартиру писателя, вероятно, не сомневались, что факт публикации повести в таком неподобающем месте — более чем достаточное основание не только для обыска, но, может быть, даже и для чего-нибудь похуже. А между тем не мешало бы им задать себе простой вопрос: как и почему вышло, что писатель, живущий в Москве, столице государства, разгромившего нацистскую Германию, написав антифашистскую, антигитлеровскую повесть, вынужден был опубликовать ее не у себя на родине, а в Израиле? Да еще под псевдонимом?

Не грех, конечно, было бы и нам немного поразмышлять на эту тему. Но это слишком далеко увело бы нас в сторону. Если же не слишком отвлекаться от главного нашего сюжета, тут уместнее было бы задать совсем другой вопрос.

Как же все-таки получилось, что человек, так крепко обжегшийся однажды на литературе, заплативший за эту свою страсть такую дорогую цену, решился вновь перешагнуть рубеж «запретной зоны»? Не знал он разве, что играет с огнем? Ведь только-только разразился судебный процесс над Синявским и Даниэлем, которые тоже пытались укрыться под псевдонимами. Но тайна вышла наружу, и они заплатили за эту свою опасную игру один — пятью, а другой — семью годами лагеря. А ведь он уже побывал однажды з а т о й ч е р т о й. Неужто не страшна была ему мысль, что все это может повториться? Или в самом деле так силен этот «инстинкт художественности», о котором говорил Толстой, что человек, одержимый этим инстинктом, не в силах совладать с ним?

А может быть, тут действует не инстинкт, а какая-нибудь еще более могучая, р а з у м н а я сила?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется заглянуть в повесть «Час короля» — ту самую, которой суждено было так круто переломить всю его судьбу.

У всех у нас издавна на слуху знаменитая, ставшая хрестоматийной фраза Флобера: «Эмма — это я». Я думаю, что Борис Хазанов с не меньшим основанием мог бы сказать: «Король Седрик — это я!»

Утверждение это может показаться весьма натянутым. В самом деле! Что общего может быть между импозантным, величественным королем Седриком, потомком королей, от рождения наделенным королевской поступью и осанкой, и полуголодным студентом, который сидел на занятиях в университете в старенькой отцовской шинели, не решаясь раздеться, потому что под шинелью у него были какие-то жалкие отрепья. Да, конечно, студент этот вырос, стал мужчиной и совершил ряд поступков, которые требовали, быть может, не меньшего мужества, чем поступок короля Седрика. Но Седрик совершил этот свой великолепный поступок открыто, при свете дня и стечении народа, как и подобает королю: эффектно, словно на театральных подмостках. Что же касается автора повести о короле Седрике, то он действовал, что называется, втихаря. Втихомолку, втайне от всех скрипел перышком, а закончив свой труд, даже не отважился поставить под ним свое имя.

Что же может быть общего между ними?

При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что общего не так уж мало.

Накануне того дня, когда, надев повязку с желтой звездой, рука об руку с королевой он прошел по улицам родного города (это и был его *з в е з д н ы й ч а с*), королю Седрику приснился странный сон:

«...С мешком за спиной, уныло стуча палкой, он шел по дороге, и ветер доносил запах обугленного дерева: где-то горели леса; малопомалу Седрика стали обгонять другие путники; дорога сделалась шире, вдали показался забор, в заборе ворота.

Огромная толпа с мешками, с корзинами, с перевязанными бечевой чемоданами осаждала ворота, и было видно, как охранники били людей прикладами автоматов, стараясь восстановить порядок. С вышки в это столпотворение равнодушно взирал часовой... То и дело лязгал засов, чтобы пропустить одного человека. Ясно было, что ждать придется долго. У ворот маячила высокая светлая фигура Св. Петра.

Вместе с толпой Седрик медленно продвигался вперед. Сзади толкали. Стражник у входа листал захватанный список. Все это тянулось невероятно долго. Наконец подошла его очередь. Апостол не торопил его, с презрительным терпением наблюдал, как Седрик развязывал мешок. В мешке были свалены органы — ужасное липкое месиво... дрожащими руками он стал вытаскивать почки, сердце, желудок, вынул и показал большую скользкую печень...

Петр мельком взглянул на органы, поморщился и махнул рукой; Седрик принялся торопливо запихивать все обратно. У него было тяже-

лое чувство, что он не сумел угодить. Такое чувство испытывает человек, у которого не в порядке документы».

Тут не мешает отметить, что при всей своей откровенной символичности сон короля Седрика предельно достоверен. Почки, сердце, желудок, большая скользящая печень, — весь этот с к а р б, который он несет с собою в мешке, символизирует, что т а м, за гробом, король уже ничем не отличается от самого убогого из своих подданных. Как любой смертный, он обладает здесь только тем, что было дано ему от природы. В то же время эта сумка с почками, печенью, желудком и прочей требухой вряд ли могла присниться математику, художнику или пианисту. Это — сон врача. А король Седрик у Бориса Хазанова — именно врач. И даже не просто врач, а — хирург.

Итак, король замешкался у врат рая.

«Апостол хмурился: Седрик задерживал очередь. Вдруг раздался оглушительный треск мотоциклов. Толпа шарахнулась в сторону, и большой черный автомобиль подкатил к воротам, окруженный эскортом мотоциклов.

Выражение отчужденности исчезло с лица апостола Петра, он приосанился, приняв какой-то даже чрезмерно деловой вид; стражники, молча дирижируя толпой, оттеснили всех подальше; ворота распахнулись. Стражники взяли под козырек. Седрик стоял в толпе, испытывая общие с нею чувства — сострадание, любопытство и благоговейный страх. Медленно пронесли к воротам гроб; мимо сотен глаз проплыли кружева газета, проплыл лакированный черный козырек фуражки и под ним тифлеобразный крупный нос с усами, растущими как бы из ноздрей. Усы были крашеные. Седрик узнал человека, лежащего в гробу. Толпа, объятая священным ужасом, провожала взглядом гроб; на минуту она как бы прониклась уважением к себе, раз и «он» здесь. Гроб исчез в воротах, и створы со скрежетом сдвинулись; громыхнул засов. Тотчас все, словно опомнившись, бросились к воротам. Произошла давка, и те, кто раньше стоял впереди, оказались сзади... О Седрике же как будто забыли... Внезапная мысль осенила его, и он спросил, показывая на расщелину ворот: «А он? Почему е г о пропустили?»

«Он — это он», — буркнул голос.

«Но ведь он... вы понимаете, кто это?» — в отчаянии крикнул Седрик.

«Надо быть самим собой, — был ответ. — А ты — ни то ни се. — Говоря это, апостол жестом подозвал стражника. — Убрать, — приказал он коротко...»

Этот эпизод — ключ к пониманию не только повести Бориса Хазанова, но и всей его жизненной философии. Ключ к пониманию стимулов, управлявших каждым его поступком на протяжении всей его жизни.

Человек должен при всех обстоятельствах оставаться самим собой. Вот — «смысл философии всей». С кристальной, детской ясностью эту

(не такую уж простую) мысль выразил легендарный еврейский мудрец — реб Зуся. Он сказал:

— Когда Господь призовет меня к себе, он не спросит меня: «Почему ты не стал Моисеем?» Он спросит: «Почему ты не стал Зусей?»

Рассуждая о могучем инстинкте, властно побуждающем его («неглупого старика в 70 лет») заниматься «такими пустяками, как писание романа», Толстой оставляет себе небольшую лазейку. Природа, — говорит он, — наделяет «некоторых людей кажущимся бессмысленным инстинктом художественности», чтобы они «делали произведения, приятные и полезные другим людям». Коли произведения эти не только приятны, но и полезны «другим людям», стало быть, писание романов — не такие уж пустяки. Стало быть, странное занятие это — все-таки целесообразно. Вот почему пресловутый «инстинкт художественности» только кажется бессмысленным.

Король Седрик никаких таких лазеек себе не оставляет. Он надевает желтую повязку и гибнет только для того, чтобы остаться самим собой. Никаких других целей он не преследует.

В действительности все это как будто выглядело иначе. Реальный король надел повязку с желтой звездой, подав тем самым пример всем своим подданным. Те тоже надели повязки, и обреченные на смерть евреи затерялись в общей массе. Воспользовавшись замешательством, вызванным этой неразберихой, евреев вывезли за пределы страны. Они были спасены. Да и король, кажется, остался жив. Как-никак король — это король, и даже гитлеровцы не осмелились отправить его в концлагерь.

Автору «Часа короля» все эти мотивировки не нужны. Он не просто игнорирует их. Он их отрицает:

«Смерть Седрика не повлияла на исход войны, этот исход решили другие факторы — исторические закономерности эволюции рейха, реальная мощь противостоящих ему сил. Акт (или «номер»), содеянный монархом, не облегчил даже участи тех, в чью защиту он выступил, вопреки легенде о том, что-де под шумок удалось кое-кого переправить за границу, спрятать оставшихся и т. п.»

Изо всех сил автор повести старается доказать, что поступок короля Седрика был абсурден. Но именно в абсурдности и состоит все величие его поступка:

«Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго говоря, оно означает, что тот, кто решился действовать так, сам стал живой истиной».

В глазах автора поступок его героя не нуждается в оправдании целесообразностью. Этот поступок — самоценен. Он нужен только королю Седрику. Больше никому. Нужен лишь для того, чтобы, когда Господь призовет его к себе и спросит: «Почему ты не стал Седриком?»,

он мог с чистым сердцем ответить: «Я сделал для этого все, что было в моих силах».

Тут, пожалуй, имеет смысл вернуться к роману Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку», который сыграл такую зловещую роль в жизни моего героя. Впрочем, как мы сейчас увидим, не только зловещую.

«Эта книга в те годы зажгла меня, она казалась жутким откровением о нашей стране», — вспоминал он четверть века спустя о том впечатлении, которое она произвела на него в юности.

«Способ протеста, изобретенный краснодеревщиком Отто Квангелем, очаровал меня», — признается он. И, как нечто само собой разумеющееся, замечает, что случилось это потому, что, восхищаясь романом Фаллады, он «странным образом остался глух к его безжалостной и безнадёжной морали».

Смысл этого замечания предельно ясен. Мораль романа безжалостна и безнадёжна, потому что в с е открытки, написанные и отправленные Отто Квангелем, оказались в гестапо. Ни один из тех, к кому обращался, рискуя жизнью, старый краснодеревщик, не осмелился оставить открытку у себя. Мистический ужас, который внушало людям всевидящее око тайной полиции, парализовал души людей, напрочь задавил в них желание видеть, слышать, знать правду. Выходит, сопротивляться бессмысленно! Любая попытка протеста — безнадёжна, заведомо обречена на провал.

Если исходить из того, что именно к этому выводу сводится мораль романа «Каждый умирает в одиночку», — Борис Хазанов прав. Если так, он и в самом деле «странным образом остался глух» к его морали.

В действительности, однако, мораль романа Ганса Фаллады вовсе не в том, что зло всеильно, а следовательно, всякое сопротивление тотальному злу — бессмысленно. На самом деле его мораль другая. Зло может раздавить, уничтожить, подмять под себя целую нацию, весь народ, говорит Ганс Фаллада своим романом. Но оно бессильно перед такой малостью, как человек. Способ сопротивления тоталитарному режиму, избранный краснодеревщиком Отто Квангелем, потерпел крах, если исходить из соображений пропагандистской целесообразности. Но автор романа бесконечно далек от соображений такого рода. С полным основанием он мог бы назвать свою книгу — «Каждый п о б е ж д а е т в одиночку». Подлинная мораль его романа в том, что протест имеет смысл даже если он безрезультатен, а протестант — заведомо обречен. И вот к этой морали Борис Хазанов не только не остался глух, но воспринял ее всем сердцем, всеми клетками мозга. Мало сказать — воспринял. Она стала его символом веры. Той зародышевой клеткой, из которой выросла вся его жизненная философия.

Потеряв всякую надежду на то, что роман, изъятый при обыске, будет ему возвращен, он впал в отчаяние. Это была катастрофа. Ему даже показалось, что уже никогда больше к нему не вернется ни разу прежде не покидавшее его желание писать.

Но скоро его опять потянуло к письменному столу. То ли вновь ожил неистребимый «инстинкт художественности», на который ссылался Лев Толстой. То ли вдалеке забрезжила пока еще робкая и не вполне отчетливая, но в то же время уже достаточно внятная и д е я.

В результате на свет явился рассказ, витиевато озаглавленный: «Бешт, или Четвертое лицо глагола». Начинался он с несколько иронического изложения старинной легенды, повествующей о том, как знаменитый мудрец и праведник Израэль Бешт «потерпел сокрушительное поражение».

«Это произошло, когда, потеряв терпение, он объявил, что сроки исполнились, мера страданий превзойдена и Машиах, то есть Мессия, идет на землю; если же приход его почему-либо задержится, он, Бешт, заставит его поторопиться».

При всем уважении к огромным заслугам Бешта, н а в е р х у это его выступление было сочтено несколько преждевременным.

«...Рабби еще продолжал говорить и махать руками, когда с потолка на него опустилось облако, и прямо из синагоги он был перенесен в дикую и пустынную местность, на необитаемый остров. Вместе с ним — если опять-таки верить молве — на острове оказался его ученик и последователь, реб Цви-Герш Сойфер...

— Рабби, — пролепетал ученик, — почему вы молчите?

— Что я скажу? — был ответ.

— Какое-нибудь волшебное слово... что-нибудь. Не можем же мы здесь оставаться.

— Я забыл все слова, — сказал Бешт... — У меня отшибло память. Это конец. Впрочем, — добавил он, — у нас, кажется, есть выход. Ведь я научил тебя кое-чему... Вспомни. Сейчас нам все может пригодиться.

Но оказалось, что ученик тоже все позабыл.

— Разве только... — пробормотал он.

— Что?

— Разве только буквы. Алеф, бейт...

— Так что же ты молчишь!.. Называй буквы! Будем вспоминать вместе.

Герш Сойфер, запинаясь, стал перечислять буквы алфавита — единственное, что сохранилось в его памяти. Бешт помогал ему, и кое-как, опираясь друг на друга, словно двое калек, они добрались до конца. Затем начали сначала... Голоса их звучали громче и уверенней. Постепенно из букв сами собой стали складываться слова, из слов — фразы, и

рабби вспомнил заклинание. Ему удалось разрушить чары, ученик и учитель вернулись домой, и все стало как прежде».

Это была присказка. А основным предметом повествования в этом рассказе стала история некоего писателя, имя которого автор обозначил инициалами Б. Х. («Борис Хазанов?»). Всю историю эту мы излагать не будем, а приведем только завершающий ее, финальный эпизод, содержание которого, впрочем, до некоторой степени нам уже знакомо:

«Кто это?» — спрашивает писатель, когда в передней дребезжит звонок... Он отодвигает задвижку замка. Он лишь слегка отодвигает задвижку. И тотчас из-за выступа стены выскакивают семеро, им тесно в узком проеме, они бегут за ним, с грохотом и звоном падает велосипед, писатель захлопывает дверь, но не успевает повернуть ключ, разбойники отшвыривают его и вламываются в квартиру. Жена громко кричит, как и принято поступать в таких случаях...

Все столпились в крошечной передней и тяжело дышат. Ничего особенного. Гости просят хозяев не нервничать. Обыск...

...Они деловито сбрасывают на пол книжки, шныряют из комнаты на кухню, из кухни в уборную, пробегают мимо хозяина, крутятся вокруг ног хозяйки, гремят кастрюлями и пробуют на зуб линолеум, которым покрыт пол. Дело близится к концу; сгребают добытое: книги, папки и вороха бумаг. Пишущую машинку, преступный станок, опускают в картонный гроб... Жалкий Б. Х. размахивает руками. Его лицо покрыто фиолетовыми пятнами, очки подпрыгивают на носу, прыгает кадык, уста изрыгают чудовищную брань, которой обучился он в юности...»

Сугубо реалистическое, отчасти даже натуралистическое описание это находится в некотором стилистическом несоответствии с началом рассказа. Впрочем, несоответствие это не только стилистическое: не слишком понятно, какое отношение к истории, приключившейся с московским писателем Б. Х., имеет Израэль Бешт, волею всевышнего оказавшийся со своим учеником на необитаемом острове?

На эту загадку проливает свет последняя глава повествования. Она настолько выразительна, что я позволю себе процитировать ее почти целиком:

«Мы навестили писателя в его квартире в микрорайоне Отрадное, улица маршала Гречко, 1... Наша беседа была короткой, учитывая просьбу жены не касаться известных событий.

Писатель хорошо выглядит. На вопрос, как самочувствие, он сказал:

— Лучше не бывает.

На вопрос о творческих планах писатель ответил неприличной фразой, которую мы затрудняемся воспроизвести.

Отвечая на наш вопрос, чем объясняется его интерес к фольклору галицийских хасидов, писатель сказал:

— Хрен его знает.

Мы также спросили у него: сможет ли он восстановить свой роман?

Он ответил:

— Считайте, что я никогда его не писал.

— Но вы помните хоть что-нибудь?

— Ни одного слова.

— ?

— Разве что алфавит, — ответил он».

Намек более чем прозрачен. Из романа, воровским образом у него отнятого, писатель Б. Х. не помнит ни единого слова. Но он, слава богу, помнит алфавит. И этого достаточно. Подобно Израэлю Бешту, сумевшему вспомнить заклинание, разрушившее чары и вызволившее его из ссылки на необитаемый остров, начав с азов, с алфавита, он в с п о м н и т свой роман: весь, от первого до последнего слова.

И он действительно вспомнил его, восстановил по памяти. Или написал заново, если такой вариант вам больше по вкусу. И если у вас есть воображение, вы сумеете представить себе, чего это ему стоило. Потому что на сей раз дело происходило не в сказке, а в жизни. К тому же в обстоятельствах, отнюдь не способствовавших такому утомительному и непродуктивному занятию.

Автобиографический набросок Бориса Хазанова, который я уже несколько раз тут цитировал, завершался рассуждением о невозможности для автора покинуть Россию. О бессмысленности отъезда в иной, чужой мир, переселения в иную, чуждую ему цивилизацию.

Перебирая мысленно весь свой духовный скарб, он заключал:

«И с таким-то багажом мы собираемся в путь-дорогу. Что мы с ним будем делать?»

Все равно, что продать имущество, с кулем денег приехать в другую страну — а там они не имеют хождения.

Пока меня не прогнали — я остаюсь.

А там — будь что будет».

И вот — его прогнали. Точнее — выпихнули. Надо было начинать жизнь сначала, с нуля. А он вместо того, чтобы вживаться в чужой мир, наживать новое духовное имущество, словно в каком-то оцепенении занят бессмысленным, никому не нужным делом: попыткой собрать из праха, склеить из кусочков, восстановить те «ценные бумаги», которые здесь, по его же собственному определению, не имеют хождения.

Зачем? Для чего? С какой целью?

Подобно описанному им поступку короля Седрика, этот его шаг не был обоснован никакими разумными соображениями. Он не имел решительно никакой цели, кроме стремления, говоря его собственными словами, бросить вызов всему окружающему.

Ах, бросить вызов? А как же «необитаемый остров»? Писателю, который продолжал бы творить и на необитаемом острове, разве пришло бы в голову, что он своими писаниями бросает кому-то вызов?

«Новейшая психиатрическая доктрина учит, — мимоходом обронил Борис Хазанов все в том же своем автобиографическом наброске, — что бред умалишенного не отгораживает его от мира. Напротив: это его способ искать связь с миром. В моем одиночестве я знаю только один способ ломиться наружу. Безумие мое бредит по-русски».

Вот он — ответ.

Настоящий писатель продолжает творить и на «необитаемом острове» с единственной целью: чтобы д л я с е б я отстоять человечность в обезличенном и обесчеловеченном мире. Но из пустыни своего одиночества он «ломится наружу». Вот почему в конечном счете эта его героическая попытка оказывается предпринятой не только для себя, но и д л я н а с.

Бенедикт САРНОВ

ЧАС КОРОЛЯ

Я знаю, что без меня Бог не может прожить и мгновения; и если я превращусь в ничто, то и ему придется по необходимости испустить дух.

*Ангел Силезий (Иоганн Шефлер),
«Херувимский странник», 1657 г.*

Благодарение прозорливому Господу — жить со спокойной совестью больше невозможно. И вера не примирится с рассудком. Мир должен быть таким, как хочет Дон Кихот, и постоянные дворы должны стать замками, и Дон Кихот будет биться с целым светом и, по видимости, будет побит; а все-таки он останется победителем, хотя ему и придется выставить себя на посмешище. Он победит, смеясь над самим собой...

Итак, какова же эта новая миссия Дон Кихота в нынешнем мире? Его удел — кричать, кричать в пустыне. Но пустыня внимает ему, хоть люди его и не слышат; и однажды пустыня заговорит, как лес: одинокий голос, подобный павшему семени, возрастет исполинским дубом, и тысячи языков его воспоют вечную славу Господу жизни и смерти.

*Мигель де Унамуну,
«О трагическом ощущении жизни», 1913 г.*

В том-то и дело, что вы примирились с несправедливостью нашей участи настолько, что согласились усугубить ее собственной несправедностью. Я же, напротив, полагал, что долг человека — отстаивать справедливость перед лицом извечной неправды мира, твердить свое наперекор всесветному злу. Оттого, что вас опьянило отчаяние, оттого, что в этом опьянении вы нашли смысл жизни, вы осмелились замахнуться на творения человека, вам мало, что он от века обездолен, — вы решили добить его. А я отказываюсь мириться с отчаянием; я отметаю прочь этот распятый мир и хочу, чтобы в схватке с судьбой люди держались все вместе... Я и теперь думаю, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю: кое-что в нем имеет смысл. Это «кое-что» — человек. Ведь он единственное существо, которое требует от мира, чтобы мир наполнился смыслом. И в его правде заключается все оправдание мира.

*Альбер Камю,
Письма к немецкому другу, Письмо
4-е, июль 1944 года.*

Со времен Нумы Помпилия обычай предупреждать врага о нападении казался до такой степени естественным и даже необходимым, что никому не приходило в голову, насколько проще и удобнее подкрасться сзади и, не окликая жертву, навалиться на нее и схватить за горло. Эта стратегия могла родиться лишь в стране, испытавшей очистительную бурю национал-социалистической революции. Однако к тому времени, когда канцлер и вождь германского народа подписал приказ о вторжении в маленькую страну, о которой здесь пойдет речь, — страна эта была уже, кажется, восьмым или девятым по счету приобретением рейха, и стратегия молчаливого молниеносного удара успела потерять новизну.

Как и в предыдущих кампаниях, вторжение произошло без особых неожиданностей для командования, в точном соответствии с планом. Не имеет смысла подробно описывать весь поход, ограничимся краткой сводкой событий, происшедших на главном направлении удара. Около пяти часов утра на шоссе, ведущем к пограничной заставе, показалась колонна наездников. Они двигались на первой скорости, по четыре в ряд, как бы приросшие к рогам своих мотоциклов, за ними, громахая, ползли бронетранспортеры, огромные, оставлявшие вмятины на асфальте, за транспортерами ехал лимузин с полководцем, а за лимузином, мягко покачиваясь, катили чины штаба. Все это двигалось из тумана, точно рождалось из небытия. Застава представляла собой два столба с перекладиной. В стороне, у обочины, стоял двухэтажный кирпичный домик. Когда первая четверка, в серо-зеленых шлемах, напоминавших перевернутые ночные горшки, подкатила к перекладине, пограничник, стоявший у рукоятки шлагбаума в каком-то опереточном наряде, казалось, никак не реагировал на их прибытие: в

величественной позе, стройный и недвижимый, точно на праздничной открытке, с секирой в руках, он стоял, устремив прямо перед собой светлый, восторженный взгляд. Унтер-офицеру пришлось вылезти из седла и самому крутить колесо. Полосатое бревно со скрипом начало подниматься, но застряло на полдороге — и унтер-офицер, чертыхаясь, дергал взад и вперед ручку ржавого механизма. Промедление грозило нарушить правильный ход кампании, расписанной буквально по минутам.

На крыльцо кирпичного дома вышел начальник заставы, мальчик лет восемнадцати; он сладко зевал и ежился от утренней прохлады. Туман еще стелился над холмами; в синеющих перелесках, на ветках, унизированных росой, просыпались птицы. Барсук выбирался из норы, тараша заспанные глаза. Некоторое время мальчик-начальник хмуро взирал на подъезжавшее войско, очевидно, спрашивая себя, не снится ли ему сон, затем с флегматичностью только что разбуженного человека начал расстегивать кобуру.

Он остался лежать перед порогом своего дома, — фуражка с вензелем валялась на земле, золотистые волосы шевелил ветер. Часового, все еще оцепенело стоявшего у шлагбаума, вразумили пинком в пах; ударом приклада вышибли из рук бутафорское оружие. Тем временем солдат в зеленом горшке, взобравшись на крышу, отдирает от флагштока полотнище государственного флага, за которое ему полагался орден. Затем все потонуло в пыли и грохоте.

То же происходило на других заставах; и менее чем за пятнадцать минут армия повсеместно пересекла границу. Отряды парашютистов — крепких ребят с засученными рукавами, вооруженных ножами и автоматами, — высадились в пунктах, которые командованию благоугодно было обозначить как стратегические. Одновременно шла высадка морских десантов в портах. Торговый флот королевства, насчитывавший шестьдесят пять судов и рассеянный по всему миру, как только начали поступать известия о случившемся, не пожелал вернуться на родину; однако его поджидали в прибрежных водах и у выхода в пролив специальные корабли. Все совершалось быстро, точно, таинственно и неотвратимо. Цель, которую руководитель указал командованию, а командование — войскам, была поражена и достигнута в предельно короткий срок: так было всегда, так произошло и на этот раз.

В штабах непрерывно звонили телефоны, лакированные козырьки полководцев склонялись над картами, телеграф выстукивал шифрованные депеши. Армия была слишком громоздким и многосложным механизмом, генералы получали слишком высокое жалованье, а военная наука, с которой они сообразовывали каждый свой шаг, была слишком серьезной, слишком важной и возвышенной наукой, чтобы можно было просто так, без зловещей помпы и секретности, без всеобъемлющего плана и многостраничной, многопудовой документации подмять под себя безоружную и беспомощную страну. Вдобавок завоеватели, в силу некоего атавистического романтизма, испытывали полуосознанную потребность представить суровым подвигом то, что на деле было едва ли опаснее загородной прогулки. С трех сторон, направляясь к столице, двигалась, поднимая пыль, гремящая, тархтящая масса; и навстречу ей в жидком блеске апрельского солнца поднимались из-за пригорков маленькие города с высокими шпилями соборов, на которых звонили колокола. Государство, жившее какой-то призрачной, сказочной жизнью, было в самом деле не больше воробьиного носа — *lacherliches Landchen*, как называл его германский фюрер. Мелкие стычки, кое-где омрачившие это утро, не могли задержать нашествие, как не могут остановить слона выстрелы из детской рогатки. Весь поход длился не более трех часов, и бомбардировщики, гудевшие над страной, не успели истратить запас горючего.

2

Такова была ситуация, с которой столкнулось правительство в этот роковой, но удивительно солнечный и теплый день. Утренний пар еще поднимался над ослепительно блестящими крышами; узорные стрелки на двух тускло отсвечивающих циферблатах башни Св. Седрика показывали восемь, когда, как стало известно позже, посол рейха вручил правительству меморандум. В нем кратко говорилось, что империя, озабоченная поддержанием мира на континенте Европы, нашла необходимым защитить северную страну от агрессии западных союзников; если же правительство придерживается на этот счет другого мнения, то пусть пеняет на себя: страна будет стерта с земли в течение десяти минут. Само

собою разумеется, что ссылка на агрессию с Запада с равным успехом могла быть заменена иной и даже противоположной формулировкой, так как суть дела заключалась отнюдь не в том, что было написано в этой бумаге; бумага была запоздалой данью обычаям, о которых время от времени и совершенно неожиданно вспоминали властители рейха; тем не менее она была необходима хотя бы потому, что существовал посол, обязанный ее вручить, и как-никак существовало правительство, которому этот меморандум — род повестки — был адресован.

К чести королевского правительства нужно сказать, что оно проявило благоразумие. Оно помнило пример соседа, дорого заплатившего за попытку сопротивляться, о чем, впрочем, предпочитали не говорить вслух. Войскам — их в стране было четыре дивизии, — хоть и с некоторым запозданием, был отдан приказ не оказывать сопротивления; а те небольшие попытки дать отпор, которые все же кое-где предпринимались, не имели, как мы уже говорили, последствий. Правительство официально сняло с себя ответственность за подобные акции.

Не требовалось особой догадливости, чтобы понять: то, что на них надвигалось, превосходило обычные человеческие масштабы; надвигалось нечто бессмысленное, с чем бесполезно было пререкаться; но кто знает, не был ли этот новый и высший порядок внутренне справедлив в своем стремлении водвориться везде: ведь слишком часто люди принимают за насилие то, что является законом. Нашествие нависало над всеми подобно туче, правильнее сказать — двигалось мимо всех: его цели были одновременно и ясны, и непостижимы; и о нем нельзя было сказать, что оно неслось, как смерч: мотоциклисты, мчавшиеся по улицам, были лишь вестниками того, что не летело, не неслось, не бесновалось, но спокойно и грозно близилось. Новый порядок нес новую философию жизни, новое зрение и новый слух. Новый порядок разматывался, как ковровая дорожка.

В восемь часов город — мы говорим, разумеется, о столице — все еще как будто спал: улицы были безлюдны, одни только полицейские с поднятыми жезлами высидели на своих тумбах среди пустых сверкающих площадей; их позы напоминали иератическую застылость египетских барельефов или оцепенение кататоника; а мимо них, мимо закрытых магазинов, занавешенных окон, мимо свежевскопанных клумб и памятников королям и

мореплавателям, через весь город с рокотом неслись куда-то вереницы мотоциклистов.

Как большая лужа притягивает маленькую каплю, заставляя ее слиться с собой, так и оккупация совершилась почти мгновенно и с естественностью физического закона. Может быть, поэтому в городе не наблюдалось никакой паники. Первое время обыватели отсиживались по домам. Большинство учреждений не работало, а продовольственные лавки открылись с запозданием. Ощущение было такое, словно самое главное успело произойти, пока все спали, и город с удивлением привыкал к своему новому состоянию, подобно тому, как больной, пробудившись после наркоза, с удивлением узнает, что операция уже позади и теперь ему остается лишь привыкать к тому, что у него нет ног. Однако, уважая всякую власть, жители города инстинктивно доверяли и этому порядку. Должно было пройти немало времени, прежде чем в их честные, туго соображающие головы могла проникнуть та мысль, что порядок может быть личиной преступления. Разумеется, нравы и философия страны, чьей добычей они стали, были слишком известны. Но это еще не давало повода сходить с ума, выстраиваться в очереди за мылом и спичками или пытаться всеми силами покинуть тонущее отечество.

Не без основания многие говорили себе и окружающим, что такой поворот событий все-таки лучше, чем если бы страна сделалась ареной военных действий. С некоторым романтическим замиранием сердца и, пожалуй, с тайным облегчением, понимая, что уже ничего нельзя поделывать, владельцы особняков на Санкт-Андреас маргт наблюдали из-за оконных занавесок, как на площади перед зданием парламента выстроилось тевтонское войско. Генерал, тощий, как червь, в крылатых штанах, обходил стремительным шагом ряды, после чего, должно быть, рапортовал на гортанном наречии Фридриха Великого своему фюреру, тоже похожему на гельминта, но более упитанного, которого представляли себе парящим над городом в огромном аэроплане, — рапортовал фюреру о том, что повсюду в стране царят спокойствие и лояльность. Ведь лояльность, понимаемая как доверие к людям, откуда бы они ни явились, была всегда отличительной чертой этого маленького народа, национальной чертой, не так ли? И, в конце концов, немцы, что бы о них ни говорили, — цивилизованная нация и не допустят бесчинств в стране, традиционно чуждой какой

бы то ни было политике. Словом, много было приведено доводов, высказано всевозможных домыслов, соображений и осторожных надежд за глухо задернутыми шторами окон, под круто спускавшимися черепичными крышами, ярко блестящими в жидком утреннем солнце. Прислушиваясь к неопределенному гулу и рокоту на улицах, люди гадали, что будет с их тихой жизнью; с их городом, где каждый день на рассвете хозяйки мыли тротуары горячей водой, каждая перед своим домом; с их сухим и чудаковатым, похожим на старого пастора, королем. Но гул, слышный вдали, не был гулом крушения, а лишь предвестником нового, может быть, более усовершенствованного порядка, и это их утешало.

3

«Трам-там-там! Тра-ля-ля!» Две девочки в бантах, в незастегнутых пальто скакали, взявшись за руки, в прохладной тени одной из узких улиц, ведущих к Острову, а сверху на черепичные крыши низвергался целый поток света, и зловещая тишина города, по-видимому, нисколько не смущала девочек. Сцепившись руками, они неслись по асфальту особенным, лихим и независимым аллюром, который был известен у всех детей города под именем «африканского шага» — несомненно знакомого и читателю — и от которого взлетали их косички и колыхались банты, как вдруг со стороны бульвара донесся стрекочущий звук, похожий на треск пулемета. Обе остановились, переглянулись и, прыснув, бросились в ближайший подъезд, испытывая страх и восторг. Там они, поднявшись на цыпочках, стали выглядывать в щель, через которую швейцар обыкновенно смотрит на посетителя.

Звук, а с ним и еще что-то приближались, потом на минуту стихли; вдруг совсем близко раздалась оглушительная очередь, как будто — позволим себе экстравагантное сравнение — бегемот присел за нуждой: из-за угла, правя рогами, выехал серо-зеленый мотоциклист, на нем был горшкообразный шлем, на груди висел бинокль. Несколько мгновений спустя в нараставшем гуле из-за поворота, едва не задев за угол дома, вывалился многоколесный боевой фургон, в котором ровными рядами, как грибы, покачивались шлемы. Еще два таких фургона ехали следом и загромоздили всю улицу. Шум моторов, вероятно, поверг жителей в никогда еще

не испытанный ужас. Колонну замыкал бронированный автомобиль с важными дядьками в задранных фуражках; они с необыкновенной серьезностью, блестя моноклями, смотрели вперед. Девочки проводили их восхищенными взглядами, и вся процессия, громыхая, постепенно исчезла в узкой горловине улицы, выходящей на Остров.

Островом издавна именовали часть города, отделенную каналом от остальных кварталов. В будни здесь всегда было пустынно, зато по воскресным дням на набережной и по сторонам широкого плаца толпилась публика, следя за парадными экзерцициями стражи. Направо от площади, если стоять спиной к мосту, возвышается башня, весьма известная историческая реликвия, вот уже триста лет выполняющая функцию национального будильника. Налево открывается вид на дворец.

Три бронетранспортера и машина с офицерами вермахта с грозной неторопливостью перевалили за мост и поехали с ужасным шумом наискосок через пустынный плац. В машине (это стало известно позже) находился личный уполномоченный только что назначенного рейхс-комиссара с представлением бывшему королю и инструкциями по наведению порядка во дворце. У ворот обычно маячили фигуры часовых, одетых чрезвычайно живописно, с аркебузами на плечах. В этот час, однако, перед воротами никого не оказалось. Тускло сияли золоченые копыя ограды, подняв лапы, по обе стороны входа застыли крылатые львы. А за оградой, на чисто выметенном газоне, едва успевшем зазеленеть, в боевом порядке выстроилась полусотня всадников: это была великолепная когорта, обломок славного прошлого, гордость нации, золотой сон девушек — конная королевская гвардия, учрежденная по указу основателя династии 446 лет назад. Гвардия стояла под знаменем, в полной неподвижности на фоне дворца, точно позировала для видевого фильма.

Прошло еще немного времени (немцы ехали по площади), и на башне начали бить часы. Пробило девять. И тотчас за оградой слабо и мелодично пропел рожок, Шелковый, синий с зеленым штандарт на копьевидном древке в руке передового слегка наклонился вперед, и на нем расправился и заблестел на солнце некий символ — герб, вышитый, по достоверным данным, золотыми нитями из кос девушки, которая вышла из вод Северного моря, дабы сочетаться браком с королем. Не доезжая ворот, солдаты спешили. Вот тогда это и произошло.

Нелепая история, абсурд, достойный сумасбродного феодального захолустья, каким-то чудом сохранившегося на задворках Европы! Примерно в таких выражениях характеризовали случившееся иностранные газеты, в двух строках сообщившие об этом инциденте, который уже тогда был воспринят как малоправдоподобный анекдот. Прежде чем солдаты успели подбежать к решетке дворца, кованые ворота распахнулись и эскадрон с саблями наголо, сверкая касками, вылетел навстречу гостям.

От неожиданности немцы попятились. Машина с уполномоченным дала задний ход. Завоеватели были скандализованы. К восьми часам утра, как уже упоминалось, кампания считалась законченной; по крайней мере, так предусматривал план, и решительно ни у кого не было причин сомневаться в том, что этот план будет неукоснительно выполнен. И если для высшего командования операция сохраняла свое военное значение ввиду общей обстановки и географического положения страны, то личный состав до последнего солдата буквально был лишен способности принимать что-либо в этой стране всерьез. Подразделение, получившее приказ занять Остров, двигалось, вооруженное фотоаппаратами. Офицеры ехали с сигарами в зубах. Есть сведения, что атака рыцарей была поддержана пулеметным огнем из верхних окон дворца. Эти сведения сомнительны. Иначе трудно объяснить, почему не была разрушена до основания резиденция «старой куклы» — выжившего из ума короля.

Совершенно очевидно, что ни глава государства, ни его министры не имели ровно никакого отношения к этой неожиданной вылазке. Монарх дрожал от страха, запершись в своем кабинете. Что касается правительства, то, как уже было сказано, оно старалось подать пример благоразумия. Давая объяснения, бывший министр национальной обороны, мэр города, а также гофмаршал, в ведении которого находилась дворцовая стража, согласно заявили, что ими не было отдано никаких приказов; тем самым они признали, что были не у дел, а значит, и не могли нести ответственности за случившееся. Ответать надлежало командиру эскадрона, человеку с длинной и труднопроизносимой фамилией, двадцатитрехлетнему отпрыску древнего рода. Но он лежал на мостовой в роскошных голубых рейтузах, запачканных кровью, в расколотой каске, окруженный

четырьмя с половиной десятками своих подчиненных и трупами поверженных лошадей. Вся гвардия лежала на площади и уже не могла предстать перед судом. Вокруг бродили солдаты с засученными рукавами, бранясь вполголоса, поднимали за ноги и за руки искалеченные тела и швыряли их в подъезжавшие грузовики. Спустя полчаса по площади проехала водоструйная машина, и все следы короткого боя были уничтожены.

4

Итак — подведем еще раз итоги, — оккупация более или менее благополучно состоялась. Нельзя сказать, чтобы такое развитие событий оказалось неожиданным для Седрика. Примерно с осени 1940 года, когда жертвой необъявленного нападения пал северный сосед, подобный исход начал представляться весьма вероятным. Очевидно было и то, что страна не могла рассчитывать на чью-либо помощь извне. Об этом ясно и жестко, в своей обычной манере, заявил, выступая перед журналистами, первый лорд британского адмиралтейства. Он сказал, что северные страны представляют, по его мнению, наиболее вероятный в ближайшем будущем объект военных операций. Но если Швецию и Норвегию отделяет от хищника, так сказать, ров с водой, если Дания имеет шансы откупиться путем территориальных уступок, то *эта* страна, *this unfortunate country*, находится в столь неблагоприятной ситуации, что помочь ей будет чрезвычайно трудно. «That's why, — добавил Черчилль, — I would in any case not undertake to guarantee it»*.

Рейх одержал еще одну из своих бесчисленных побед. Во имя чего? С точки зрения абстрактных надчеловеческих сил, этих зловещих выкормышей гегельянской философии, — с точки зрения Истории, Нации, Политики — все это, возможно, имело какой-то смысл. С точки зрения реального живого человека, все случившееся было бессмыслицей. Омерзительное и тоскливое чувство, в котором он физически отождествлял себя со страной-ребенком, сбитым с ног кулаком бандита, повергло Седрика не то чтобы в уныние, но в состояние, знакомое душевнобольным, — ощущение нереальности происходящего. Слово до сих пор он был зрителем и глядел из

* Вот почему я ни при каких обстоятельствах не поручился бы за нее.

удобного кресла на сцену, где разыгрывалась пьеса какого-то сумасшедшего авангардиста, и вдруг актеры прыгнули с подмостков и, держа в каждой руке по пистолету, начали грабить зрителей. И тогда стало ясно, что абсурдный спектакль, вся соль которого была в его очевидном неправдоподобии, на самом деле вовсе не мистификация, не бред, не вымысел автора, а самая настоящая действительность.

5

День Седрика начинался в восемь часов. Он часто просыпался перед рассветом, потом задремывал, но в урочный час не разрешал себе лежать ни одной лишней минуты: в его жизни, как и в жизни его близких, господствовал дух протестантской строгости и простоты. Душ, массаж, утренний туалет перед высоким тусклым зеркалом в дубовой раме — все совершалось с меланхолической торжественностью, как если бы неукоснительное соблюдение распорядка было целью и смыслом существования. Этот порядок предусматривал даже утреннюю боль в затылке, вызываемую, однако, отложениями солей, а не спазмом сосудов, вопреки мнению доктора Каруса. После завтрака, которому можно было бы посвятить специальное исследование, настолько глубокий — медицинский и христианский — смысл был вложен в его изощренную убогость, Седрика ожидал в кабинете секретарь, следовало выслушивание доклада, визирование бумаг и прочие дела его основной должности. С двенадцати до часу — прогулка в седле. После ленча Седрик уезжал в клинику. Последнее время он подолгу задерживался там. Конгресс в Рейкьявике, объявленный на конец мая, был отложен ввиду международной обстановки; Седрик надеялся использовать эту отсрочку для пополнения своего материала.

Обед — в семейном кругу; за длинным столом на высоких стульях с длинными спинками, под стать самому хозяину, сидели: супруга Седрика, его младший сын Кристиан, жена Кристиана и внуки. (Старший сын, согласно официальной версии, находился на длительном лечении за границей.) Обыкновенно за столом присутствовал и доктор Карус. Кристиан, презираемый сын, был профессором немецкой классической философии — отрасли, демонстрирующей ныне, по мнению Седрика, позорный крах; ибо нельзя же было отрицать, что от Иоганна

Шефлера, «Силезского ангела», тянется нить, на другом конце которой болтается, увы, Альфред Розенберг; не говоря уже о Гегеле, которого Седрик обвинял в легкомысленном потакании «всеобщему» в торжестве человеческо-элитарного этатизма; словом, не кто иной, как Кристиан, здесь, в мрачноватой столовой, над остывающим крупяным супом, обязан был *ex officio* нести ответственность за роковое вырождение германского духа, за грезы Шиллера, обернувшиеся бессмыслицей пролетарской революции; вообще судьба уготовила Кристиану роль отступника — даже в чисто конституциональном смысле; достаточно было взглянуть на него: толстый, благодушный, с крупными женоподобными чертами лица, не чуждый радостям жизни, снисходительно-покладистый, наивно-эгоистичный, «беспринципный». Подруга жизни его была немка из августейшей семьи, тусклая и худосочная особа. Обедали поздно, и зимой в это время в столовой уже горели лампочки в виде свечей. После обеда Седрик писал в библиотеке; вечером чтение с внуками, партия в шахматы с доктором и любимый Гендель. Так проходил его день.

Ровно в двадцать три часа тридцать минут Седрик, седой и тощий, прочитав молитву, взбирался на высокое и неудобное ложе подле ложа Амалии. За сорок с лишним лет их брака он, можно сказать, ни разу не видел свою стыдливую и чопорную супругу всю целиком. В описываемое время Амалия изображала из себя маленькую пожелтевшую старушку почти вдвое ниже ростом Седрика. Оба лежали в одинаковых позах, на спине, изредка обмениваясь короткими фразами; в их общении слова скорее играли роль камертона: как это бывает у долголетних супругов, они давно научились беседовать молча. На высоко взбитых подушках узкая, старчески сухая голова Седрика покоилась точно на одре смерти; глаза, угасавшие под морщинистыми веками, походили на желваки. В рюмке на столике, рядом с ночником, стояли капли датского короля, стояла минеральная вода на случай изжоги. Для Амалии был приготовлен нитроглицерин. Над изголовьем висела сухая ветка багульника, отгоняющая дурные сны. Звон курантов на башне Святого Седрика пробуждал видения безвозвратно ушедших времен. Седрик вздыхал, и тихо вздыхала возле него молчаливая Амалия. Длинные, сложные, ветвистые воспоминания, точно водоросли, поднимались вокруг, и постепенно король Седрик X погружался в сон.

В одно утро привычный многолетний уклад жизни был разрушен. Это крушение, ощущаемое ежеминутно, удручало еще больше, чем крушение мирового порядка. Так человек, со стоическим равнодушием взвешивающий на пламя, которое пляшет над кровлей его дома, не может сдержать слез при виде какой-нибудь обугленной безделушки. Но разве вся страна не была его домом, его семьей? Седрик привык получать к Рождеству или ко дню рождения сентиментальные поздравления от знакомых людей; когда десять лет назад у него открылась язва желудка, родители говорили детям, что надо вести себя хорошо и не огорчать папу и маму теперь, когда у всех такое горе. Карикатуристы изображали короля, высокого, как Гулливер, и тощего, как Дон Кихот, стоящим на одной ноге на пяточке своего крошечного королевства, поджав другую ногу, для которой не хватило места. Ему бы еще дедушкины латы и бритвенный тазик на седую голову. Да, монархия — пережиток, подобный рыцарским аксессуарам чудака из Ламанчи; он и не спорил против этого. Но что поделаешь, если в глазах сограждан он был Государством, воплощенным в образе человека, и оттого, что он был живым человеком, который живет здесь, поблизости, которого легко увидеть, государство все еще воспринималось в этой стране — в этом и состоял ее удивительный анахронизм — как нечто близкое всем, как общее дело и общая жизнь. Теперь всему этому пришел конец. Новое государство, поглотившее их, несло в мир порядки концлагеря; принцип человеческого общежития оно заменило принципом всеобщего беспрекословного служения некоторой абстракции, лишённой, как легко было понять, какого-либо реального, жизненного содержания. На знамени этого государства были начертаны слова: рабочий класс, нация и социализм; но чем оно было по существу, об этом можно было судить по тому образу, который оно подняло над собой как священную хоругвь; ибо оно тоже было персонифицировано в одном человеке — и в каком человеке! В человеке, который словно нарочно был выбран, дабы проиллюстрировать невиданное доселе падение человечества. Рядом с ним — а судьба, что ни говори, поставила их рядом — Седрик чувствовал себя поистине неизвестно для чего сохраняемой фигурой —

беспольным стариком, которому время убираться на погост.

Это малодушие, которому поддался король в памятное апрельское утро, объясняет его странную бездельность перед лицом событий на Острове, о которых мы уже говорили. Да и в дальнейшем, когда понадобилось его участие в решении неотложных государственных дел, король уклонился от каких бы то ни было действий. Можно сказать, что государь уподобился своему народу. Да и что он мог предпринять? С утра он находился в своем кабинете; только что башенные часы пробили девять, время, когда у ворот дворца пел рожок; длинные ноги Седрика в узких черных брюках были скрещены под столом, длинные и худые пальцы с короткими ногтями, пальцы хирурга, безостановочно барабанили по краю стола; костлявый подбородок зло и отрешенно вознесся кверху, и на тощей шее перекачивался кадык. Король был при полном параде, с лентой и Рыцарской звездой, его фрак украшала цепь. Он не мог заставить себя подойти к окну, глотал кислую волну изжоги и колотил пальцами. Налево от него, в высокой раме окна, стоял секретарь с видом человека, который с минуты на минуту ждет телефонного звонка — а может быть, и трубы Страшного суда; направо — утопала в глубоком кресле тщательно одетая и причесанная Амалия.

На плоской груди ее висело только одно — но очень дорогое — украшение. Несомненно, из трех присутствующих королева нашла для себя наиболее достойное занятие. Она вязала. Не далее как на прошлой неделе ее величество завершила работу над семьдесят четвертым по счету набрюшником для мужа; ныне она трудилась над шерстяным кашне, вещью во всех отношениях необходимой в теперешние тяжкие времена. И ничто на свете не могло заставить ее прервать это занятие. Но оно имело и другой, более возвышенный смысл. Желтоватоседой шиньон Амалии и ее детские ручки, занятые работой, излучали чисто женскую уверенность в торжестве жизни, они внушали надежду, что все как-нибудь обойдется, наконец, они внушали мужество. Пока там, у ворот, мальчик с длинной и трудно выговариваемой фамилией, крестясь, горячил коня перед первым и последним в своей жизни боем, Амалия готовилась встретить недруга на пороге своего дома со спицами в руках.

А тот, чья честь была поставлена на карту, кто против своей воли позвал на смерть это игрушечное войско,

— оцепенел, застыл как бы в параличе, устремив в пространство бессмысленно блестящий и загадочный взор. Честь? Но что скрывалось за этим понятием? Подобно некоторым оптическим иллюзиям, оно исчезало, едва только взгляд рассудка пытался фиксировать его. Честь — это могло значить только одно: долг перед самим собой. Так в чем же состоял его долг? Он был стар, а на площади лилась кровь. Он был стар, а они были молоды. И самое лучшее, что он мог сделать, — это встать и выйти пешком на улицу и умолять немцев пощадить его безрассудных детей; выйти безоружным, с седой головой и с именем Христа на устах, как выходили священники в некоторых селах России навстречу карателям. Но он не был способен на это. Он знал, что в эту минуту с ним спорит его собственный предок — тот, который был нарисован на стене в малом зале. Да, он видел себя мысленно на площади: солнце слепило глаза, вдали гроыхало тевтонское полчище. Он сидел на коне во главе своей гвардии.

Снаружи донеслось приглушенное расстоянием хлопанье противотанковых ружей. Желтый луч заиграл на шиньоне Амалии, и стальные спицы с судорожной быстротой замелькали в ее руках. Секретарь стоял, как гипсовое изваяние, глаза его медленно расширились. Ударил пушка. Затем раздались шаги в приемной, вошел свитский полковник, вполголоса доложил, что бой на площади окончен.

Казалось, что-то немедленно должно было произойти, ворваться в двери, загреметь сапогами по лестницам; в ушах уже звучали хриплые команды, звон разбитых стекол... Но все молчало. В завесах света трепетали сверкающие, как искры, пылинки. Время, казалось, повисло в воздухе, как эта пыль. И так мирно, так солнечно было на едва успевших покрыться зеленым пушком лужайках перед фасадом дворца, так светло и счастливо горели вдали золотые копьевидные прутья ограды, что странный покой на минуту снизошел в душу. И настал мир на земле и в человеках благоволение.

Не дождавшись ответа, полковник попятился и неслышно закрыл за собой высокие темные двери. Седрик поднялся. В глазах у него стояли слезы. Стыдясь этой старческой слабости, он опустил сухую серебристую голову, точно провинившийся ученик. Ситуация выглядела нелепой: о короле забыли. И он почувствовал

себя горько обиженным, как только можно быть обиженным в детстве. В этом пустынном и, очевидно, покинутом всеми дворце он и впрямь превратился в никому не нужный музейный экспонат. Его даже не нашли нужным арестовать!

Когда он снова поднял голову, глаза его блестели сухим, почти мертвенным блеском. Из приемной донесся шорох — Седрик словно ждал его. Он выскользнул из-за стола. Выщипанные бровки королевы взлетели кверху; медленно поползли на лоб холеные соболиные брови секретаря. Седрик распахнул двери. Обстоятельства прояснились. В приемной стояли фигуры с автоматами. Внезапное их явление напоминало фокус в театре, когда вспыхнувший свет открывает действующих лиц, неизвестно как очутившихся на сцене.

Седрик почувствовал необычайное облегчение. На руках у всех были повязки: то был знакомый по кино-журналам, по фотографиям в газетах знак тарантула. Некто в сверкающих сапогах, со стеклом в глазу двигался ему навстречу. Однако Седрика постигло разочарование. К вечеру этого дня жители прекратившей свое существование страны узнали, что их король жив и невредим и находится под домашним арестом — впрямь до особого распоряжения оккупационных властей.

7

Здесь позволим себе упомянуть об историческом событии — церемонии, состоявшейся в малом тронном зале дворца. Не потому, чтобы она имела действительное значение в ходе дальнейших происшествий, — весьма скоро для всех стало ясно, что отныне события совершаются не по свободному решению свободно собравшихся людей, а в силу таинственного произвола никому не ведомых высших инстанций, от людей же требуется лишь восторженная готовность исполнять приказания, — но потому, что она, эта церемония, была последним испытанием, последним вопросом, который судьба задала королю и на который он волен был ответить так, как ему заблагорассудится; как уже говорилось выше, он и на сей раз уклонился от ответа. Но ведь и это был своего рода ответ. Седрик, хотел он этого или не хотел, сказал: да. И больше его уже ни о чем не спрашивали.

Название «тронный зал» не должно вводить в заблуждение. Уже много лет сюда наведывались только туристы да школьники. Не так давно зал арендовала, загромоздив его осветительной аппаратурой, всемирно известная фирма Скира. Ее сменила какая-то кинокомпания. Быть может, не все читатели знают, что именно здесь находится мозаичное панно — прославленный памятник искусства Северного Возрождения. Панно создано в начале XVI столетия. Оно изображает батальную сцену: король Седрик Святой бок о бок с архангелом Михаилом во главе победоносного воинства.

Эта картина и послужила своего рода живописным задником для процедуры, имевшей произойти в зале. В зал внесли длинный стол, расставили пепельницы и бутылки с минеральной водой, разложили автоматические перья и бумагу — весь этот реквизит, явно бесполезный, как бы подчеркивал ненужность ритуала, единственной целью которого было придать видимость благообразия последним корчам умерщвленного государства. Король вошел, и все встали — жалкое собрание склеротических старцев, незадачливых правителей, страдающих одышкой и избытком сахара в крови. Над их белоснежными воротничками нависали складки розового жира. Военный министр слепил взоры парадным мундиром, но нужно ли говорить, насколько неуместной выглядела здесь эта выставка крестов и звезд? Окинув взглядом собрание, король Седрик сел (точно подломился), и тотчас уселся и посол Германии, но, заметив, что все стоят, вскочил почти непроизвольно, — это маленькое происшествие доставило облегчение присутствующим. Седрик, окаменелый, посвечивал перед собой прозрачным взором, лишенным какого-либо выражения. Наконец он выдал: «Прошу». Все сели. Теперь посол стоял, монокль сверкал у него в глазнице. «И вы, сударь», — сказал Седрик по-немецки.

Премьер-министр, похожий на мистера Пиквика и, кстати, бывший пациент клиники, где его величество удалил ему года полтора назад опухоль простаты, голосом, каким говорят в классических пьесах благородные отцы обесчещенных дочерей, прочел заявление кабинета. В изысканных выражениях правительство протестовало против насилия. Оно напоминало об институтах международного права, традициях, восходящих ко временам Рима; сослалось на пакт о ненападении, заключенный между его страной и Веймарской республикой. (По-

сол пожал плечами.) Все это служило, однако, лишь поэтическим предисловием. Премьер остановился, чтобы подкрепиться минеральной водой. Он продолжал. Под гнетом обстоятельств, уступая силе, королевское правительство сочло себя вынужденным принять оккупацию как факт. Оно обещает выполнять волю победителя. Границы будут закрыты; всякие сношения с западным миром будут прерваны. Будет учрежден контроль над радио и печатью. И так далее.

Внимая этой обиженной речи, посланец рейха на другом конце стола блистал, точно прожектором, стеклянным окном. Упоминание о гарантиях порядка и справедливости, на которые притязал оратор, слишком мягко произнося немецкие слова, приподнимая левой рукой старомодные очки и чуть ли не водя носом по тексту, вновь заставило посла пожать жирными плечами. Со стены, воздев крестообразный меч, на посла взирал зеленоглазый король-рыцарь; другой король возвышался на председательском кресле, и его коротко остриженная серебряная голова приходилась вровень со шпорами всадника. Прямой, как бамбук, со зло задраным подбородком, с тусклым бешенством в хрустальных старческих очах, Седрик стойчески терпел благообразную ахиною, которая лилась из округлых уст премьер-министра. Чувствовал, как кислая волна медленно поднимается к горлу со дна желудка. В кругах, близких ко двору, да и не только в этих кругах, хорошо было известно, что его величество страдает повышенной кислотностью, по крайней мере, сорок лет.

Было ясно, что ход событий, как и движение светил, ни от кого не зависит. Означает ли это, что мы беспомощны перед лицом этого извечного ультиматума? Безвыходность избавляет от ответственности — перед кем? Перед другими. Но не перед самим собой. Именно так оценил ситуацию кузен, северный сосед.

Положим, прав Спиноза, говоря, что упорство, с каким человек отстаивает свое существование, ограничено, и сила внешних обстоятельств бесконечно превосходит его; положим, не в нашей власти одолеть бурю. Но от нас будет зависеть, какой флаг взвьется над гибнущим кораблем. В цветах этого флага — вся наша свобода! Скандинавские государства, как известно, сохранили традиционную форму правления. Что же сделал кузен? В ситуации, как две капли воды похожей на эту, он заявил, что отречется, если нация примет условия захватчика.

Поразительная вера в себя, граничащая с безумием уверенность в том, что твой голос будет услышан в этом лязге и грохоте механизированного нашествия, фанатическая верность идее, представителем, нет, заложником которой ты ощущаешь себя на земле! Король — есть символ свободы. Но нация не состоит из королей. Чем обернулось все это для его народа, для беззащитных женщин, стариков и детей? Страна была раздавлена.

Посол рейха взял слово, и собрание с дипломатической грацией обратило к нему розоватые лысины с седыми венчиками волос, точно ничего не случилось в мире, точно время не сорвалось с оси в замке Эльсинор, и красные флаги с тарантулом не плескались над зданиями, и кровь убитых не смывала с брусчатки водоструйная машина; посол стоял, мерцая моноклем, с листочком текста, точно певец с нотами; все почтительно слушали. Да, они сознавали историческую важность этой минуты и долгом своим считали хранить спокойствие и благообразие, они называли это выдержкой, а на самом деле старались задобрить хищника своей покорностью, угодливо заглядывали ему в глаза, участливо внимали его нечленораздельному рыку, делая вид, что слушают человеческую речь! Приступ изжоги вновь с небывалой силой настиг короля. Желудок и пищевод, казалось, тлели, съедаемые подспудным огнем. Как человек воспитанный, он знаками успокоил певца — мол, продолжайте, я сейчас — и на цыпочках пробалансировал мимо копыт христианнейшей рати; посол метнул в него грозный луч, затем вновь возвысил голос; король молча вышел из зала.

8

Мы не смеем предложить читателю собственное решение того, что позднее было названо загадкой рейха; однако не чувствуем себя в силах удержаться от искушения мимоходом бросить взгляд на феномен, в котором по крайней мере одна черта пленяет и поражает воображение. Мы имеем в виду ту особенность национал-социалистического государства, благодаря которой атмосфера жизни в нем неожиданно и своеобразно воспроизводила мир душевнобольного, с его чувством исчезновения реальности и незримого присутствия таинственных сил, управляющих его помыслами и всем его поведением.

Рейх и поныне таит в себе нечто завораживающее; сошедший со сцены, он и теперь чарует душу, зовет, как мираж, и притягивает, как взгляд василиска. Рейх казался грандиозной мистификацией. Все его граждане, от привилегированных до обездоленных, от высших партийных чиновников до уличных чистильщиков сапог, состояли как бы в общем заговоре относительно того, что надо и чего не надо говорить, и все вместе производили впечатление людей, однажды и навсегда условившихся говорить друг другу неправду, только неправду, ничего, кроме неправды. Но в том-то и дело, что, убежденные в необходимости скрывать истину, убедившие себя, что не следует даже пытаться вникнуть в суть вещей, как не следует поднимать крышку дорогих часов и заглядывать в механизм, они и не знали истины.

Таинственность была характерной чертой этого порядка; подобно тому, как большинство людей имеет весьма смутное представление о принципе действия телефона или электрического утюга, подобно тому, как деятельность их собственного тела остается для большинства людей непроницаемой тайной, так огромное большинство подданных рейха не имело ни малейшего представления о том, что происходит в их стране. В этом государстве все было засекречено, все было окутано ревнивой тайной, начиная от внешней политики и кончая стихийными бедствиями и статистикой разводов; никто ничего не знал и не имел права знать, все подлежало тщательной утайке от ушей и глаз всякого, ибо каждый состоял под подозрением, и люди жили в уверенности, что государство внутри и снаружи окружено сонмом врагов. Предполагалось, что эти враги жадно ловят каждое неосторожно оброненное слово, чтобы обратить его во вред стране. И враги, число которых, несмотря на истребительные меры, не уменьшалось, составляли предмет главных забот партийных и государственных инстанций; существовал подлинный культ врагов; уже недостаточно было содержать для борьбы с подрывной агентурой одну тайную полицию: на обширной территории рейха трудилось пять независимых друг от друга полиций и столько же контрразведок; они напоминали быстро размножающиеся предприятия в перспективной отрасли промышленности. Враги и враждебные элементы составляли подлинный смысл существования огромной массы государственных учреждений, и, таким образом, противодей-

ствие рейху, мнимое или действительное, в известном смысле было условием его существования.

Мистическая природа рейха сказывалась в том, что он управлялся законами, исходящими неизвестно откуда. Нет, не теми законами, которые торжественно объявлялись народу, записывались в золотые книги и высекались на мраморе, за которые полагалось денно и ночью благодарить правительство и партию; эти законы, может быть, и действовали в стране, но на жизни ее они не отражались. Для бесчисленных исполнительных органов основой и руководством служило другое. Таинственность частных толкований, именуемых установками, большей частью засекреченных, непреложных, как слово Божье, хотя нередко противоречащих друг другу, заключалась в том, что сколько бы вы ни поднимались по лестнице управляющих инстанций, вы нигде не находили составителей этих законов, не находили инициаторов и творцов режима, партийные товарищи, как бы высоко они ни сидели, всегда лишь исполняли какой-то еще выше составленный завет, и, значит, все они несли равную ответственность за происходящее или, что то же самое, никто ни за что не отвечал.

Высшая же таинственность рейха состояла в том, что весь он, от вершин до подножия, был пропитан мифом. Точнее, он сам представлял собой воплощенный в действительность, замкнутый в себе и всеобъемлющий миф. Этот миф был поистине универсален, ибо он обнимал все стороны жизни. Он содержал в себе последний и окончательный ответ на все вопросы. Огромное государство, возникшее, как феникс, в центре Европы на исходе первой трети двадцатого века, представляло собой мифическую нацию с мифологией вместо истории, с мифологической нравственностью и мифическим идеалом впереди; во всех своих отправлениях оно неизменно обнаруживало свою внереальную сущность. Народ, однако ж, принял ее за истину. Это произошло потому, что подлинная истина представлялась ему жуткой и бесприютной; стихия таинственности, напротив, манила и согревала. Точно повредившийся в уме, он не сознавал своего помешательства. Разумеется, миф рейха, как и любого подобного ему государства, если судить о нем по трудам его теоретиков, по творениям его поэтов, по житиям святых, по школьным прописям, по словоизвержениям вождей, по любым экскретам национального самосознания, — носил вполне бредовый характер. Это придавало ему ни с чем не срав-

нимое очарование. И развивался этот миф по хорошо известным законам бредообразования, и было бы поучительно проследить, как, миновав продуктивную стадию систематизации, он приблизился к той ступени, на которой бред душевнобольного бледнеет и рассыпается, — к стадии распада психики. Но рейх не дожид до гибели своего мифа, режим не успел надоесть самому себе — и, может быть, поэтому остался навеки юным. Забили барабаны, птица феникс хлопала крыльями — рейх, ощутивший неодолимую потребность расширяться, начал войну. С новой силой ударила в бубны неслыханная по размаху и наглости пропаганда, и миф, как бы омытый грозой, ожил и заиграл всеми красками на солнце.

9

Бамм! Бамм! Бамм!..

Двенадцать раз прогудел башенный колокол, потом что-то перевернулось в громадных часах, и куранты несколько монотонно и гнусаво начали вызванивать гимн. Боже, убереги нашего короля, и нас, и наши нивы!

И наши квартиры. И наши клумбы с фонтанчиками. И наши счета в банке. И туманы над нашим морем. И наших лысых министров. И...

Тогда раздвинулись кованые ворота со львами на столбах (один лев так и сидел без лапы). Часовой отдал честь кавалеристу на белой лошади древних кровей, чья родословная восходила ко времени славного Росинанта. Ее копыта, похожие на точеные основания шахматных фигур, четко зацокали по мостовой. Король Божьей милостью, в узких штанах, обшитых серебряным шнуром, в лазоревом мундире навсегда ушедшего в вечность лейб-эскадрона, почетным шефом которого он все еще числился, выехал на прогулку.

Сограждане с удовлетворением отметили восстановление стародавнего обычая. Слава Богу, король на лошади! Силуэт, знакомый с детства, оттиснутый на почтовых марках, выдавленный на шоколадных тортах, привычный образ, почти домашний, как этикетка на старой шляпе, воскрес и одним этим звонким цоканьем отогнал зловещее видение оккупации, видение серо-зеленых горшков, серых мышинных мундиров и морковных зна-

мен. Король на лошади — значит, все в порядке. Это они усвоили с детства.

Седрик пустил коня по улице, той самой, где полгода назад две подружки прятались в подъезде. Моросил дождик. Он выехал, поскрипывая седлом, на бульвар. Прохожие ухмылялись. На углу стук копыт примолк; потомок Росинанта, плеча пышным хвостом, пританцовывал задними ногами. Можно было не глядя сказать, что там происходило: король перегнулся через седло, чтобы пожать руку старому хранителю университетской библиотеки, как всегда, поджидавшему на углу. The King's Hour*, картинка, напечатанная в школьных хрестоматиях! Конь рысью пошел вдоль блестящих трамвайных рельсов, а у библиотекаря произошел разговор с зеленым горшком, случайно очутившимся рядом. Немец с недоумением смотрел на удалявшегося всадника.

«Почему у него нет охраны?» — спросил немец.

Рефлекс, воспрещающий откликаться на звук тевтонской речи, как если бы никто в этой стране никогда не слышал ни одного немецкого слова, не сработал; старик влажными глазами провожал уменьшающийся конский круп. Когда лошадь исчезла за кленами бульвара, старик сказал:

«Видите ли, сударь...»

Он остановился, достал из кармана потрепанного пальто платок, такой большой, что он мог бы служить национальным флагом, осушил розовые мешочки под глазами, потом гулко высморкался и закончил свою мысль так:

«Видите ли, — а зачем его охранять?»

«Как зачем?» — сказал солдат.

«В этом нет надобности», — сказал старик.

«Почему?»

«Потому что, видите ли, мы все его охраняем. Если он упадет, мы подбежим и поднимем его. Но, слава Богу, — сказал старик, — он старше меня на десять лет, а еще ни разу не падал».

«Да не об этом речь, — сказал немец с некоторым раздражением. Ему уже приходилось сталкиваться с этим странным слабоумием местных жителей. — Почему он без охраны, без телохранителей? Или как там это у вас называется».

* Час короля.

«Виноват, — возразил библиотекарь, — от кого же его охранять?»

«От врагов!»

«Это легло бы слишком тяжелым бременем на бюджет, — заметил библиотекарь. Несколько осмелев, он взглянул выцветшими глазами на собеседника. — А ваш... руководитель, — спросил он, — бывает на улицах?»

«Фюрер не ездит верхом. Лошадь — устарелый способ передвижения».

«Но красивый», — сказал библиотекарь.

«К тому же, — продолжал солдат, — фюреру некогда».

«О да, — с готовностью подтвердил библиотекарь. — На автомобиле он мог бы доехать быстрее. Но, видите ли, важно знать, куда едешь».

Человек в зеленом шлеме в ответ на эти слова усмехнулся и сказал, что вождь немецкого народа и всего передового человечества знает, куда он едет. А вот куда едет король?

«Никуда, — ответил библиотекарь. Разговор принимал опасный характер. — Это традиция его семьи, — пояснил библиотекарь. — И отец его, и дед тоже, знаете ли, так катались».

Дождь накрапывал все сильнее, и на бульваре почти не осталось прохожих.

«В ваших словах, — произнес немец, — я усматриваю проявление неуважения к фюреру. Кто вы такой?»

«Что вы, — испугался старик, — что вы, mein Herr! Я питаю к фюреру самые лучшие чувства. Он великий человек. Мы все его обожаем».

Солдат перебил его: «Я полагаю, это происходит не от злого умысла, но от недостатка политической зрелости. Советую подумать над этим».

«Слушаюсь, mein Herr», — сказал старик и на всякий случай сдернул с головы шляпу. Дождь не утихал. Старый хранитель взглянул на часы и увидел, что стрелки приблизились к часу — время, когда все королевство садится за ленч. Он снова приподнял шляпу.

«Всего хорошего, — презрительно отозвался немец, у которого шлем блестел и плечи с серо-голубыми полосками погон начинали темнеть от воды. — Впрочем, еще минутку, — сказал он. — Вы не могли бы показать мне ваш Passierschein?»

«Что?» — осторожно осведомился библиотекарь.

«Я говорю, пропуск. Пропуск на право передвижения по главной улице. Долг службы, — объяснил человек в шинели. — Впрочем, чистая формальность».

«Но... у меня нет пропуска, — пролепетал библиотекарь. — Я даже не слышал об этом».

«О! — сказал немец. — Я удивлен. (Он действительно был удивлен.) Я удивлен и огорчен. Улица, по которой проезжает глава государства, есть правительственная магистраль. Я вынужден вас задержать».

«Но, сударь! — воскликнул в отчаянии библиотекарь. — У меня камни».

«Какие камни?»

«У меня камни в почках. Сам король меня лечил... У меня жена. Господин офицер! Она сойдет с ума, если я не приду домой».

Солдат наклонил горшок в знак сочувствия. Потом вскинул подбородок. Они направились в ортскомендатуру, библиотекарь жался к стенам домов, хотя погода уже не имела для него никакого значения, а солдат шагал твердо, цокая подковками сапог, через пенистые потоки, струившиеся из водосточных труб.

10

Богиня счастья отвратила свой лик от Седрика. Итог решающей схватки был плачевен. Под радостный рев валторн из «Иуды Маккавея» заколыхались черные стяги; пришли в движение остатки все еще грозной неприятельской армии. Рослый ферзь, словно египетский фараон, мчащийся в колеснице, обогнал наступающие войска и с разбегу врезался в боевые порядки окруженной, отчаянно отбивающейся пехоты белых.

Один за другим пали телохранители короля. Тела их были унесены с поля боя, и вот настал момент, когда ничего другого не оставалось, как самому взяться за меч.

«Итак...» — проговорил доктор Карус, намекая на последнюю возможность спасти честь заключением перемирия.

Король уклонился от ответа. Отскочил в сторону. Тщетная попытка выиграть время. Издалека, с другого края дымящейся равнины, белый конь рванулся на помощь, поскакал кривым скоком на верную гибель. Унесли и его. С высоты своего длинного тела Седрик

глазами удрученного Бога взирал на свой образ и подобие, на короля, еще ворочавшего мечом в углу доски; вокруг сопел тесный ряд смуглых ландскнехтов... Не слишком-то отважны были они в этом неравном бою, но один уже крался к заветной черте. «Осанна!» — воззвал ликующий хор, в ответ грянул великолепный оркестр лейпцигского Гевандхауза. Лазутчик превратился в маршала. А Седрик все еще белел в гуще битвы запачканным кровью плащом.

С мечом, вознесенным, как крест, рукоятью кверху, он стоял, прикрывая собой последние квадратики своей земли.

«Итак!» — вскричал доктор Карус.

И с последними тактами оратории Генделя король, последний солдат своего войска, закололся.

Игроки молча склонили над ним головы. Кристиан, наблюдавший за ходом событий из уютного кресла, почтил погибшего дымовым залпом.

(И еще много лет спустя этот вечер в октябре, почему-то выхваченный памятью из длинного ряда подобных ему вечеров, с люстрой, сиявшей лампочками в виде свечей, с молчаливой, точно заколдованной королевой, с черными шторами на окнах, много лет спустя этот вечер вспоминался Кристиану, которого конец войны застал в концентрационном лагере на острове Лангеланн, далеким и неправдоподобным видением счастья; как живой вставал перед ним отец, седой, очень высокий, с глубокими вертикальными морщинами на щеках, отец, который не любил его и посмеивался над его профессией, — чудаковатый монарх, занятый своей медициной, он стоял над шахматной доской, вперившись в пустые клетки, как будто заново проигрывал в уме партию, потом, все еще глядя на доску, похвалил отличную запись.)

«Кстати, — сказал Седрик, — он ведь, кажется, разрушен?»

Он имел в виду концертный зал Гевандхауза, где в молодости приходилось ему бывать в обществе дяди, кронпринца Гуго. (Ни Гуго, ни тети Оттилии, разумеется, уже не было на свете, немецкие кухни доживали свой век кто где.)

Коллега Карус в ответ на эти слова заметил, что налеты английской авиации стали совершаться с периодичностью, которую нельзя назвать иначе как фатальной.

На что толстяк Кристиан возразил, что фатум, собственно говоря, есть не что иное, как метафизический парафраз высшей справедливости.

Идея рока безрассудна, но при ближайшем рассмотрении оказывается детищем оптимистического рационализма.

«Я что-то не понял, — отозвался король, расставляя фигуры. — Не будет ли профессор столь любезен дать научное определение этому понятию?»

«Какому?» — спросил Кристиан.

«Высшей справедливости, *bien sur*»*.

Кристиан пристроил сигару в уголке шахматного столика, извлек из кармана домашней куртки *carnet*** и перелистал странички, исписанные бисерным почерком. Такой почерк всегда бывает у людей с хорошим пищеварением и ясным, незамутненным взглядом на мир. (Спустя десять месяцев эта книжка была отобрана у Кристиана при обыске в санпропускнике в числе других предметов, при этом ему велели снять одежду, нагнуться и раздвинуть ягодицы.)

Итак, Кристиан отложил сигару и обвел сияющим взором отца, мать и доктора. «Вот», — сказал Кристиан.

Он прочел:

«Справедливость и несправедливость зависят не токмо от природы людей, но от природы Божьей. Исходить же из Божественной природы значит основываться отнюдь не на произвольных посылках. Ибо! (Кристиан поднял палец.) Ибо природа Бога всегда покоится на разуме».

Королева считала петли. Доктор Карус оком полководца озирает шахматную доску.

Король промолвил:

«Неплохо сказано. Кто это?»

«Лейбниц», — сказал Кристиан и, закинув ногу за ногу, величественно выпустил дым.

«Что ж, — заметил Седрик, — ему это простительно».

Доктор сделал первый ход: теперь белыми играл он.

«Так», — сказал Седрик. Вдали слабо запел рожок. На мгновение король закрыл глаза. Простер руку над строем войск — медленным провиденциальным жестом. И под звуки рожка черные, издав боевой клич, ринулись на врага.

* Конечно.

** Записная книжка.

В ноябре по случаю Дня Независимости король выступил с традиционной речью по радио. Нужно признать, что она была не самым удачным из его выступлений. Это почувствовали все граждане, но кто на его месте поступил бы иначе? Радиовещание контролировалось оккупационными властями, точнее, полностью находилось в их руках, в комнате, соседней со студией, сидел техник, готовый при необходимости прервать передачу по техническим причинам, а рядом с Седриком за пультом находился некто в штатском, который помогал королю переворачивать страницы.

Речь была посвящена инциденту на железнодорожном вокзале. Упомянув о нем, мы отнюдь не хотим сказать, что этот инцидент каким-либо образом повлиял на международную обстановку. Ничто из происходившего в маленькой стране — читатель должен был понять это с самого начала — решительно не могло оказать влияния на ход мировых событий. Это в равной мере относилось и к мелким недоразумениям, время от времени омрачавшим мирное соитие завоевателя с покоренной страной, и к тому беспрецедентному нарушению порядка, о котором нам еще предстоит рассказать позднее. Итак, случай, происшедший на вокзале, был едва упомянут газетами, да и в речи короля о нем говорилось достаточно глухо. Дело в том, что здесь была допущена ошибка. Не было ровно никакой необходимости в публичной акции, не надо было устраивать никаких митингов, а надо было просто сообщить о митинге, сочинив репортаж и подобающие речи; вместо этого пошли на поводу у дурацких обычаев страны, где привыкли все видеть своими глазами, страны, где премьер-министр ездил на заседания кабинета в трамвае, где король катался по улицам на лошади, где не имели никакого представления о государственном престиже. И вот результат! В честь стрелков добровольческой роты, не без значительных усилий сформированной для отправки на фронт в Россию, на вокзальной площади были устроены торжественные проводы. На митинге собирався выступить военный министр. В новых шинелях и плоских блинообразных беретах с двухцветной, синей с зеленым, национальной кокардой солдаты выстроились на мостовой, напротив входа в зал для продажи билетов; несколько в стороне на

тротуаре стоял народ. Ни с того ни с сего в этой толпе произошло движение: как передавали, там неожиданно начались родовые схватки у какой-то добровольческой жены. По другим данным, там задавили собаку. Так или иначе, но министр не успел раскрыть рта, а немецкий капитан, стоявший рядом, не успел дать знак полиции, как толпа слушателей шарахнулась, кордон полицейских, впрочем довольно малочисленный, был оттеснен, и в течение последующих десяти минут неизвестные, в количестве примерно тридцати человек, храня молчание и даже относительный порядок, избили добровольцев, испачкали обмундирование и сорвали с них национальные блины, после чего так же молча и таинственно рассеялись. Не останавливаясь на этих подробностях, выяснением которых вот уже целую неделю были заняты компетентные инстанции, король нашел лишь необходимым обратиться с увещанием к народу, прежде всего к молодежи, призывая ее воздерживаться от действий, могущих осложнить отношения с оккупационным режимом.

Еще была неприятность с уличным хулиганом, неким Хенриком Седриксоном, восьми с половиной лет. В четверг 9 ноября этот мальчик подошел к воротам ортскомендатуры и плюнул в часового, причем попал ему в пряжку. Это произошло днем на глазах у прохожих и возвращавшихся с уроков детей, и инцидент получил огласку. Король призвал родителей и педагогов уделять больше внимания искоренению дурных манер у подрастающего поколения. Похороны мальчика были приняты на государственный счет. В заключение своей речи его величество обратился к Богу, прося его о спасении страны и народа.

Вообще следует сказать, что поддержание дисциплины в столице и за ее пределами натолкнулось на одну непредвиденную трудность: в стране не удавалось наладить обычную для всего рейха систему сыска. Трудность, собственно, состояла в том, что не удавалось привить населению этой страны мысль о естественности и необходимости доносов. Люди не понимали — или притворялись, что не понимают, — чего от них требуют. И все же, в общем и целом, оккупационный режим (это тоже надо отметить) оказался мягче, чем можно было ожидать. Победитель щадил маленькую страну, словно в самом деле питал уважение к ее очевидной беспомощности. Возможно, сыграло роль и то, что этническая принад-

лежность этого народа к германскому племени давала ему право, с известными оговорками, считаться арийским. Разумеется, и в этой стране повсеместно был установлен комендантский час, действовали карточная система, трудовая повинность, паспортизация, прописка, «кружка победы», ежегодная подписка на заем, запрещение самовольного ухода с промышленных предприятий, запрещение свободного передвижения по стране, безусловное запрещение выезда за ее пределы, хотя бы и к родственникам, хотя бы и к детям, хотя бы и мужу к жене, жене к мужу; были упразднены все намеки на политическую деятельность, была установлена цензура на все, что выходит из-под печатного станка: от телефонных книг до объявлений в брачной газете, от романов до трамвайных билетов и талонов на керосин. Разумеется, ни одно публичное выступление, включая проповеди в церквях, не обходилось без выражений горячей благодарности вождю, этому отцу народов и лучшему из людей. Разумеется, английская блокада, распространенная на все территории, подвластные рейху, не сделала исключения для маленькой страны, и, например, по улицам столицы двигались автобусы, запряженные лошадьми, ввиду отсутствия бензина. Но достаточно было сравнить положение в стране хотя бы с участием северного соседа, чтобы понять, насколько судьба была милостива к этому патриархальному краю. Жизнь продолжалась с ее обычными заботами, радостями и печальми, и погода стояла обычная для этих мест: как тысячу лет назад, туман висел над морем викингов; в предутренней мгле, точно призраки, маячили на перекрестках продрогшие полисмены в серебристых от измороси плащах, обыватели просыпались на рассвете в своих спальнях за черными шторами, под веточкой багульника, женщины зачинали в сонных утренних объятиях, это была весьма сносная жизнь, без ночных облав, без заложников, даже без отправления людей в Германию, уходили только бесконечные эшелоны с продовольствием: рейх нуждался в колбасе, маргарине, мороженой рыбе, картофеле, беко-не, — все же остальное — колокольни соборов, памятники морским разбойникам, ключья тумана, герб, сплетенный из волос русалки, даже опереточный страж у ворот дворца — представлялось несъедобным и до поры до времени не привлекало внимания вечно голодного победителя. Утверждали, что в стране нет ни одного концлагеря. Дети брели в школу, волоча старые отцов-

ские портфели с тетрадками из серой и очень тонкой бумаги. Хозяйки стояли в очередях и не роптали.

В канун Рождества, когда по улицам от дома к дому ходили пожилые серьезные господа в котелках, несли на палках деву Марию, волхвов и мулов, фюрер в речи, переданной из Нюрнберга, вновь осчастливил крошечную нацию: она была названа «образцовым протекторатом». По этому поводу газеты разразились ликующими передовицами. За этим последовал новый, столь же многозначительный жест — поздравительная телеграмма по случаю семидесятилетия короля. В этот день разрешено было развесить на улицах штандарты с буквой С и римской цифрой Х, а рядом, само собой, развевались морковно-красные флаги победителей.

Начался зимний семестр в университете. После десятилетнего перерыва Седрик возобновил в нем свой курс. Он продолжал работу по обобщению материалов о результатах лечения рака предстательной железы, но конгресс в Исландии был снова отложен.

12

В промозглую весеннюю ночь, густым туманом окутавшую Остров, королю приснился сон. Ему приснилось, что огонек ночника потух и, открыв глаза, он пытается сообразить, где он, пока наконец глаза не привыкают к мраку, и он видит перед собой два высоких, выступающих в темноте окна спальни.

Сон был явно дурной, непонятный и ничем, по-видимому, не спровоцированный, и опять-таки мы упоминаем о нем вовсе не потому, что хотели бы приписать ему какое-нибудь символическое значение; пожалуй, в нем сказалась невысказанная тревога тех дней, глухое нечто, вползавшее через щели и дымоходы с лохмотьями тумана, — и только.

Открыв глаза, Седрик увидел, что черные шторы затемнения закатаны чьей-то рукой кверху и во тьме перед ним выставились два окна — совершенно пустые. Но что-то мешало ему разглядеть предметы в комнате и даже мебель. Что-то зыбкое окружало кровать, скрыло пол, и в этой массе тонули внизу окна. Вглядевшись, он понял, что вся комната заросла водорослями.

Недовольный и даже огорченный, он встал и нашарил ночные туфли — они оказались полны ила — и в туман-

ной зеленоватой воде стал пробираться к выходу, стараясь не поднимать шума. Ему удалось выбраться в залу, никого не разбудив, а потом и на галерею, и он начал спускаться по лестнице, крепко держась за перила, чтобы не поскользнуться. Это была историческая лестница, известная тем, что на ней, на ее ступеньках, умер его дедушка Седрик IX — вышел утром из спальни и вдруг сел и умер. Внизу Седрика ожидал сюрприз. Когда он шел по бельэтажу, волоча мокрые туфли, и по привычке оборачивался на зеркала, приглаживая на голове ежик, то вдруг оказалось, что в зеркалах никого нет: кто-то двигался, кто-то шелестел в полутьме туфлями по эту сторону зеркал, но ничего не отразилось в их тусклой бесконечности, они остались пусты, и по тому, как он спокойно отнесся к этому, Седрик понял, что и он умер, умер в самом деле, или, как принято выражаться о королях, почил в Бозе. Что было, в общем, неудивительно в его возрасте.

Очевидно, об этом еще никто не знал. Седрик пожалел Амалию и пожалел государственный бюджет, на который в эти трудные времена свалилось неожиданное бремя — катафалк, лошади и прочее. Но формальности уже не имели для него значения, вот только медицинского заключения он не мог избежать, уважая хотя бы профессиональную этику. Проще говоря, предстояло вскрытие, и скрепя сердце он поплелся в тех же домашних шлепанцах и в халате со следами морской травы в морг, досадуя на себя за то, что не успел привести себя в порядок перед неприятной, но необходимой процедурой.

Он лежал на мраморном столе в зале со стенами из кафеля. Ровный свет струился из невидимых источников, лежать на мраморе было очень холодно, и он попытался натянуть сползшее одеяло, но тут же вспомнил, что никакого одеяла нет и быть не может, потому что он мертв и лежит в прозекторской университетских клиник, в хорошо знакомом ему секционном зале, и какое счастье, что вокруг него не было студентов; уже слышны были шаги служителя, шорох его клеенчатого передника и звяканье эмалированных лотков. Затем чьи-то руки подхватили его под мышки, рывком подтянули к себе — под головой у Седрика оказалось деревянное изголовье. В это время дверь открылась, и вошел г-н Люне, прозектор.

Прозектор встал на пороге, в пустой раме, и лишь теперь стало ясно, кто он такой: в белой одежде, с пару-

сами накрахмаленных крыльев за спиной, он держал перед собой двумя руками, как крест, длинный блестящий меч. Ангел смерти шагнул к столу и одним взмахом рассек тело Седрика, расщепил его от подбородка до лобка. Производя исследование, г-н Люне шевелил губами. Слов не было слышно, по-видимому, он диктовал протокол. Слава Богу, они не стали распиливать череп: прозектор полагал, что ничего существенного там не найдет. Он диктовал, а Седрик сгорал от любопытства, тщился прочесть его слова по движениям губ, следя за прозектором из-под полуопущенных век, но ничего не понял. Вскрытие кончилось, и, понимая, что через минуту его унесут и он никогда уже не сможет изложить свои доводы, Седрик напряг все силы, пытаясь встать: он хотел оправдаться перед прозектором, объяснить ему, на каком основании был поставлен ошибочный диагноз; объясниться было необыкновенно важно; прозектор уже направился к дверям. С невероятным усилием Седрик пошевелил губами, но язык оцепенел, воздух застрял в груди, руки не слушались его, прозектор уходил, Седрик тянулся к нему... Беззвучный, безголосый хрип выдавился из глубин его существа, как это бывает во сне, и, поняв, что это сон, услышав свой хрип, он проснулся.

Он проснулся в липком поту, ночник горел перед ним; он выпил воды и упал на подушки, измученный пережитым и обессиленный до изнеможения, но заснуть снова ему не дали: впереди была дорога; задувал ветерок, было зябко, как перед дождем, надо было поторапливаться. Все небо обложила глубокая, дымно-лиловая туча. Лишь на горизонте не то светился закат, не то тлели пожары. С мешком за спиной, уныло стуча палкой, он шел по дороге, и ветер доносил запах обугленного дерева: где-то горели леса; мало-помалу Седрика стали обгонять другие путники; дорога сделалась шире, вдаль показался забор, в заборе ворота.

Огромная толпа с мешками, с корзинами, с перевязанными бечевкой чемоданами осаждала ворота, и было видно, как охранники били людей прикладами автоматов, стараясь восстановить порядок. С вышки на это столпотворение равнодушно взирал часовой, топал затекшими ногами по дощатому помосту и пел песню, вернее, разевал рот, а слов не было слышно. То и дело лязгал засов, чтобы пропустить одного человека. Ясно было, что ждать придется долго. У ворот маячила высокая светлая фигура Св. Петра.

Вместе с толпой Седрик медленно продвигался вперед. Сзади толкали. Стражник у входа листал захватанный список. Все это тянулось невероятно долго. Наконец подошла его очередь. Апостол не торопил его, с презрительным терпением наблюдал, как Седрик развязывал мешок. В мешке были свалены органы — ужасное липкое месиво. Дождь накрапывал, толпа нажимала сзади, загоразивая свет; дрожащими руками он стал вытаскивать почки, сердце, желудок, вынул и показал большую скользкую печень. Все было сильно попорчено господином Люне.

Петр мельком взглянул на органы, поморщился и махнул рукой; Седрик принялся торопливо запихивать все обратно. У него было тяжелое чувство, что он не сумел угодить. Такое чувство испытывает человек, у которого не в порядке документы. Но что именно не в порядке, он не знал. Предстояли еще какие-то формальности. Толпа сзади бурно выражала нетерпение, а он все еще собирал свое имущество; органы были липкими, он перепачкал руки и вытирал их о мешковину. Из толпы неслась брань. Никому из них не приходило в голову, что каждого ждет такая же участь. Апостол хмурился: Седрик задерживал очередь. Вдруг раздался оглушительный треск мотоциклов. Толпа шарахнулась в сторону, и большой черный автомобиль подкатил к воротам, окруженный эскортом мотоциклов.

Выражение отчужденности исчезло с лица апостола Петра, он приосанился, приняв какой-то даже чрезмерно деловой вид; стражники, молча дирижируя толпой, оттеснили всех подальше; ворота распахнулись. Стражники взяли под козырек. Седрик стоял в толпе, испытывая общие с нею чувства — сострадание, любопытство и благоговейный страх. Медленно пронесли к воротам гроб; мимо сотен глаз проплыли кружева газета, проплыл лакированный черный козырек фуражки и под ним туфлеобразный крупный нос с усами, растущими как бы из ноздрей. Усы были крашеные. Седрик узнал человека, лежащего в гробу. Толпа, объятая священным ужасом, провожала взглядом гроб; на минуту она как бы прониклась уважением к себе, раз и «он» здесь. Гроб исчез в воротах, и створы со скрежетом сдвинулись; громыхнул засов. Тотчас все, словно опомнившись, бросились к воротам. Произошла давка, и те, кто раньше стоял впереди, оказались сзади.

С вышки слышалась песня часового, кажется, это

был какой-то духовный гимн; очередь шла, апостол был занят: люди торопливо развязывали мешки, показывали содержимое корзин, один за другим проходили в ворота. О Седрике же как будто забыли. «Черт знает что такое, — проворчал Петр и, обернувшись, сказал: — Да отойдите вы, ради Бога. Мешаете работать». — «Это произвол, — возразил Седрик, — исходить из природы Божьей значит основываться не на произвольных посылках». — «Кто тебе это сказал?» — грубо бросил апостол Петр и отвернулся. Очередь все шла и шла мимо него.

«Я буду жаловаться», — сказал Седрик упрямо.

«Кому?» — спросил брезгливый голос.

«Королю», — сказал Седрик, забыв, что он и есть король. Впрочем, к лучшему: в толпе его подняли бы на смех, а может быть, и избили бы, вздумай он заикнуться об этом. Внезапная мысль осенила его, и он спросил, показывая на расщелину ворот: «А он? Почему *его* пропустили?»

«Он — это он», — буркнул голос.

«Но ведь он... вы понимаете, кто это?» — в отчаянии крикнул Седрик.

«Надо быть самим собой, — был ответ. — А ты — ни то ни се. — Говоря это, апостол жестом подозвал стражника. — Убрать, — приказал он коротко. — Под домашний арест».

Слова застряли в горле у короля, но на него уже не обращали внимания. Сзади нажала многоголосая, тяжело дышащая толпа, послышались крики раздавленных. Пламя вспыхнуло за забором. Затрещали доски... Вдруг стало ясно, что деваться некуда и нет спасения.

Таков был этот сон, о котором король поведал Амалии, каковое обстоятельство и сделало возможным для автора настоящих строк упомянуть о нем на страницах своей хроники. Повторяем, мы не склонны разделять мнение ее величества (см. ее «Мемуары»), будто странное это сновидение могло иметь влияние на судьбу короля или как-либо отразиться на его политической позиции. Было бы нелепо предполагать, что человек трезвый и реалистически мыслящий, каким был Седрик X, мог испытать душевный переворот под впечатлением ничего не значащего ночного кошмара. Вместе с тем мы понимаем, что смерть Седрика, последовавшая относительно скоро (примерно через полгода), ретроспективно могла дать повод ко всякого рода суеверным сближени-

ям. Как известно, монарх был расстрелян по приговору трибунала в связи с происшествием, о котором нам предстоит рассказать ниже. Королева Амалия, некоторое время содержащаяся в небезызвестном секторе «Е» женского лагеря Равенсбрюк, осталась в живых и здравствует по сей день: в нынешнем году ей исполняется 94 года. Быть может, психоаналитическая интерпретация упомянутого сна, если он заинтересует специалистов, способна пролить дополнительный свет на личность Седрика X; мы же привели его единственно с целью охарактеризовать общее настроение тревоги, по-видимому, владевшее королем даже в относительно спокойное время, когда ничто, казалось, не предвещало близкого поворота событий.

13

Итак, подытоживая сказанное в предыдущих разделах, можно утверждать, что весной 1942 года в стране наступила относительная стабилизация. Восстановилась будничная, размеренная, почти спокойная жизнь. Абсурд способен «вписаться» в реальную жизнь, где его присутствие оказывается как бы узаконенным, подобно тому как бред и фантастика в мозгу умалишенного уживаются с остатками реализма, достаточными для того, чтобы позволить больному кое-как существовать в среде здоровых. Специалистам известен замечательный феномен *симуляции здоровья* у больных шизофренией. Но нет-нет и внезапная эскапада выдаст пациента и сорвет завесу, за которой скрывается сюрреалистический кошмар его души. Тогда оказывается, что тени, пляшущие там, — порождение пустоты... Пронизывающим холодом веет из этого ничто, из погреба души, над которым в опасной непрочности воздвигнуто здание рассудка; и тянет в этот подвал, где живут только тени...

Тенью, вышедшей из царства абсурда, показался Седрику странный визитер, о прибытии которого с подозрительной многозначительностью возвестил секретарь. В этот час венценосец сидел в кабинете, как обычно просматривая текущие дела. *Sidericus Rex* — длинными и узкими, как он сам, полупечатными буквами на старинный манер выводил он под бумагами, теперь уже явно потерявшими смысл, с тем же успехом он мог

бы расписываться на листках отрывного календаря. Однако, как уже говорилось, внешние контуры жизни в эту полосу затишья вновь обрели устойчивость, и, как будто после наводнения старую мебель, сильно попорченную, но высохшую на солнце, расставили на старые места, и старые часы, кряхтя и постукивая маятником, вновь пошли с того места, на котором застала их катастрофа, — король ежеутренне выслушивал доклад, визи­ровал документы, принимал просителей...

Человек этот, с нарочито нейтральной фамилией, с невыразительной внешностью, так что через пять минут после его ухода король не мог припомнить его лицо, человек неопределенной национальности, то ли натура­лизованный немец, то ли соотечественник, долго жив­ший за границей, — сослался на дело, не терпящее отла­гательства, одновременно личное и государственное, и потребовал аудиенции с глазу на глаз.

Выходя из кабинета, секретарь обнаружил в прием­ной незнакомых молодых людей, неизвестно как оказа­вшихся здесь, они были в костюмах разных оттенков, но одного покроя, подобно маркам из одной и той же серии; в коридоре тоже прохаживались неизвестные лица; пер­сонал дворца куда-то исчез, в рабочую комнату войти было невозможно, и вообще в эту минуту секретарь его величества явственно ощутил присутствие в окружа­ющем мире чего-то потустороннего.

В это время в кабинете шел вежливый, очень тихий и очень странный разговор.

«Прошу, — Седрик указал на кресло. — Чем могу слу­жить?»

«Государь, — отвечал гость, — первая услуга, кото­рую вы окажете нам, — сохранение в безусловной тайне всего, что здесь будет сказано. И всего, что последует за этим».

«Что вы имеете в виду?» — слегка подняв брови, спро­сил король. Он напомнил посетителю, что в его распоря­жении имеется всего десять минут. «О! — отозвался тот. — Я отлично понимаю, что ваше величество перегру­жены делами».

«Да, — ответил Седрик. — Я занят».

«Итак?» — сказал гость.

«Что — итак?» — не понял Седрик.

Он снова напомнил г-ну Шульцу, что в приемной ждут другие посетители. Не угодно ли ему будет перейти к сути дела.

«Не извольте беспокоиться, — улыбнулся гость, очевидно, сознательно пародируя старомодную формулу вежливости. — Я отослал всех».

«Что?» — спросил Седрик.

Вместо ответа человек беспечно попросил разрешения закурить.

Это было нарушением этикета, несколько неожиданным у столь благовоспитанного визитера, но уже через минуту Седрик заметил любопытную метаморфозу, которая происходила с гостем: точно сцену с актером осветил новым светом боковой луч. Безупречный туалет г-на Шульца, его жидкие, слегка волнистые зеленоватые волосы, тускло блеснувшие, когда он выстрелил из крохотного стального пистолета перед кончиком сигареты, — все это осталось прежним, но и как будто переменялось, и глаза, медленно поднявшиеся на Седрика, принадлежали другому человеку. Перед королем сидел гангстер, похожий на рисунки в романах, которые продаются на вокзалах, — так сказать, дежурный гангстер. Что ж, это упрощало обстановку.

Вытянув длинные ноги под столом и скрестив руки, Седрик ждал, что последует за этим перевоплощением.

«Итак, — сказал Шульц, — вы обязуетесь сохранить в секрете наш разговор».

«Смотря о чем мы будем разговаривать», — заметил король.

«Предмет нашей беседы, — сказал Шульц с некоторой торжественностью, — есть дело сугубой государственной тайны».

«Гм, видите ли, содержание этого понятия толкуется в Германии иначе, чем в других государствах. Что касается моей страны, то у нас не принято скрывать от нации что-либо затрагивающее ее интересы».

«Пусть так, — сказал гость. — Но врачебная тайна в вашей стране соблюдается?»

«Конечно. Но при чем тут врачебная тайна?»

«А при том, что вопрос, интересующий моего поручителя, носит, так сказать... медицинский характер. Вот что, профессор, — неожиданно сказал Шульц и швырнул сигарету в угол, где стояла корзина для бумаг. Седрик с любопытством проследил за ее полетом. — Оставим эту дипломатию. Речь идет о больном, которому вы должны помочь».

«По этим вопросам, — произнес король, — прошу ко мне в клинику. Я принимаю по пятницам от двух до...» —

и он потянулся к блокноту с гербом на крышке, чтобы записать фамилию пациента.

Г-н Шульц вынул пистолет и вставил в рот вторую сигарету. При этом блеснули его стальные зубы.

«К сожалению... — проговорил он сквозь зубы. Щелкнул курок, но пистолет дал осечку. Очевидно, бензин был на исходе. — К сожалению, больной не имеет возможности посетить вас в клинике. Поэтому, — Шульц выстрелил, — вам придется посетить его. Впрочем, мой поручитель готов пойти вам навстречу — точнее, выехать. Свидание можно устроить где-нибудь на границе».

«А кто он такой?» — спросил Седрик.

«Вашему величеству угодно задать вопрос, на который я не уполномочен ответить. Впрочем, могу сказать, что это самый высокопоставленный, самый великий и самый гениальный человек, с которым вам как врачу когда-либо приходилось иметь дело».

«Вы уверены, — спросил Седрик, — что этому самому великому человеку нужен именно я? Я уролог».

«Вот именно, — ответил гость, заволакиваясь дымом. — Ему нужны именно вы».

«Разве в Германии нет специалистов?»

«Есть. Но они не оказались на должной высоте. К тому же, — он развел руками, это было слабым подобием реверанса, — к тому же репутация вашего величества как специалиста... Поверьте, — заключил г-н Шульц, пристально глядя в глаза собеседнику и понижая голос, — мы в Германии умеем ценить выдающихся ученых независимо от...»

«Независимо от чего?»

«Ну, — гость пожал плечами, — хотя бы... от международной обстановки».

«Так, — сказал король. — Может быть, вы ознакомите меня с историей болезни? Разумеется, в общих чертах».

«Разумеется, разумеется, — подхватил Шульц. — Все непременно и обязательно. Вам будет представлена вся документация. Во время осмотра».

«Так», — промолвил Седрик. И опять, подумал он, судьба задает ему вопрос, на который он волен ответить отказом. Какое это было бы наслаждение — выгнать вон это ничтожество, спустить его с лестницы! Выскобленный до неестественной гладкости фиолетовый подбородок короля сам собой вознесся кверху, и глаза утратили

всякое выражение. В эту минуту он был похож на старого, костлявого и непреклонного зверя — пожалуй, на своего геральдического льва.

Несколько мгновений прошло в обоюдном молчании. Лев закашлялся.

«Перестаньте курить», — прорычал он.

Шульц покосился на собеседника, скомкал сигарету, пробормотал «Excusez-moi...»* — и стал смотреть в окно, казавшееся матовым от густой завесы тумана.

В непостижимой дали смутно угадывалась башня с часами, она точно парила над клубящейся бездной, и едва заметно золотился ободок циферблата.

Шульц сказал:

«Я бы не советовал упрячиться. Поймите, мы обращаемся к вам как к частному лицу. Я подчеркиваю: как к частному лицу».

Король молчал. Странное дело, но на минуту — не больше — почувствовалось вдруг, что их что-то объединяет. Казалось, помолчи он так еще немного — и гость начнет умолять его сжалиться над ним. Их объединял общий страх.

Г-н Шульц выдержал паузу, затем поднялся и произнес — торжественно, выделяя каждое слово:

«Благодарю вас, ваше величество. От имени имперского правительства, руководства нашей партии и от имени всего германского народа — примите мою сердечную признательность».

14

Свидание состоялось во второй половине апреля (по некоторым данным, в последних числах). Автор не считает себя вправе умолчать о нем, тем более что в западной историографии этот факт не получил освещения. Достаточно сказать, что не только в широко известной книге И. Феста, но даже в шеститомном «Жизнеописании Адольфа Гитлера» профессора Карла фон Рубинштейна о нем нет никаких упоминаний. Вряд ли архивные изыскания последних лет приведут к открытию документов, проливающих свет на эту историю. Можно предполагать, что таких документов не существует.

Таким образом, учитывая скудость информации,

* Извините

наше сообщение приобретает определенный научный интерес.

Мы уже имели случай сослаться на записки ее величества королевы. Пожалуй, это единственный заслуживающий внимания источник, в котором имеется упоминание о поездке Седрика на уединенную загородную виллу. Будучи крайне лаконичным, оно отягощено домыслами в духе скандинавского мистицизма (Амалия пишет о свидании с «Князем Тьмы») и как будто имеет целью намекнуть на особый таинственный смысл этой встречи, якобы предрешившей дальнейшие события. Естественно, мы не можем вдаваться в обсуждение подобных вопросов. Представляется вполне очевидным, что встреча была лишена какого бы то ни было политического значения; читателю будет нетрудно убедиться в этом. Речь идет о любопытном и малоизвестном эпизоде, но не более.

Точно так же следует опровергнуть слухи, одно время распространившиеся, будто король, воспользовавшись этим рандеву, просил не применять к его стране некоторых санкций репрессивного характера, в частности возражал против проведения так называемой акции «Пророк Самуил», разработанной Четвертым управлением Главного имперского управления безопасности по крайней мере на полгода позже. Здесь очевидным образом сказывается влияние той самой ретроспекции, на которую мы указали, когда описывали пасхальный сон Седрика. К тому же приватный характер встречи исключал возможность обсуждения государственных вопросов. Фактически там не была затронута ни одна проблема за пределами специальной цели, которую преследовала встреча. Стороны вели себя так, как если бы они вообще не имели никакого касательства к государственным делам.

Более того: стороны делали вид, будто они и представления не имеют, кто они такие на самом деле. Если позволено будет воспользоваться рискованным сравнением, они вели себя подобно тайным любовникам, которые ночью сочетались в мучительной страсти, а на другой день, не подавая виду, спокойно и отчужденно беседуют о делах. Обе стороны точно сговорились не замечать глухой таинственности, которою было окружено их свидание; и то, что вся местность на сто километров вокруг была прочесана патрулями, пронюхана собаками, просмотрена с самолетов, что специальные войска были приведены в боевую готовность на тот случай — абсо-

лютно невозможный, — если бы кто-нибудь вздумал нарушить их уединение, — все это и многое другое точно не имело к ним никакого отношения: они как бы и не подозревали об этих чрезвычайных мерах. Словом, это была встреча больного с врачом — и только.

Газеты поместили краткое сообщение о том, что король покинул на несколько дней столицу для непродолжительного отдыха на лоне природы. Так оно, в сущности, и было. Вилла «Амалия» — крохотный островерхий домик, расположенный в прелестном уголке в тридцати километрах от границы. Вокруг — холмы, поросшие буком. Это — самое сердце малонаселенного лесного края, раскинувшегося к северу от линии Бременер Окс — Люнебург — Фрауэнау.

Седрик приехал на виллу в закрытом автомобиле в сопровождении неизвестных лиц, именуемых «представителями»; один из этих людей сидел с шофером, двое других — по обе стороны от профессора, одетого в скромное дорожное платье.

Пациент прибыл неизвестно каким способом и неизвестно откуда.

Пациент вошел в небольшую гостиную, переоборудованную под смотровой кабинет, — письменный стол, ширма, кушетка, столик для инструментов. Посередине стояло высокое, сверкающее никелированными подколениками кресло.

Снедаемый любопытством (совершенно неуместным), Седрик не спускал глаз с двери — пациент медлил, но когда он наконец появился, то, как и следовало ожидать, совершенно разочаровал профессора; мы сказали: «следовало ожидать», ибо едва ли нужно объяснять читателю, что тот, кто вошел в кабинет, был лишь телом, далеким от совершенства, как все земное, тогда как великий демон, обитавший в нем, демон могущества и всеведения, обретался где-то очень далеко, на недосыгаемых вершинах. И лишь время от времени это тело, облаченное в мундир, должно было позировать перед миром, дабы мир знал, что демон, владычествующий над ним, — не призрак.

Воздержимся от описания внешности этого человека, предполагая ее хорошо известной; тем более, что это был тот случай, когда, перефразируя древнее изречение, можно было сказать, что важен не сам предмет — в данном случае человек, — а впечатление, которое он оставляет. Вошедший производил впечатление самозванца.

Причем самозванца накануне своего разоблачения. Дело не в том, что лицо его с крупным угреватым носом, воспроизводившим очертания дамской туфли, и с небольшими, крашеными, как бы растущими из ноздрей усами — знаменитыми усами, вошедшими в историю подобно габсбургской губе, — показалось Седрику одновременно и незнакомым, и знакомым, и, пожалуй, даже более располагающим в своей обыденной заурядности; в памяти Седрика как бы сама собой ожила старая и давно развенчанная легенда, будто прославленный диктатор есть не что иное, как круг заместителей, по очереди выступающих под его именем, — так сказать, род коллективного псевдонима.

Не то чтобы в нем сквозило что-то наигранное. Распространенное мнение об «актере», о фокуснике-иллюзионисте, по крайней мере здесь, на уединенной вилле, никак себя не оправдало. Речь идет о другом: о том, что невозможно было отделаться от впечатления, будто перед нами двойник или заместитель. Ничто в его облике не отвечало представлению о демоническом властелине, о гении зла.

Если уж попытаться позитивно охарактеризовать наружность пациента, какую она представилась восседавшему у окна Седрику, то это был директор треста, человек бывалый, выходец из народа, не из тех, кто кончал университеты, а из тех, кто своим горбом пробил себе дорогу в жизни, из каких-нибудь счетоводов-письмоводителей; человек-практик, знающий жизнь и, должно быть, немало встревоженный неожиданным вызовом к высшему начальству по какому-то щекотливому делу. То, что у этого человека должно было существовать начальство, и притом очень строгое, не вызывало сомнений.

Человек этот был прекрасно одет и спрыснут духами, чуть заметно лысел и слегка тряс щеками — словом, лишь самую малость был тронут старостью; губы его с какой-то скорбной предупредительностью были сложены почти вровень с каштановыми усиками, о которых мы уже упоминали. Под мышкой вошедший держал папку — как бы с бумагами для доклада (в действительности это были рентгеновские снимки и анализы). Закрыв дверь, пациент — каблуки вместе, под рукой папка — поклонился сдержанно-подобострастным поклоном.

При этом он не мог удержаться, чтобы не метнуть молниеносный взгляд вправо и влево. Он даже успел ско-

свить взор под стол, на ноги Седрика. Быстро оглядел окно, застекленное пуленепробиваемым и размывающим предметами стеклом.

Профессор пригласил пациента к столу.

Оба как-то легко и без насилия освоились со своими ролями. Пациент приблизился, слегка виляя задом и всем своим видом демонстрируя почтительный трепет, — это было почтение профана к медицинской знаменитости и дань уважения одного делового человека другому. Опасливо сел, уложил папку на колени. Робко приосанился. Седрик, величественный, как судья, сурово воззрился на него из-под косматых бровей.

Седрик принял папку с анализами. Пронзительно поглядывая на пациента, он предупредил, что в интересах дела ему придется задать, э-э, несколько специальных вопросов, относящихся, так сказать, к интимной стороне жизни. Больной кивал с серьезным и понимающим видом: дело есть дело. И вкрадчивым голосом, с подобающей скорбью, почтительно наклонив плоскую, блестящую и лысеющую голову, поведал он о своем недуге.

Он старался не упустить ни одной подробности, был многословен, даже красноречив. В этой добросовестности пациента было что-то угодливое, точно он доносил на себя.

По его мнению, причина болезни заключалась в бремени дел, которое он самоотверженно возложил на себя. Поистине мы живем в трудное время; себе не принадлежишь. Так и случилось то, что служебные обязанности, поглотив все его силы, лишили его личной жизни не только в переносном, но и в буквальном смысле: лишили счастья быть мужчиной. Вот уже много лет он знает лишь уродливую форму наслаждения; но женщины по-прежнему привлекают его, как это и должно быть в его возрасте: ведь он еще молод. Увы, он не в силах ответить на их страсть!

Он знает, что пользуется успехом. Неизвестные девушки пишут ему о своей любви; он получает множество писем из-за границы. Секретарь ежедневно извлекает из его корреспонденции десятки фотографических карточек. Некоторые совсем недурны... И что же?

Важно кивнув, доктор остановил этот поток признаний внушительным и умиротворяющим жестом. Просмотрел архив пациента. Ни в одном из документов страдалец не был назван своим настоящим именем. Впрочем, кому было известно его настоящее имя? История

болезни демонстрировала все последние достижения медицинской науки. Это был какой-то нескончаемый каталог всевозможных исследований, диагностических и лечебных процедур, и Седрик подивился терпению пациента и его неистощимой вере в могущество врачебной науки. Были мобилизованы лучшие силы. Фирма ИГ Фарбениндустри синтезировала новейший, сугубо секретный гормональный препарат. Предпринимались героические меры реанимации — вплоть до особой, весьма изобретательной психотерапии посредством кинофильмов. По-видимому, были приглашены особо искусные партнерши.

Отчаявшись получить исцеление от врачей, больной прибег к услугам специалистов оккультного профиля: так, его пользовал маг Тобрука Ишхак 2-й, знаменитый гипноспирит, весьма сведущий в области нервно-половых расстройств. После его консультации директор несколько ободрился, но первое же свидание с прелестной огненноволосой Марикой Рокк повергло его вновь в пучину разочарования.

Седрик встал. Тотчас поднялся и пациент, стал навывтяжку, ожидая приказаний. Глаза его выражали бесконечную преданность.

Величественно-гостеприимным жестом профессор указал на ширму.

Анализируя последующие впечатления Седрика, нужно прежде всего сказать, что он постарался отрешиться от каких бы то ни было «впечатлений». С момента, когда он задал первый вопрос больному, весь комплекс профессиональных рефлексов направил его внимание на сущность болезни, и лишь путем, так сказать, вторичной рефлексии ум Седрика возвратился к пониманию совокупной личности пациента. Так в течение десяти минут абстрактный человеческий орган, именуемый *locus minoris resistentiae*, превратился вновь в персону директора треста. Но теперь многое из того, что могло озадачить или даже изумить стороннего наблюдателя, по зрелом размышлении выглядело не столь уж неожиданным.

Выражаясь яснее — начиная с известного момента Седрик ничему уже не удивлялся.

Не удивила его и татуировка. Директор предстал в нежно-голубой нижней сорочке и шелковых носках; и когда по знаку врача, пожелавшего произвести общий осмотр, он покорно и целомудренно приподнял сорочку,

обнажилась несколько избыточная грудь и на ней — длинный кинжал с изогнутой рукояткой и надпись «Смерть жидам», — разумеется, на родном языке владельца. Надпись подтверждала версию о демократическом происхождении директора. На левой руке, ниже локтя, были изображены гроб и пронзенное сердце и начертан второй девиз: «Es gibt kein Glück im Leben» («Нет счастья в жизни»).

Слегка смутившись, пациент пробормотал что-то насчет заблуждений юности... В эту минуту осмотр был неожиданно прерван. Ни с того ни с сего пациент попятился; глаза его расширились. Руки судорожно вцепились в детородные части. «Ни с места, — зашептал он. — Ни с места!» Седрик, с трубками фонендоскопа в ушах, обернулся. С большим трудом ему удалось успокоить больного, но так и осталось непонятным, что он там увидел под столом.

Как и подобает человеку зрелых лет, недостаточно тренированному и к тому же больному, он протянул дрожащую руку профессору, и тот помог ему вскарабкаться на высокое кресло. Отсутствие ассистентки несколько удлинило исследование.

Когда оно было закончено, Седрик дал время пациенту привести себя за ширмой в порядок, еще раз задумчиво перелистал бумаги, просмотрел на негатоскопе рентгеновские пленки. И наконец воззрился на пациента тусклым, старчески-невывразительным взглядом. И в этом взгляде пациент прочитал свой приговор.

По-видимому, впервые в своей многолетней практике Седрик изменил врачебному долгу, повелевающему ни при каких обстоятельствах не лишать больного надежды. Само собой разумеется, что, не будучи специалистом, автор лишен возможности дать компетентную оценку заключению Седрика о характере заболевания директора треста, однако не директор является героем этих страниц. Характеристика же Седрика несколько не пострадает от того, что мы опустим заключительные подробности этой замечательной консультации. Прикрыв глаза рукой, Седрик сказал, что болезнь неизлечима. Он даже позволил себе заметить, что в некотором смысле она может быть истолкована как Божий перст. Перспектива могла бы быть несколько более утешительной, если бы пациент согласился сложить с себя, э-э, свои обязанности. Так сказать, удалиться на покой. Однако и в этом случае рассчитывать на исцеление трудно.

«...Этот народ, который загрызла волчица, расплющенный под пятой легионов, народ, на глазах у которого рухнул и превратился в пыль его храм, этот трижды обреченный, отвергнутый собственным Богом народ пережил и единственное в своем роде крушение духа, после которого он, подобно восставшему от болезни, навсегда понес в себе семя тлена, заразу разложения, ибо, как сказал германский поэт, проклятие зла само порождает зло».

Раскрывая утренние газеты, обыватели без труда узнавали в этой статье, перепечатанной из философского еженедельника «Дер баннертрегер», полный экспрессии стиль выдающегося мыслителя рейха Ульриха Лоэ, человека, прозванного «совестью века», ныне генерала СС и заместителя начальника Управления теоретических изысканий при Главном Управлении безопасности.

«К этому крушению, — продолжал Ульрих Лоэ, — народ этот был подготовлен десятью веками своей истории; его летопись и символ веры, в котором устами Всевышнего он провозглашает себя избранным народом, — пресловутое Священное Писание — рисует его таким, каков он на самом деле: избранным народом преступников, ибо это летопись нескончаемой цепи убийств, подлогов и кровосмешений.

Однако даже противоположное толкование Библии в равной мере уличает этот народ, так как если он записал в свою книгу (как уверяют его адвокаты) заповеди добра, то сам же первый их и нарушил: проклятие зла, тяготящее над ним, состоит, между прочим, в том, что против него, против этого народа, одинаково свидетельствуют как исторические улики, так и то, что служит их опровержением. Докажут их или докажут противоположное — он все равно будет достоин кары.

Так, он виновен в том, что совершил преступление против человечества, истребив своего мессию Христа, и вместе с тем виноват в том, что создал и распространил христианство. Этот народ одинаково виноват и с точки зрения верующих, и с точки зрения атеистов. Запятнанный кровью богочеловека, он несет ответственность и за то, что породил его, и за то, что его никогда не существовало, если окажется, что этого богочеловека не существовало. В конечном счете проклятие зла состоит в том,

что этот народ виноват уже самим фактом своего существования.

Потерпев крах, он рассеялся среди других племен, чтобы бросать повсюду семена разложения и упадка, и мог бы неслыханно преуспеть в этом деле, если бы нордические народы своевременно не разгадали его. Они поняли, с кем они имеют дело в лице этих хитрых, изворотливых, даровитых, необычайно живучих, потентных в сексуальном отношении, но физически слабых пришельцев с дегенеративной формой лба, бегающими глазами, длинным и крючковатым носом, склонных к шизофрении, диабету, болезням ног и сифилису. Юные нации Европы приняли свои меры, и менее чем за двести лет, с начала XIV века по 1497 год, этот народ был изгнан из Германии, Франции, Испании и Португалии.

Тогда второй раз в истории открылась возможность покончить с ним навсегда. Нации не воспользовались этой возможностью. И очень скоро евреи, со свойственной им изворотливостью, наверстали упущенное. С необычайной энергией они взялись за дело, вредя всюду, где только можно, провозглашая буржуазный прогресс, ратуя за демократию и незаметно опутывая весь мир властью денег. Они захватили в свои руки торговлю и кредит, с рассчитанным коварством утвердились в медицине, монополизировали ремесла и втерлись в доверие к государям, подавая им губительные советы. Не кто иной, как еврейские плутократы были виновниками всех несчастий, поразивших Европу, да и не только Европу, на протяжении последних столетий. А во тьме своих синагог они тайно торжествовали победу и с мстительной радостью причащались опресноками, замешенными, как это неопровержимо доказано еще в XII веке, на крови невинных детей.

К числу наиболее зловредных последствий буржуазно-либерального прогресса следует отнести равноправие евреев, провозглашенное сначала в Америке, а затем во Франции в результате Французской буржуазной революции, инспирированной самими евреями. Следствием этого было глубокое *проевреивание* населения в упомянутых странах. Постепенно по всей Европе они захватили гражданские права, так что к началу нашего века лишь две нации оставались на позициях здорового инстинкта самозащиты — Россия и менее безупречная в других отношениях Румыния...

Все это привело к тому, что внешне евреи зачастую

перестали отличаться от неевреев. Умение принимать облик обыкновенных людей нужно считать особо опасным свойством иудейской мимикрии. Но *субстанция* еврейства *не изменилась.* Она не исчезла и не растворилась. В полной мере она сохранила свою гибельную силу, о чем предостерегает пример большевистской лжереволюции, все главные деятели которой, как известно, были евреи.

Ныне перед народами вновь открывается возможность решить историческую задачу ликвидации иудейского ига. Задача эта всесторонне обоснована достижениями эрббиологической науки. Путь к ее осуществлению указывает народам Великая Февральская национал-социалистическая революция. Совесть революционеров всех стран, все прогрессивное человечество больше не могут мириться с засильем еврейского плутократического капитала, с международным сионистским заговором. *Пролетариат всех стран, объединяйся в борьбе с еврейством.* Народы требуют покончить с заклятым врагом человечества — международным сионизмом. Народы требуют покончить с угнетением. Самуил, убирайся прочь! — твердо говорят они. — Ревекка, собирай чемоданы!»

16

О том, что власти собираются осуществить мероприятие под кодовым названием, уже упомянутым нами в одном из предыдущих разделов, король узнал не по официальным каналам. Он услышал о нем в клинике, в ту минуту, когда, облаченный в белую миткалевую рубаху и бумазейные штаны, в клеенчатом фартуке, шапочке и полумаске, он стоял над дымящимся тазом, осторожно опуская в воду, пахнущую нашатырем, свои тонкие и длинные руки.

Привычными движениями он растирал комком марли в воде свои пальцы — с таким усердием, как будто хотел стереть с них самую кожу, — и в это время до него донеслись две-три фразы. Он не терпел посторонних разговоров в операционной и тотчас потребовал, чтобы ему объяснили, в чем дело.

Оказалось, управление имперского комиссара расклеило в городе приказ о регистрации некоторой категории гражданских лиц, с каковой целью этим лицам предписы-

валось явиться в местную комендатуру и в дальнейшем носить нагрудный опознавательный знак.

Мера эта не должна была никого удивить, да и не скрывала в себе никакой тайны относительно дальнейших мероприятий в этом направлении, ибо на всех территориях, контролируемых рейхом, уже начато было проведение программы, имевшей целью радикально оградить европейские нации от соприкосновения с чуждым и пагубным элементом.

Седрик промолчал, дав понять, что здесь не место обсуждать подобные темы. Да и вообще они не заслуживали обсуждения. Впрочем, среди персонала клиники евреев не было. Он выпрямился, морщась от боли в пояснице, вдумчиво осушил складки кожи между пальцами стерильной марлей. Мякоть пальцев собралась в складочки, как у прачки. Вытирание рук представляло собой сложный ритуал: вначале кончики пальцев, основания ногтей, суставы, ладонь, которую он держал на отлете, как женщина держит зеркало; затем тыльные стороны кистей, наконец, опасливо свернув комок марли, — запястья. Последний взмах от косточки к локтю — марля летит в эмалированное ведро. Шурша передником, полукрыв старческие глаза, король прошествовал к стеклянным дверям. Свои руки он нес перед собой, словно некий дар. Двери распахнулись. Больная спала, над ней сверкала круглая лучезарная лампа.

Наркотизатор ждал у изголовья. Другой доктор, ответственный за переливание крови, стоял, утвердив, как алебарду, блестящую стойку с ампулой. За своим лотком стояла операционная сестра, закутанная в марлю. Приготовления к операции наводили на мысль о богослужении. Седрик любил эту торжественность.

Иностранец-стажер усердно помахивал палочкой — обрабатывал йодом операционное поле. А напротив всей этой группы, за спиной стажера, вся верхняя часть стены была вырезана и заменена толстым стеклом, и там видны были тесно придавленные друг к другу неподвижные лица студентов.

Последовала церемония надевания стерильного халата: две сестры суетились вокруг него. Одна завязывала на спине тесемки, другая подала перчатки — король нырнул сначала в правую, потом в левую, сложив щепотью персты. Ему подали щипцами шарик, плеснули спирт; подтянули и перебинтовали у запястий перчатки. Ему заботливо поправили шапочку. Оглядели его напоследок —

точно ища последние пылинки. И Седрик подошел к столу.

Седрик ни о чем больше не думал. Он не думал о бездне абсурда, в которой эта белая операционная, — где он вполне принадлежал самому себе, где ему по праву принадлежало первое место, — казалась ему единственным островком разума и покоя. Он повернулся к сестрам, они сняли простыню и придали спящей женщине нужное положение на столе. Иностранец узкими раскосыми глазами над маской смотрел на Седрика. В его жизни это был великий момент. Иностранец был мал ростом, и ему подвинули скамеечку. Затем с его помощью Седрик набросил стерильную простыню на прекрасное обнаженное тело. В ней было вырезано четырехугольное окно.

Сестра, покрытая марлевой фатой, подъехала со своим лотком.

Седрик стоял над столом, неправдоподобно высокий, халат доходил ему до бедер; склонив сухую голову с большим хрящеватым носом, торчавшим над маской, как клюв, он всматривался в оливковый от йода квадрат кожи в операционном окне. Больная глубоко и мерно дышала; это было видно по движениям груди под простыней. Пальцы короля как бы струились по ее коже: он отыскивал ориентиры. Ассистент, с тупфером и раскрытым наготове кровоостанавливающим зажимом, навис над его руками. Сказав что-то ассистенту по-французски, Седрик взял скальпель и не спеша провел длинную дугообразную линию от паха к пояснице. Этот разрез, известный под названием разреза Израиля, удачно открывал доступ к почке, но в других обстоятельствах никому не пришлось бы в голову увидеть в этом названии некое предзнаменование.

17

Приступая к заключительному эпизоду этой краткой хроники последних лет жизни короля Седрика X, эпизоду, достаточно известному, почему он и будет изложен максимально сжато, без каких-либо экскурсов в психологию, — мы хотели бы предпослать ему несколько общих замечаний касательно малоисследованного вопроса о целесообразности человеческих поступков. Мы решаемся задержать внимание читателя на этой абстрактной теме главным образом потому, что хотим

предостеречь его от распространенной интерпретации упомянутого эпизода, согласно которой король отважился на этот шаг или, как тогда говорили, «отколол номер» в результате обдуманного решения, так сказать, взвесив все pro и contra, и чуть ли не рассчитал наперед все общественно-политические последствия своего поступка — кстати сказать, сильно преувеличенные. Слишком многие в то время видели в короле своего рода оплот здравого смысла, слишком многим он казался образцом разумного конформизма, человеком, который в чрезвычайно сложных обстоятельствах сумел найти правильную линию поведения, избежать крайностей и спасти от катастрофы свой беззащитный народ, сохранив при этом свое доброе имя. И когда этот умудренный жизнью муж совершил поступок явно нелепый, почти хулиганский и имевший следствием неслыханное нарушение общественного порядка в столице — поступок, в конечном счете стоивший ему жизни, — многие тем не менее склонны были за бросающейся в глаза экстравагантностью видеть все тот же расчет. Казалось, Седрик преследовал определенную цель, действовал по заранее разработанному плану. Ничего подобного. На основании анализа всего имеющегося в его распоряжении материала автор заявляет, что шаг короля был именно таким, каким он представлялся всякому непредубежденному наблюдателю, — нелепым, бессмысленным, не обоснованным никакими разумными соображениями, не имеющим никакой определенной цели, кроме стремления бросить вызов всему окружающему или (как выразился герой одного литературного романа) «заявить своеволие».

Где уж там было рассчитывать общественные последствия своей выходки! На короля нашел какой-то стих. Хотя, надо сказать, внешне это никак не проявлялось. (См. ниже описание утренних приготовлений, совершившихся с обычной для нашего героя унылой методичностью, словно он собирался на прием к зубному врачу.)

Впрочем, воспоминания королевы да и другие источники указывают на некоторые отклонения от привычного стандарта, имевшие место накануне обсуждаемого события: так, например, было отмечено, что король вернулся из клиники в необычно приподнятом настроении. Это настроение сохранялось у него весь вечер. Вместо вещей Генделя и Букстехуде исполнялись фрагменты из оперетки Оффенбаха — кстати, строжайше запрещен-

ного к исполнению на территории рейха и подопечных стран — «Великая герцогиня Герольштейнская» и даже просто вульгарные песенки, которые его величество напевал хриплым фальцетом. По некоторым данным, он склонял свою невестку — ту самую особу немецкого происхождения, не скрывавшую своей влюбленности в фюрера, — протанцевать кадрили. Ночью Седрик пил в больших количествах щелочную минеральную воду.

В этой связи представляют интерес наблюдения королевы о наследственной черте, периодически проявлявшейся у различных представителей династии, черте, которую она определяет как «любовь к безумию». Именно эта любовь (*predilection*) объясняет, по мнению мемуаристки, необъяснимое поведение двадцатитрехлетнего командира гвардии, приходившегося внучатым племянником королю, в первый день оккупации; следствием этого поведения была, как помнит читатель, бессмысленная гибель гвардейского эскадрона вместе с его командиром. Она же позволяет понять поступок кронпринца Седрика-Эдварда, старшего сына короля, покинувшего страну якобы для лечения, а на самом деле для того, чтобы вступить в английские военно-воздушные силы. И уже совершенно излишне говорить, насколько эта черта была свойственна пресловутому «северному кузену» Седрика, не однажды упомянутому на этих страницах.

Сугубо схематически поведение человека в ответственные моменты его жизни можно представить как следование одному из трех заветов, из которых наиболее почтенным с философской точки зрения надо признать завет недеяния, возвещенный тысячу лет назад мудростью даосизма. Однако реально мыслящему человеку, вынужденному считаться с эмпирической действительностью, более импонирует завет разумного и целесообразного действия — того действия, которое основано на трезвом учете объективных обстоятельств и, более того, априори как бы запрограммировано ими. Априори известно, что плетью обуха не перешибешь. Тезис, который находит себе значительно более изящную формулировку в положении о свободе как осознанной необходимости.

Третий завет есть завет абсурдного деяния.

Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго

говоря, оно означает, что тот, кто решился действовать так, сам стал живой истиной. Человек, принявший бессмысленное решение, тем самым ставит себя на место Бога. Ибо только Богу приличествует игнорировать действительность.

(Можно предполагать, что именно это соображение было источником явного неодобрения, с которым встретили эскападу Седрика и все, что за ней последовало, конфессиональные круги.)

Самым решительным опровержением доктрины бессмысленного деяния (если это вообще можно назвать доктриной) служит то, что оно не приводит ни к каким позитивным результатам. Опять же всем и каждому ясно, что плетью обуха не перешибешь. И дело обычно кончается тем, что от плетки остается одна деревяшка. Смерть Седрика не повлияла на исход войны, этот исход решили другие факторы — исторические закономерности эволюции рейха, реальная мощь противостоящих ему сил. Акт (или «номер»), содеянный монархом, не облегчил даже участи тех, в чью защиту он выступил, вопреки легенде о том, что-де под шумок удалось кое-кого переправить за границу, спрятать оставшихся и т. п.; это как раз и доказывает, что акт был совершен по наитию, без всякого плана. Подвиг Седрика, этого новоявленного Дон Кихота, был бесплоден. И если можно говорить о его реальных последствиях, то разве лишь о том, что король заразил на какое-то время своим безумием более или менее ограниченное число обывателей. После этих замечаний читателю станет понятным то очевидное пренебрежение, с которым биографы короля описывают этот нелепо-романтический жест, завершивший долгую и в целом не лишнюю привлекательных сторон жизнь Седрика Десятого.

18

Утро следующего дня, мягкое и пасмурное, не было ознаменовано никакими событиями, если не считать того, что тотчас после обычных занятий в кабинете король распорядился принести ему *эту вещь*. Он потребовал даже два экземпляра сразу. Секретарь слышал этот приказ и ломал голову над тем, что бы это могло значить. Затем, на половине королевы (Амалия с ужасом следила за этими приготовлениями), Седрик отослал

камеристку, попросив оставить все необходимое на столике перед зеркалом. В конце концов он был хирург и старый солдат и вполне мог управиться с нитками сам. Однако он придавал значение тому, чтобы это сделала Амалия. Нужно было поторопиться, ибо близился Час короля, а Седрик не мог позволить себе опоздать хотя бы на минуту.

Он успел переодеться — как всегда, на нем был зелено-голубой мундир лейб-гвардейского эскадрона, шефом которого он считался; Рыцарскую звезду, однако, пришлось снять, так как инструкция предписывала ношение гексаграммы на той же стороне, то есть слева. И теперь он стоял, терпеливо вытянув руки по швам и задрав подбородок, пока Амалия, едва достававшая ему до плеча последнею волной своего пышного желто-седого шиньона, возилась с иглой и откусывала зубами нитку, словно какая-нибудь жена почтаря, пришивающая мужу пуговицу перед тем, как отправить его на работу. Но оба они, в конце концов, походили на пожилую провинциальную чету и ни на кого более. По его указанию она пришила и себе. Произошло некоторое замешательство, почти смятение немолодой дамы, вынужденной совлечь с себя платье в присутствии мужчины. Закатился под стол наперсток. Словом, на все ушла уйма времени.

А затем некий молотобоец начал на башне бить медной кувалдой в медную доску. Двенадцать ударов. И что-то перевернулось в старом механизме, и куранты принялись торжественно и гнусаво вызванивать гимн. Часовой в костюме, воскрешающем времена д'Артаньяна, почтительно отворил ворота. По аллее шел Седрик, длинный как жердь, ведя под руку торопливо семенящую Амалию. Происходило неслыханное нарушение традиций, ибо конь рыцаря тщетно гневался, бия копытом в прохладном сумраке своего стойла. Король отправился в путь пешком.

Прохожие остолбенело взирали на это явление, впервые видя короля не в седле и об руку с супругой, но главным образом были скандализированы неожиданной и ни с чем не сообразной подробностью, украшавшей костюмы шествующей августейшей четы. Перед тем как свернуть на бульвар, навстречу идущим попался низкорослый подслеповатый человек, он брел, клейменный тем же знаком. На него старались не обращать внимания, как не принято смотреть на калеку или на уроду с обезображенным лицом; зато с тем большей неотвратимостью, точно

загипнотизированные, взоры всех приковывались к большой желтой шестиугольной звезде на груди у Седрика Х и маленькой звезде на выходном платье королевы.

Эта звезда казалась сумасшедшим видением, фантастическим символом зла; невозможно было поверить в ее реальность, и непонятен был в первую минуту ее смысл. Иные решили, что старый король рехнулся. Приказ имперского комиссара чернел на тумбах театральных афиш и на углах домов.

Закрывать глаза. Немедленно отвернуться. А эти двое все шли...

Родители уводили детей.

Нет сомнения, что в эту минуту в канцелярии ортскомиссара уже дребезжал тревожный телефон. Оттуда неслыханное известие понеслось по проводам дальше и выше, в мистические недра власти. Было непонятно, как надлежит реагировать на случившееся.

В это время выглянуло солнце, слабый луч его просочился сквозь серую вату облаков, заблестели мокрые сучья лип на бульваре. Ярко заблестела мостовая... Быть может, читатель замечал, как иногда атмосферические явления неожиданно решают трудные психологические проблемы. Вдруг все стало просто и весело, как вид этих двух стариков. Король все чаще приподнимал каскетку, отвечая кому-то; Амалия кивала тусклым колоколом волос, улыбалась засушенной улыбкой. Король искал глазами библиотекаря. Библиотекаря нигде не было.

Король со стариковской галантностью коснулся пальцами козырька в ответ на поклон дамы, которая быстро шла, держа за руку ребенка. У обоих на груди желтели звезды, это можно было считать редким совпадением: согласно церковной статистике в городе проживало не более полутора тысяч лиц, имеющих право на этот знак.

Далее он заметил, что число прохожих с шестиугольником становилось как будто больше. Седрик покосился на Амалию, семенившую рядом, — на каждый шаг его приходилось три шажка ее величества. Амалия поджала губы, ее лицо приняло необыкновенно чопорное выражение. Похоже было, что эти полторы тысячи точно сговорились выйти встречать их; эти отверженные, отлученные от человечества вылезли на свет Божий из своих нор, вместе с ними они маршировали по городу, разгуливали по улицам без всякой цели, просто для того, чтобы показать, что они все еще живут на свете! Однако их

было как-то уж слишком много. Их становилось все больше. Какие-то люди выходили из подъездов с желтыми лоскутками, наспех приколотыми к пиджакам, дети выбегали из подворотен с уродливыми подобиями звезд, вырезанных из картона, некоторые нацепили раскрашенные куски газеты. На Санкт-Андреас маргт, напротив бульвара, стоял полицейский регулировщик, держа в вытянутой руке полосатый жезл. Полисмен отдал честь королю, на его темно-синем мундире ярко выделялась канареечная звезда. И он был из этих полутора тысяч! Итак, статистика была посрамлена, либо приходилось допустить, что его подданные приписали себя сразу к двум национальностям, а это, собственно, и не означало ничего другого, как только то, что статистика потерпела крах.

Королева устала от долгого пути, король был тоже утомлен, главным образом необходимостью сдерживать чувства, характеризовать которые было бы затруднительно; во всяком случае, он давно не испытывал ничего похожего. Ибо это был счастливый день, счастливый конец, каковым мы и завершим нашу повесть о короле. По дороге домой Седрик воздержался от обсуждения всего увиденного, полагая, что комментарии по этому поводу преждевременны или, напротив, запоздали. Он обратил внимание Амалии лишь на то, что липы рано облетели в этом году. Они благополучно пересекли мост, ведущий на Остров, и обогнули дворцовую площадь. Мушкетер, опоясанный шпагой, с желтой звездой на груди, распахнул перед ними кованые ворота.

АНТИВРЕМЯ

МОСКОВСКИЙ РОМАН

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Нижеследующая повесть может показаться попыткой изобразить жизнь соотечественников в такую-то эпоху, «романом воспитания» или исповедью горячего сердца в анекдотах, но на самом деле она ничего подобного не представляет. Для исторической картины, как и для истории души, здесь слишком мало материала, и герои мои, в сущности, находятся вне общества.

Это не значит, что все фигуры и обстоятельства выиссаны из пальца (хотя таковых большинство). Кое-что представляет собой плагиат у действительности — главным образом сценические площадки. Данное сочинение скорее притворяется историческим повествованием или автобиографией, между тем как истинные намерения сочинителя были совсем другие. Но ответить, какие же это были намерения, очень трудно — если нужно вообще отвечать.

Есть несколько тем, обладающих ни с чем не сравнимой привлекательностью. Это любовь, память и время. Любовь в наш замечательный век изменилась — я говорю, разумеется, о литературе, а не о жизни. Перемена состоит не просто в том, что раньше романист провожал любовников до дверей спальни и откланивался, а теперь норовит улечься с ними в постель. Но в том, что натурализм почувствовал, что он надоел самому себе, и соединился с особого рода умозрительностью; в результате земная любовь превратилась в универсальный символ. Можно дать эротическое истолкование всему на свете, но это был лишь первый шаг. Теперь эротика сама становится вместилищем всех смыслов — всеобъемлющим шифром. Если стоит о чем-нибудь писать, то лишь о любви.

И есть особое пространство, в котором разыгрывается действие любви: назовем его памятью. Можно

представить себе теологическую систему, где роль акта творения будет играть воспоминание. Классическая теология утверждает, что бытие Бога вне времени. Но тогда мир оказался бы вне Бога. Скорее нужно предположить, что область существования Бога — это будущее. Оттуда он творит мир, вспоминая о мире, который есть его прошлое. Другими словами, Бог всегда неактуален, всегда впереди: для нас он только будет. Можно сказать, что мы живем в его памяти, что он непрерывно извлекает нас из своего подсознания. Что-то похожее происходит с литературным творчеством.

Два вектора времени пересекают пространство памяти, словно два поезда, идущих навстречу друг другу. Осознав это, начинаешь понимать, что Случай и План — одно и то же, но видимое с двух разных концов. То, что в физическом времени представляется игрой случайностей, в божественном времени воспоминаний предстает как порядок и цель. Сны памяти — суверенная область литературы, потому что в литературе, как в сновидении, ничто не случайно, жизнь полна тайного смысла и несется навстречу своему завершению, как Галактика навстречу туманности М 31.

Эта повесть заключает в себе двойное воспоминание — о самой себе. Она была почти закончена, когда гости из высокого учреждения, посетив автора, взяли ее почитать — разумеется, без возврата. Это было так же просто, как смести сапогом муравейник. Спустя некоторое время я воздвиг новую муравьиную кучу и вот теперь сижу, куда же мне деться, и жду другого визита. Положение мое смешно, я понимаю, что без этой второй попытки вполне можно было обойтись, — как, впрочем, и без этого предисловия. Но, как сказано в «Братьях Карамазовых», «так как оно уже написано, то пусть и остается».

Б. Х.

16 мая 1982, Москва

У ворот Рима сидит прокаженный
нищий и ждет.
Это Мессия.
— Чего он ждет? Кого?
— Тебя.

ГЛАВА 1

Несколько времени назад в моей жизни произошло одно событие. Не помню, чем я занимался в тот день. Помню только, что очень не хотелось на ночь глядя тащиться Бог знает куда. Телефонный звонок раздался в третьем часу. В пять я ехал по Рублевскому шоссе.

Что представляет собой эта дорога, объяснять не надо. Все московские окраины одинаковы. Сидя сзади на продавленном сиденье, я провожал глазами однообразные прямоугольники новых домов. Можно было предположить, что случившееся возбудит во мне бурю чувств и оживит толпу воспоминаний. Ничуть не бывало. Я смотрел вперед — и только. У меня было ощущение, что думать и вспоминать я буду потом.

Тут произошел один эпизод: перед самой развилкой шофер затормозил и вышел из кабины. Вылез и я. Перегородив дорогу, стоял самосвал. Рядом «Скорая помощь» и проч. Благодаря моему высокому росту я без труда мог видеть из-за спин и голов, как из машины, помятой и украшенной лентами и воздушными шарами, извлекали белое платье и нейлоновую фату. Фата цеплялась за остатки искореженной дверцы. Жених в черном костюме, видимо не пострадавший, сидел внутри.

Я подумал: надо же. Случай выглядел до странности нарочитым. Никакого впечатления он на меня не произвел. Дорога снова со свистом и шорохом полетела навстречу, передние колеса наматывали ленту шоссе, задние разматывали. Путешествие кончилось тем, что мы приехали.

Они ждали меня. «Они» — это были три старухи, одна из которых, некая Светлана Сергеевна или Семеновна в

допотопной шляпке, заспешила ко мне, пока я расплачивался с таксистом.

«Это вы? Слава Богу. Мы уже три группы пропустили».

Эта терминология напоминала язык экскурсионного бюро. Очередной автобус подкатил ко входу, чуть не задавив нас. Оттуда поспешно стали вылезать люди, мужчины в парадных костюмах и женщины в темном, открылись задние дверцы, и выплыла ладья с последним экскурсантом. Процессия выстроилась перед входом и, шаркая ногами, пошла внутрь, а навстречу им раздался скрежещущий звук, как будто раздвинулись меха большого аккордеона.

Затем урча, толчками, подошел наш рыдван. Какие-то темные личности, их всегда много в таких местах, подхватили гроб и водрузили на каталку; гид, молодой человек с повязкой на рукаве, построил нас в две пары, мы впереди, две дамы сзади, меня он, очевидно, принимал за мужа, — и оглянулся в ожидании. Но оказалось, что музыка не была заказана. Потому что, видите ли, покупая хлеб, вы обязаны отдельно уплатить за корку.

Произошло замешательство, которое, впрочем, было быстро улажено. Чего здесь не терпят, так это лишней траты времени. Гармонь заиграла прелюдию Букстехуде. Мы двинулись вслед за тележкой, и все завершилось самым благоприличным образом. Нетрудно было догадаться, что стоявший в глубине большой трехстворчатый орган был декорацией. Внутри помещался обыкновенный проигрыватель. Что здесь было настоящим? Сама смерть выглядела инсценировкой.

Бродяги обступили трех старух, рассчитывая никак не меньше, чем на три бутылки. Но платила одна Светлана, странное, кстати, имя для дамы такого возраста, — я же в это время делал вид, что погружен в свои мысли. Мы посторонились, пропуская новое шествие, весьма многочисленное, с венками и представительными личностями во главе колонны, вновь грянула музыка, конвейер работал, — а между тем подземный огонь пожирал обивку, и дерево, и руки, и волосы, и глаза — все, что осталось от моей закатившейся жизни. Кое-как выбрались вон.

Далее мы направились к стоящему наискосок от крематория трехэтажному зданию безобразной архитектуры, где предстояло еще одно дело. Те двое остались

сидеть на скамейке перед газоном, а мы вошли и стали подниматься по лестнице, и гений скорби склонял над нами гипсовую голову. Мы представляли собой не лишённое оригинальности зрелище: тощий, как жердь, старец с серебряными зубами и баба-Яга вчетверо ниже его ростом.

Некоторые простые вещи с трудом поддаются определению. Старостью я назову такое состояние, когда в физическом смысле все больше находишься во власти мира, в униженной зависимости от атмосферного давления, от того, что съел за ужином, от пошлой музыки, не дающей уснуть. Но одновременно все меньше зависишь от мира духовно. Нет такого пророка, который мог бы утратить человека моих лет. Что он мне может сказать: что я умру? Или что я бессмертен? Друг мой, я все это знаю без тебя.

Взойдя на второй этаж, двинулись дальше, и, откровенно говоря, я начал жалеть, что ввязался в эту историю. На третьем этаже все выглядело уже не так помпезно. Мы повернули направо, а надо было идти налево, но разве кто-нибудь удосужится объяснить. В результате пришлось обойти чуть ли не все помещение. Мы шествовали из зала в зал, минуя дверные проемы с цифрами, как в музее, и в бессмысленном неживом свете люминесцентных ламп, со стен, покрытых сверху донизу мраморными дощечками, на нас смотрели из овальных медальонов лица несуществующих людей, мужчин, женщин, детей, юных девушек, старух, некоторые фотографии были парные, на других дощечках вовсе не было лиц, никто уже никогда не узнает, как они выглядели.

Попадались диковинные фамилии. В зале № 52 некто Давитая-Гинзбург блистал новенькой позолотой возле доктора исторических наук с совсем коротенькой фамилией — не то Жук, не то Лук. Что было общего между ними? Представьте себе, вы идёте утром на работу, впахиваетесь в метро и даже не подозреваете, что в эту минуту вас толкнул плечом будущий сосед — Давитая-Гинзбург. Почему Гинзбург? Идет какая-то игра, нас тасуют, как карты, и, глядишь, мы легли рядом. Такие глубокие мысли приходили мне в голову, пока мы не добрались до служебного коридора и отыскивали нужную дверь. Начались переговоры, во время которых моя новая знакомая Светлана Сергеевна проявила присущую ей деловитость и настойчивость. Никому не интересно получить нишу под самым потолком.

Одним словом, все это заняло уйму времени.

Дамы нас не дождались. Нужно было искать такси. Наконец уселись. Было неудобно молчать, и я спросил: при каких обстоятельствах это произошло?

Собственно говоря, я и так это знал; подробности в этом случае не имеют значения. Я знал это, потому что, как уже сказано, подземное пламя пожирало не кого-нибудь, а меня, потому что, собственно говоря, меня уже не было. Зачем же выслушивать от посторонних людей, что случилось с самим собой? Однако вопрос был задан, и последовал избыливающий утомительными подробностями ответ, который я здесь воспроизвожу *summamim*. В пятницу Светлана Сергеевна собралась к сыну, который живет в Радищеве, две остановки не доезжая Клина. Перед отъездом купила соседке хлеб, кефир, Виктория Николаевна благодарила, говорила, что она и сама могла бы сходить, но что-то как будто толкнуло Светлану Сергеевну, когда она уже спускалась по лестнице. Она вернулась и позвонила. Та долго не шла, но потом наконец открыла; все было в порядке. В понедельник Светлана возвращается. Звонит соседке, та не отзывается, но из квартиры слышны голоса. Когда взломали дверь, то оказалось, что это был телевизор. Сама Виктория Николаевна лежала на полу ванной. Инсульт или инфаркт — что, впрочем, одно и то же.

В продолжение этой речи, нисколько меня не удивившей, я сидел, возложив руки на палку, созерцая коробки домов; в окнах верхних этажей глянцевым пожаром пылал закат. Я сказал:

«Вот на этом месте, когда я сюда ехал, была авария».

«Говорят, счастливая примета».

«Да уж куда счастливее. А вы давно были знакомы?»

«Лет пять... У нас, знаете ли, весь дом одни инвалиды.

Все друг друга знаем».

Я надеялся, что моя миссия закончена, но при въезде в город она сказала:

«Простите. Не могли бы вы заехать со мной к ней на квартиру?»

ГЛАВА 2

Квартира оказалась убогим жильем в современном вкусе — подобием фанерного ящика с тремя дверцами, которые вели на кухню, в ванную и в другой

ящик. Удивительные превращения претерпел язык за какие-нибудь несколько десятков лет. Спросили бы вы у человека тридцатых годов: что он называет квартирой? В темном закутке, так называемой передней, я поставил палку и повесил шляпу на крюк. Вошли. Это была полуслепая комнатка с желтыми обоями, затхлая, на подоконнике рядом с кроватью — высохший цветок в сером стакане.

«Извините, я подумала... Я не знаю, как вы на это будете реагировать».

Она металась по комнате, как летучая мышь, и кружила вокруг меня.

«Я подумала, что это ее желание. Конечно, не всякое желание можно выполнить. Мало ли что захочется... И к тому же они могут возражать!»

«Кто — они?»

«Администрация крематория или кто там».

«Вам помочь?»

«Спасибо. Потяните за эту ручку».

Мы пытались вытащить нижний ящик комода, ящик перекося. Она сунула руку в щель.

«Слава Богу, нашла, — сказала она, вставая. — Вы на меня не сердитесь за то, что я вас сюда затащила?»

«Ну что вы, Светлана Семеновна».

«Савельевна».

«Пардон».

«Видите ли, у нее почти ничего не осталось. Немного на книжке, но это уж племянник будет распоряжаться».

«Какой племянник?»

«Троюродный какой-то, почему я знаю. Десятая вода на киселе. Я дала телеграмму».

«Вы хотели что-то сказать?»

«Да. Вот именно, хотела сказать... Ради Бога...»

«Полноте».

«Знаете ли, все в жизни бывает».

«Конечно. Так в чем дело?»

«Собственно, она не оставила никаких распоряжений, ни завещания, ничего. Был только разговор... Я так понимаю, что ей хотелось, чтобы этот медальон... Странная фантазия, что и говорить. Ради Бога, извините. Вот этот справа. Не вы?»

«Допустим», — сказал я.

«Ага. Представьте, я так и подумала. Сколько же вам было лет?»

«Столько же, сколько ей».

«Какая она здесь юная. Но узнать можно. А это кто?»

«Это ее брат».

«То-то я смотрю, они похожи. Я не знала, что у нее есть брат. Он жив?»

«Он умер».

«Ага. Ну, это уже легче».

«В заключении».

«Простите?»

«Я говорю: умер в заключении».

«Ах, вот как. Ага, ну да. Сколько же лет прошло с тех пор?»

Я пожал плечами.

«Дела давно минувших дней, дорогая Светлана Савельевна».

«Наконец-то!»

«Что наконец?»

«Наконец-то вы запомнили».

«По-вашему, я уж такой маразматик?»

«О-хо-хо... Что ж делать-то будем?»

Летучая мышь! Она уставилась на меня своими дымчатыми, ночными очами.

«Делайте, что хотите», — ответил я и поплелся в прихожую. Ибо все это меня уже несколько не касалось.

Поездка утомила меня, и когда, вернувшись к себе, я стаскивал с ног боты, руки мои дрожали. Перспектива украшать собой мраморную табличку меня не волновала. Впрочем, я полагал, что милиция этого не допустит. Ведь они регистрируют все, что пишется на дощечках, и следят, чтобы портреты соответствовали надписям. Мне случалось видеть надгробия, где рядом с родителями помещалось изображение сына, погибшего на фронте. Или по крайней мере числящегося погибшим. А если на самом деле он жив? Отсюда следует, что должен существовать закон, запрещающий подобную практику. Как сказал поэт: спящий в гробе мирно спи, жизни радуйся живущий. Если, конечно, считать, что я жив. Таковы были мысли, приходившие мне в голову, пока я лежал во тьме, вспоминая весь этот тягостный день.

Подлинность дальнейшего не может быть подвергнута сомнению, благодаря давнишней моей привычке записывать сны. Хочу лишь заметить, что во сне, если уж быть точным, я никаких снов не вижу. Во сне я сплю. «Сны» посещают меня на границе бодрствования и какого-то другого состояния, которое я не знаю как называть, и то, о чем я думаю в это время, а я именно думаю,

то есть как бы шагаю по дну реки, а не влекусь безвольно по течению вод, это скорее воспоминания, а не грезы о том, что могло бы быть, а может, было на самом деле, — тут я всегда остаюсь в некотором недоумении. Итак, я почувствовал, что не сплю. Я пробудился, как мне казалось, всего на одно мгновение и в следующую минуту уже спал, но на самом деле не спал, а притворялся перед самим собой. Тусклая мысль горела где-то в отдаленном закоулке моего мозга. Это была мысль о докторе исторических наук. У меня есть правило: я перебираю алфавит, пока не нападую на нужную букву, и так вспоминаю фамилию. Фамилия была совсем коротенькая, я ее буквально видел перед собой, напечатанную золотыми буквами. Я встал, нашарил шлепанцы и пошел на кухню выпить воды. Проклятый доктор, словно обмылок, не давался в руки. Постепенно я понял, что эта неудача есть просто частный случай другой неудачи, гораздо более обширной, имя которой — моя жизнь. Я догадался, что судьба не просто обыграла меня, как она обыгрывает всех и каждого, но поступила со мной как бесчестный шулер, обчистила до последнего рубля, ни одно из моих желаний не исполнилось, ни одна надежда не сбылась, моя юность была растоптана, и вот я теперь созерцаю эту мою жизнь. Я стал подыскивать подходящее сравнение: она была как люстра, которую я все старался повесить на крюк под потолком, пока она наконец не сорвалась — и вот я стою среди осколков.

Но затем что-то переменялось. Вода, вода несла меня, стремясь оторвать от дна! Вспоминая минувший день, я перебирал заново шоссе, автобус, трех старух, Букстехуде — так проглядывают содержимое бумажника, — и вдруг остановился: мне стало смешно; я не мог понять, как я поверил во все это.

Главное открытие состояло в том, что ничего этого не было. Мне просто все это приснилось. Теперь-то я точно знал — как будто вышел на песчаную отмель, — что ничего не было. Что же было? Была прекрасная погода. Я поспешно утер глаза и ускорил шаг. Стук туфелек, шелест платья несли меня за собой, и я даже не заметил, как шоссе перешло в проселок, а справа тянулась ржавая железная ограда. Я предложил зайти на минутку.

«А как же они?» — был ее вопрос.

Действительно, люди, стоявшие позади нас с венками, проявляли нетерпение: церковь уже виднелась невдалеке.

«Ладно, — сказал я, — подожди меня тут, я сейчас».

И, перемахнув через решетку, я устремился вперед по узкой тропе. Солнце садилось и било мне в глаза. У меня не было сомнений, что я иду самым кратким путем к тому месту, где находилась моя мать. Она сидела за столом в яме, точнее, в небольшом прямоугольном углублении, поросшем травой, из-за слепящих лучей солнца я не мог разглядеть ее лицо, но хорошо видел чистый лоб и гладкие блестящие волосы. Я остановился и сказал:

«Предупреждаю тебя, что я зашел только на минутку. Меня ждут. Ты, наверное, думаешь, что со мною случилось несчастье, но это совсем не так: я жив и здоров, в чем ты можешь убедиться. Кроме того, я молод, у меня все впереди. Я ее люблю, надеюсь, что и она меня любит. Через несколько минут нас обвенчают. Сейчас это снова принято. Собственно, это я и хотел тебе сказать, а остальное ерунда, на которую не стоит обращать внимание. Орган — просто ширма. Одним словом, все — сплошное вранье. Ну вот, а теперь я пошел».

Но она молча покачала головой, потому что я для нее был все еще ребенок, и она не принимала всерьез мои слова. Я должен был показать ей, что я взрослый. Спрыгнул в могилу, сел за стол и вытащил из кармана коробку дорогих папирос «Казбек». Сколько времени нужно, чтобы выкурить папиросу? Свидетельствую: я пробыл там не более десяти минут.

Пробираясь между ржавыми оградами, похожими на старые кровати, я оглянулся, — ее голова виднелась среди крестов. Она сидела в прежней позе, и волосы блестели на солнце. Лица я не видел.

Я выбрался на дорогу. Я чувствовал, что опаздываю: невеста в фате и гости заждались меня. Но время здесь, очевидно, шло иначе, чем там, вот единственное объяснение, которое я могу предложить. Никого не было, и дороги тоже не было. Все заросло травой. Церковь обрушилась. Из обломка колокольни рос пышный куст. Люди давно умерли. О том, что я остался, забыли. Мертвые забыли живого. Что все это означало, увиденное с поразительной отчетливостью, сказать трудно. Я не спал и в мертвой задумчивости лежал, вперясь в одну точку, я был спокоен, я ни о чем не жалел; все хорошо, думал я, жизнь прошла, и Бог с ней, все хорошо...

ГЛАВА 3

Я хочу сделать одно предупреждение. Данный текст не являлся художественным произведением. «Я», от имени которого здесь ведется рассказ, есть именно я и никто другой; не какой-нибудь вымышленный персонаж, а я сам, тот, кто сейчас отстукивает эти строчки, чья фамилия стоит на титульном листе; стояла бы.

Стояла бы, если бы я сочинял роман для утехи и поучения читателей. Но у меня нет и не будет читателей. Зачем же я пишу и для кого? Должно быть, ни для кого. Мне трудно ответить на эти вопросы.

Конечно, я мог бы сослаться на интерес, который публика проявляет к «той эпохе». Но мне как-то неловко. Какая эпоха? Что за слова! Мы жили в эпоху, которой не было. Мы очутились в расщелине времен. Мы все, все наше поколение, выпали из истории. Мы были похожи на действующих лиц в фильме, где пропал звук: что-то говорили, махали руками — а никто ничего не слышал. Это первый и последний раз, когда я говорю о поколении; я не принадлежал ни к какому поколению. Как сказал Иов: «Размышления мои побуждают меня ответить, и я поспешаю выразить их». Нет, лучше уж прямо сознаться, что единственный читатель, к которому я обращаюсь, это я сам.

Не помню, у какого автора я вычитал забавную мысль: он говорит, что порядок жизни есть не что иное, как порядок литературного повествования. Случайные события, встречи, расставания нанизываются на так называемую нить рассказа, выстраиваются в ряд, и на душе становится веселей: начинаешь всерьез верить, что прожил жизнь не как попало, а следуя некоторому предназначению. Произносятся умиротворяющие фразы: «На жизненном пути...» и т. п., — как будто этот путь в самом деле существовал.

Такие соображения полезно иметь в виду всякому, кто притязает на «историзм», другими словами, поддается соблазну внести порядок в зыблющуюся жизнь; кто выстраивает цепочку событий, не замечая, что этим фальсифицирует действительность. По мне, единственным выходом было бы разграфить страничку на сколько-то столбцов и заполнять каждый столбик отдельно, ибо жизнь — это не одна, а множество повестей, рассказываемых одновременно. Только вот кто рассказчик? Иногда мне кажется, что я — чья-то ожив-

шая мысль. И я верую, верую вопреки всему в то, что все случившееся с нами соединено внутренней связью. Память открывает эту невидимую связь. Вглядишься в себя, вчитайся; не спрашивай, что было сначала, что стало потом; поступи с прошлым, как дерзкий романист поступает со своим героем, не страшась упрека в том, что он разрушает искусство, — на самом деле он разрушает рутину, он рвет нить времени. Он больше не всевидящий бог, не шахматист, рассчитавший партию на много ходов вперед, для него нет ни причин, ни следствий; откажись и ты от них. Единственное не навязанное никем объяснение событий, единственное, что делает их событиями, это я сам; единственный сюжет, который я могу придумать, — это история моей души.

Здесь будет уместно сказать два слова о герое этих страниц. Я человек сомнительный. Как легко догадаться, мне уже много лет, но каким я родился, таким и помру. С самого детства сомнение в прочности внешнего мира было главной чертой моего характера. Я всегда испытывал глубокое и непобедимое недоверие к действительности. Я входил в комнату, не сводя глаз с роковой половицы: ступишь на нее — конец, рухнет потолок и провалится пол. И так на каждом шагу. Я просто гипнотизировал себя! Моя жизнь проходила в исполнении всевозможных ритуалов, в неустанном старании разгадать заговор вещей. Я жил, как прозелит первого века, в вечном ожидании конца света; жил в поле высокого напряжения, чувствуя, как волосы потрескивают на голове, и если все еще оставался жив, то потому, что его генераторы каким-то образом уравнивали друг друга. Я знал — я знаю это и сейчас, — что существую лишь по чьему-то недосмотру.

И в этом скрывался, как ни странно, источник своеобразного оптимизма! Я научился обманывать злую силу, единственным законом которой было то, что она действовала назло. Возвращаясь домой, я думал: хорошо, если бы все к черту. Если бы нагрянули бандиты, если бы снова началась война, если бы мой отец, пьяный, попал под трамвай, если бы мачеха заболела, если бы мы все умерли от нищеты и горя, и так далее и тому подобное. Этот гипноз был так силен, что я был уверен, что так оно и есть. И вместе с тем знал, что злая сила сделает все наоборот. Но она не должна была догадаться, что я знаю. И я крался в тусклой мгле, прислушиваясь к хлопанию дверцы и урчанию мотора за углом, как верующий

еврей прислушивается к топоту ослицы, на которой едет Мессия, только теперь на ней ехал Сатана. И я смотрел, не стоит ли «скорая помощь» перед нашим подъездом. Я входил, холодея от страха, нажимал кнопку и ждал: вот откроется дверь и кто-нибудь там, в коридоре, крутит диск телефона, вызывает врача, милицию... Миг тишины, казавшийся бесконечным! Каменная сырость лестницы! Шаги... И вот наконец мачеха в необыкновенном платье, в обычном своем домашнем халате, с обрывком прерванного разговора на губах, отворяет дверь. И радость, покой, благодарность неведомому Богу за то, что все обошлось, все живы и все осталось по-старому, наполняли мою душу.

ГЛАВА 4

В приснопамятную пору мне исполнилось тринадцать лет, то было злое, несчастливое время. Я стал худеть, по субботам в бане отец заставлял меня становиться на весы, и каждый раз я терял в весе, я еще не был болен, но должен был заболеть, родители принялись хлопотать о том, чтобы поместить меня в лесную школу, и с этого времени, я думаю, все и началось. Началось, если можно так выразиться, Новое время моей жизни. Детство сравнивают с античной древностью, но я бы назвал его средневековьем, восхитительной, на мой взгляд, порой в истории человечества, а вот отрочество — это шестнадцатый век! Сырой ветер, запах тления, — гниют какие-то остатки, — томительное чувство свободы, мокрые ноги, кризис плоти и взрывы дикого авантюризма. Голова кружится от наплыва мыслей. Вселенские замыслы: придумать новую религию; создать универсальную формулу человека; написать великую поэму. И, наконец, чихнуть на «все» и записаться в Иностраннный легион. Этот легион был какой-то фата-морганой, вроде Нового Света. Иностраннный легион, братство душ, расквитавшихся с прошлым. Иностраннный легион — единственное подразделение французской армии, на трехцветном знамени которого отсутствует слово родина. Какие слова!

Ночью не спится, дьявольское наваждение. Ночью в душе зажигаются тусклые огни, и при свете их видны следы незваных гостей, обеды постыдного пира. Я считаю отнюдь не случайным, что упомянутый кризис сов-

пал с переселением в школу, а далее и с открытием, о котором мне предстоит рассказать. Я даже думаю, что связь вещей была на самом деле иной, то, что казалось причиной, было следствием, и наоборот. Давайте представим себе такой мир, где следствия, так сказать, применяют для себя причину, чтобы создать видимость порядка и честной игры, тогда как на самом деле это нечестный мир, где все подстроено. Это будет мир, в котором девственницы сначала зачинают, а потом вступают в брак, мир, в котором логический порядок вещей — всего лишь дань приличиям. И в котором воспаление бронхиальных желез началось просто-напросто для того, чтобы было из-за чего ехать в лесную школу, и школа подвернулась лишь ради того, чтобы дать родителям пожить первое время после свадьбы без меня, вдвоем.

Однажды я задержался в спальне, это было чистой случайностью, я искал подушку, запрятанную каким-то озорником во время утренней суматохи, беготни по кроватям и швыряния друг в друга чем попало. Я бродил между рядами и вдруг почувствовал, что лишь делаю вид, будто занят поисками; я знал, что в спальне я не один. В углу лицом к стене лежал, накрывшись с головой, мальчик, который всегда опаздывал, но не потому, что не поспевал, а из особого высокомерия, из особой аристократической медлительности, словно он был полузаконным отпрыском августейшей семьи и ему не подобало сломя голову мчаться вместе со всеми в столовую. Бросив взгляд в его сторону, я вдруг заметил, что он повернулся на спину и смотрит на меня.

«Ты, — сказал он после некоторого молчания. — Ты чего делаешь?»

«Да вот, — пробормотал я, — з-запахнули к-куда-то...»

«У тебя линейка есть?» — спросил он.

«Какая линейка?»

«А ты почему отвечаешь вопросом на вопрос?»

«В классе есть», — сказал я, чувствуя себя в его власти. Ноги сами тащили меня к нему, словно он под одеялом наматывал леску.

«Хочешь, — сказал он, — покажу одну вещь?»

«К-какую вещь?» — спросил я и сел на край кровати.

Одеяло съехало с его ног. Он лежал, подложив под затылок тонкие руки с острыми локтями и устремив перед собой надменный и скорбный взгляд.

«Хочешь, смерим? — выговорил он. — Возьми рукой».

«Ух ты, черт», — сказал я, и сердце мое колыхалось, как колокол.

«Еще, — говорил он горячим шепотом. — Ну!.. Еще».

В эту минуту в коридоре зацокали каблуки. В дверях стояла воспитательница.

«Мальчики! — сказала она. — Звонков! И ты... (Мою фамилию она, очевидно, не помнила.) Что это такое? Все давно на завтраке».

«А, сволочь, — проговорил хрипло Звонков, — ты драться?..» Он сидел на кровати, и одеяло покрывало его колени. Воспитательница молча переводила взгляд с него на меня, я думаю, она догадалась, но не подала виду. На другой день я получил письмо из дому.

ГЛАВА 5

В старинные времена Сокольники представляли собой глухое загородное место с тропинками, озерами, болотистыми прогалинами; школа оправдывала свое название. Школа помещалась в двух больших деревянных домах, соединенных переходом. По этому переходу, едва успевал прозвенеть звонок, неслась голодная орда, с шумом и гамом втискивалась в умывальню, рвала друг у друга мокрые полотенца, затем все выстраивались в коридоре у входа в столовую, перед столом, на котором стояли подносы с ложками для рыбьего жира. Каждый получал свою порцию и бежал на место, крича на ходу дежурным: «К нам, мы первые!»

Первыми были мы, то есть наш столик, и суп в тарелках, украшенных пионерскими эмблемами, дожидался нас. Вся школа, четыре отряда, радостно загребала картофельное пюре с подливой, допивала компот и вылавливала вилкой компотное мясо, а мы четверо, два мальчика и две девочки, стояли на видном месте с листочками в руках, и солнце било нам в глаза. Эта была устная газета. Все шло превосходно весной 1941 года, сталевары трудились, как никогда, и храбрые германские войска доедали Грецию. Как вдруг я услышал укоризненный шепот девочки, которая стояла сзади меня, держа наготове вести с полей: я нарушил порядок сообщений, перейдя от успехов тяжелой промышленности сразу к сводке германского командования. Я обернулся и в этот

момент увидел краем глаза письмо, белевшее в шкафчике возле двери. Так замечают, сядя в трамвай, женщину, поправляющую чулок в подъезде.

Тотчас трамвай отъехал. Но вдруг, когда немного времени спустя толпа повалила к выходу, мой взгляд опять упал на белый конверт. Моя буква редкая, одна из тех букв в конце алфавита, которые сгребают, как крошки со стола, в последнюю ячейку. Вынув письмо, я узнал почерк моего отца.

Может показаться странным, но я помню текст почти дословно, и даже со всеми ошибками: например, слово «аферист» было написано через «и». Я помню, как выглядело это письмо: двойной лист из тетрадки в клетку. Помню затейливые, в виде треугольника, хвостики букв «у» и «д», загибающиеся книзу строчки. Все женщины, независимо от образования и характера, загибают строчки. Ибо рука отца была лишь на конверте, а писала мачеха. Если я где-нибудь и вношу изменения в ее письмо, то лишь очень незначительные.

«Дорогой наш, любимый и дорогой сын!» (Так и было написано: два раза «дорогой».)

«Пишу тебе с согласия папы. Мы долго думали и колебались, и я всю ночь не спала, все плакала, не знала, что делать, но мы все-таки решили, что ты уже большой и должен все знать, тем более, будет хуже, если кто-нибудь посторонний расскажет и нарушит твой покой».

Дойдя до этого места (представляющего собой цитату из арии Германна) и чрезвычайно заинтригованный, я уронил конверт, и тотчас на него наступили. Меня обгоняли и заглядывали ко мне через плечо. Солнце сверкало в широких окнах. Я шел по переходу.

Сразу же замечу, предупреждая возможные домыслы, что в дальнейшем никакой особенной роли это письмо в моей жизни не сыграло. Если я его запомнил, то по другим и мне самому не вполне понятным причинам. Мы помним одни факты и забываем другие; прошлое записывается по правилам, имеющим мало общего с его содержанием. Да и прошлое ли это? Порой мне кажется, что весь я один и тот же в одном времени, подобно тому как на старинном витраже события священной истории изображены все вместе. Вот я ползаю по полу, по квадратам горячего света под ногами бегущих, пытаюсь спасти конверт; вот я бреду в каменном зале за гробом Вики... Что было сначала, что потом?

«...и нарушит твой покой. В общем, не буду тебя мучать загадками. Позвонил один человек папе на работу и сказал, что необходимо встретиться, надо было сразу послать его подальше, но ты же знаешь папу, тем более он сразу не сказал, в чем дело, а когда пришел, то уже не выгонишь. Хотя держался скромно и прилично одет, сказал, чтобы мы не беспокоились и что он не аферист какой-нибудь и может предъявить документы, а как тут не забеспокоишься; папа ему очень спокойно сказал, что мы не милиция и нам его документы не нужны, но я на всякий случай посмотрела, он прописан в Мурманской области, а где остановился, неизвестно. У него нет на руке трех пальцев, я спросила, где оторвало, он ответил: на производстве, в общем, чуяло мое сердце недоброе.

Потом он стал рассказывать, что они из одного города и якобы он знал твою покойную маму, и все так складно, папа говорит, что все совпадает, не знаю, может, и совпадает, но разве это что-нибудь доказывает, рассказать можно все что угодно. А доказательств нет, да хоть бы и были, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Дорогой наш мальчик, ты знаешь, как мы к тебе относимся, я всю ночь проплакала, и я хочу тебе сказать, что мы твои родители и никому тебя не отдадим, а когда у тебя родится сестричка, то вы оба будете мои дети...»

И так далее... Письмо может показаться бестолковым, да еще эта манера писать без точек. Однако мачеха моя умела достаточно ясно выражать свои мысли, и если в этом послании она изъяснялась так сбивчиво, то это было вызвано, я думаю, не одним только волнением. Видимо, она старалась исподволь подготовить меня к неожиданному известию.

Я сказал, что помню письмо слово в слово. Возможно, это не совсем так. Думаю, что какие-то фразы все же выпали из моей памяти, иначе оно не производило бы сейчас такого странного впечатления. Пытаясь поставить себя на место своих родителей, я спрашиваю себя, поступил бы я так, и отвечаю: нет. Появись на моем пути человек, оспаривающий у меня право считаться отцом моего сына, я предпринял бы другие действия и во всяком случае не допустил, чтобы мой сын получил такое письмо. Значит, оно было не совсем таким. Или же придется допустить, что мачеха скрыла от меня правду, то есть что позиции незнакомца были сильнее, чем следовало из ее

письма. Быть может, письмо было лишь слабым отголоском событий, которые там происходили и о которых я никогда не узнал. В таком случае моей мачехой двигал не расчет, а отчаяние и растерянность. Именно это я почувствовал с необыкновенной ясностью.

Как бы то ни было, прочитав письмо, я ничего не понял. А может быть, понял все, но уверил себя, что не понял. Скрыл, так сказать, от себя самого эту нелепую новость. Делать было нечего, я вышел на крыльцо и уселся на верхней ступеньке. Весна, необычно ранняя в этом году, уже наступила. Дух тления витал в воздухе. Весна достигла той фазы, когда главная работа уже сделана, снег сошел и нагая земля готова принять плодородное семя. От бурой прошлогодней травы, от сырых досок крыльца поднимался гнилостный пар. Изумительная мысль неожиданно предстала передо мной. Мысль о бегстве. Иностраннный легион! Единственное подразделение французской армии, на трехцветном знамени которого отсутствует слово родина.

ГЛАВА 6

Крыльцо выходило на задний двор; через калитку, пробравшись вдоль забора, можно было дойти до угла Шестого лучевого просека. Здесь, на ветхих мостках, переброшенных через кювет, я поджидал по выходным дням моего отца. Он приезжал около десяти часов и шел от остановки трамвая в толпе родителей, и я видел издали его серый брезентовый плащ. На этот раз он не приехал. Я ждал все утро, ждал, сбегав с мертвого часа, после обеда, а вечером перечитал письмо мачехи, и мне бросилась в глаза фраза: «тем более будет хуже, если расскажет посторонний», — зловещий смысл этих слов только сейчас дошел до меня.

На другой день был урок немецкого языка, я сидел, уткнувшись в тетрадку и страхась взглянуть в окно, — и вдруг в самом деле увидел его: он сидел в беседке, спиной, но я разглядел его маленькую полуседую курчавую голову. Я услышал его голос, его отвратительный акцент; не помню, писала ли мачеха об этом акценте или я сам его придумал. Рука была закинута за спинку скамьи, и я узнал эту руку с отрубленными пальцами. Итак, он приехал за мной, рука готовилась схватить меня. Я отвел глаза от окна: так боец, поднимаясь после

нокаута, обводит публику угасшим взором. У доски стояла ученица по фамилии Сеничкина, и я встретил ее молящий взгляд одинокого пловца в пустынном море. Эта глупая Сеничкина не догадывалась, каким пустяком была ее растерянность, какое это было счастье стоять у доски и спрягать глагол müssen, не думая ни о чем; все они не понимали своего счастья. Зазвенел звонок на перемену, во время которой я обдумывал оставшиеся у меня возможности. Мешкать было нельзя. С другого конца коридора Звонков, стройный, как принц Дакар, скользнул по мне таинственно-небрежным взором; но теперь наш заговор не имел значения. Какой-то малыш подошел ко мне, сказав: «А тебя вызывают к директору». Значит, он уже там, он явился, чтобы увезти меня в Мурманскую область. Дверь в учительскую была открыта, завуч стояла у окна и говорила по телефону. Она подняла на меня глаза, продолжая говорить в трубку. Я попятился; но тут показалась учительница, спешившая на урок; пришлось возвратиться в класс.

Я уговорил соседку поменяться со мной местами, чтобы меня не было видно из окна; позже я убедился, что беседка была пуста, — это подтверждало мои предположения. Возможно, он медлил, вняв уговорам директора подождать, когда кончится мертвый час. Мертвый час наступил, и я почувствовал, что дольше тянуть я не в силах. Я должен был немедленно что-то предпринять; все равно что. Голос воспитательницы произнес: «Поворачивайтесь на правый бок и ш-ш...» — это была ежедневная ритуальная фраза. Ее каблуки удалились по коридору. Это была последняя фраза — как удар судового колокола. Невольничий корабль отвалил от берега. Теперь прыгнуть и в плавь.

С каждым мгновением движения мои убыстрялись. Кое-как я натянул штаны, затолкал болтающиеся шнурки в ботинки.

Уборная находилась в конце коридора. Закрыв за собой дверь, я стоял несколько минут с бьющимся сердцем, слушая тишину. Здесь была укромная гавань, где я чувствовал себя в относительной безопасности; нечто вроде промежуточной остановки, а также запретной зоны, куда не имели доступа взрослые. Здесь выясняли отношения, сводили счета, отсиживались во время урока, курили и переписывали сочинения; на подоконнике лежало все необходимое: тетрадные листы, огрызок карандаша и ржавое лезвие; здесь мастерили шпаргалки

и возвращались в класс вооруженными до зубов. Сквозь замазанное мелом стекло сочился белесый свет, в бачке журчала вода. Собираясь с мыслями, я обвел глазами унылый интерьер, и вдруг меня осенило. Я взял с подоконника то, что там лежало, поднял рубашку и чиркнул наискось от левой ключицы вниз.

Рука дрогнула, и получилось плохо. Две алые бусины нехотя выступили из пореза. Мне стало досадно. Я брезгливо стер и стряхнул с пальцев вишневые капли. Прижав подбородком скомканную рубаху, я зажал бритву в щепоть и, не торопясь, нажимая, провел несколько штрихов крест-накрест. Но полоснуть сосок не хватило духу. Я стоял над облупленной раковиной, разинув рот и прижимая подбородком рубаху, и, как девочка, стискивал в ладонях воображаемые груди. Струйка воды бежала из крана, я смывал кровь из ран, которые нанес себе. Зачем? Я и сам не знал. Чтобы испытать силу воли на случай непредвиденных обстоятельств. Так я объяснил это себе.

До вечера я болтался где-то на территории, а ночью исчез из лесной школы.

ГЛАВА 7

Был человек в земле Уц, и человек этот был я. Не было у него ничего, и все ему было подарено. Было у него все, и всего он лишился. Прошу уволить меня от пересказа дальнейших происшествий. Они неинтересны. Не то чтобы я забыл за давностью лет, что именно произошло дальше, нет, в памяти и сейчас стоит картина бесконечной дороги, по которой я намеревался дойти до станции, запах мокрого леса, серебристо-черная ветошь прошлогодней листвы, луна в голубоватом дыме облаков, и звук несется из неразличимой дали времен, и грохот вагонов, громыханье платформ, цистерн... Словно во сне, я простер руки к этому лязгу и грому... И ноги мои потащились по песку, и сильные и грубые руки, как клещи, вознесли меня на тормозную площадку, трубный голос изрыгнул чудовищный мат — и я уехал.

Но ощущение некоего перелома уже миновало. Разряд произошел, прочее было лишь затихающим эхом. В общем же, если говорить попросту и без эмоций, никаких непредвиденных обстоятельств не случилось. Меня разыскали и вернули. Я был заключен в изолятор, где до

меня находился ученик, у которого подозревали скарлатину; приехал врач, разглядывал мою грудь, проверял сухожильные рефлексы и щупал яички, — все это называлось так: «пубертатный криз».

Как это часто бывает, ученое слово внесло успокоение. Таково терапевтическое действие терминов: ничего не объясняя, они восстанавливают порядок, нарушенный вторжением таинственного и необъяснимого. Они как будто дают понять, что таинственное тоже предусмотрено во всеобъемлющей картотеке знания. Кончилось тем, что родители взяли меня из школы, в качестве вознаграждения я был освобожден от экзаменов, но к моему рассказу эти подробности имеют лишь косвенное отношение, и дело не в них.

А дело в том, что это была счастливая ночь! Единственная в своем роде счастливая ночь вдохновения и свободы. Стоит мне только представить ту дорогу, по которой я брел, шагал, шествовал с одним лишь намерением — уйти прочь, и чем дальше, тем лучше, сырую гниль весеннего леса, тусклый туман и высоко в небе, в светлом кипении облаков голубой кружок луны, стоит увидеть себя на пустынном откосе, увидеть облитые мертвенным светом стальные рельсы, слепящее огненное око, услышать издали зовущий гудок, стоит мне только вспомнить все это, как поднимается со дна души то, что когда-то затопило ее до краев. Я шел и расплескивал свою свободу. Я больше ни о чем не думал. Я никого не боялся. И я уже не вспоминал о незнакомце и мачехином письме. Быть может, смысл его был на самом деле совсем иной, кто знает? Быть может, оно, это письмо, было благодеянием. Быть может, в высшем смысле оно было лишь поводом. Пускай меня разыскали, вернули и посадили под замок, — я был уже не тот. Я выкарабкался из самого себя: там, в школьной уборной, как некая улика, валялась моя лопнувшая кожа, там коченело изжитое и опостылевшее детство, там осталось все, чем я жил, мыкался и терзался еще вчера, все это валялось и засыхало, как старая кожа. Юная, голая и дрожащая от холода змея, вот кем я был теперь, вот кто уцепился за поручни последнего вагона и, подхваченный чужими могучими руками, вскарабкался, стуча хвостом, на тормозную площадку, — и поехал!

Эпизод с письмом не имел последствий. Теперь я понимаю, что в этом нет ничего странного: мы как будто заключили молчаливый договор, я помалкивал о письме,

словно никогда его не получал, они тоже — словно никогда его не писали. Разговоры шли о том, как это я не попал под поезд, не простудился и т. п. Родители были напуганы. Случившееся перечеркнуло то, что было его причиной; так на пожаре не спрашивают, где та спичка, от которой запылал дом. Другими словами, события — бегство, поиск, возвращение, мое молчание, кажется в течение нескольких недель, раны на груди, которым я отказывался дать какое-либо объяснение, — были достаточным поводом для того, чтобы не вспоминать более о незнакомце, а может быть, мачеха инстинктивно понимала то, что теперь, через много лет, стало ясно для меня самого: что письмо было лишь толчком. Таким образом, оно утратило всякое значение. Кстати: куда оно делось? Кажется, я его выкинул по дороге. Оно могло бы выдать меня, если бы меня поймали. Меня поймали, но письма уже не было. Вполне возможно, что оно выпало у меня из кармана, и я лишь подумал о том, что оно могло служить уликой. Ибо мысли, когда мы о них потом вспоминаем, нередко превращаются в нашем воображении в факты, и, следовательно, некоторые так называемые факты на самом деле были всего лишь мыслями. Что же было на самом деле? На самом деле письма не существовало.

Таким образом, возникает вопрос, в какой мере все случившееся следует считать действительным происшествием, а в какой — отнести на счет пресловутого «криза». Приезжал ли на самом деле этот человек? Ведь он тоже как будто согласился с тем, что его не существует, и, насколько я помню, никогда больше у нас не появлялся. То был призрак, однажды явившийся из туманных и гиблых мест, — чтобы сгинуть там вновь. Вскоре после этого началась война, и все окончательно потонуло.

ГЛАВА 8

Из чащи лет я смотрю на свою юность, как старцы на Сусанну. Странно и дико подумать, что это то самое тело, в котором я протащился сквозь все эти годы. Мое тело — вот единственное, что соединяет нынешний день с тем далеким и безымянным, о котором даже нельзя сказать, сколько их было, о котором только и помнишь, что это был душный облачный день без дождя и без солнца. Я стою перед створкой шкафа, спиной к

окну, и мое тусклое, окруженное серебристым нимбом отражение вперяется в меня сверкающим взором. Есть что-то постыдно-притягательное в этом свидании с чешуйчатым двойником. Вот, если угодно, замечательная черта эпохи, наложившей радикальный запрет на наготу, — ибо наша эпоха упразднила уединение. В коммунальном мире единственным местом, где вы могли остаться нагишом, была общественная баня. Никогда не существовало столь целомудренного общества, и следствием этого был особый градус чувствительности. Зал вздрагивал, как от удара током, когда вдруг оказывалось, что девушка моей мечты сидит в бочке с водой, откуда торчала ее прелестная головка, и дух захватывало при мысли, что произойдет, когда ей надоест сидеть на корточках. И верхом дерзости и отваги была гипсовая «Девушка с веслом» где-нибудь в Парке культуры, в бетонных трусах, забронированная лифчиком.

Из провала за мной шпионит мое «я» с тем же очарованно-обалделым выражением, с каким я вперяюсь в него, и вопрос, мучающий меня, — как я выгляжу, каков я? — остается без ответа. Я не в силах соединить части своего тела в единый образ и увидеть себя чужими глазами, скажем точнее: глазами незнакомой, слегка заинтересованной женщины. И я вижу только то, из чего я составлен: узкие плечи, грудная клетка словно плетенка. Несколько тонких белесых шрамов перечеркивают наискосок мою грудь. Длинный впалый живот и мальчишеские бедра. Что касается того, что именуют мужским естеством, оно у меня позорно маленькое: жалкий грибок выглядывает из темных завитков.

Звонок в коридоре врывается в мой слух — я застигнут на месте преступления. Тишина и снова звонок. Я открываю, полный стыда и смятения. На площадке стоит мачеха, держа за руку моего маленького брата Даню, в другой руке у нее сумка с картошкой. Она везет ее из Мытищ. Капельки пота, как роса, покрывают ее лицо, на губах пламенеют остатки помады, прядь волос выбилась из-под косынки, она отдувает ее уголком рта. Шествие по коридору втроем. Впереди я в майке и трусах, с тяжелой кошелкой, за мной плетется мой брат и бредут, шаркая, ее туфли. Наша комната, до невозможности загроможденная, заставленная мебелью, на столе швейная машина и гора кукол. Белый облачный день. Усталый малыш кричит на полу, стаскивая галоши. Мы избегаем смотреть друг на друга, всегдашняя неловкость

сгустилась и стоит между нами, словно перегородка из тонкого стекла — заденешь, посыплются осколки; мы обмениваемся незначительными словами; минуту спустя она исчезает, ее тяжелые шаги в коридоре, звук накинутого крючка, затем из уборной доносится шум воды. Она появляется, посветлевшая и умиротворенная. Мы все постепенно приходим в себя. Пометавшись по комнате, стянув через голову тесное платье, она облачится в пестрый халатик, который вернет ей энергию и уверенность, ровное и неколебимое чувство долга.

После долгих лет войны и разлуки моя юная мачеха все еще напоминала деревенскую девушку, круглолицую и крепконогую, и казалась много моложе моего отца. Эта разница с годами даже усилилась: отец старел и ветшал на глазах, а она молодела, что не могло не отразиться на ее отношении ко мне. Обрисовать это отношение было бы трудно, могу лишь сказать, что виной тому была, как мне кажется, не только присущая мне манера все осложнять. В нашей семье всегда был элемент чего-то не договариваемого до конца, существовала непроясненность, похожая на душный ватный день, не разрешившийся дождем. Некоторые темы, а значит, и целые области языка находились под запретом, и я думаю, что здесь была полная аналогия с обществом, где вдобавок существовал запрет выяснять, что именно находится под запретом. Например, ни разу — что, впрочем, легко объяснимо — не заходил разговор о фронтовой жизни моего отца, и я так и не знаю толком, где он воевал и при каких обстоятельствах был ранен. Вообще он не любил упоминаний о войне, не терпел патриотических радиопередач, с отвращением отцеплял и швырял в ящик буфета свои медали из дешевого металла, похожего на олово, когда оба они возвращались после долгих и, как всегда считалось, успешных хождений по учреждениям. И такой же запрет был наложен на таинственный сюжет их брака, заключавший в себе нечто священное и стыдное, подобно некоторым государственным секретам, не обсуждаемым, хотя и бывшим у всех перед глазами. Интересно, что они и вели себя так, словно мачеха не была женой и хозяйкой, а какой-нибудь белоцерковской родней — мой отец происходил с Украины — на ролях не то экономки, не то домработницы; они не целовались, не сидели рядом, и разговор их чаще всего имел вид коротких монологов, которые мачеха произносила перед отцом, останавливаясь, чтобы выслушать его молчали-

вый ответ. Ее робость — хорошо ли она приготовила, постирала, убрала — сочеталась с бесспорным первенством, которое принадлежало ей в нашем доме.

Странно сказать: я не придумал способа обращаться к ней. Называть ее мамой у меня не поворачивался язык; еще глупее было бы говорить ей «тетя», и к тому же напоминало бы постоянно о нашей ситуации. В итоге я не нашел ничего лучшего, как говорить ей «ты» в ответ на смиренное «Леня» или даже «сын», произносимое обезоруживающим грудным голосом, каким она умела говорить, жестокое «ты», выпирающее, как кость, и которое я тщетно старался скрыть, проборматывал и опускал где только можно. И ничто не выражало откровенней, чем это проклятое местоимение, этот злосчастный эрзац отсутствующего имени, ничто не выражало откровенней тягостную стеснительность, спеленавшую нас, как ватное одеяло. Глухое одеяло стыда укрывало нас от зоркого взгляда соседей, всегда склонных принять одну из двух сторон, словно мы в самом деле были враждующими сторонами, жалеющих больного отца и осуждающих мачеху, или, наоборот, жалеющих мачеху и осуждающих отца, как будто кто-нибудь непременно был жертвой другого. Стыд и необъяснимое чувство стыда (за что? и перед кем?) были баррикадой, за которой отсиживались я и мои родители, и так же, как скрывалось от всех, что она покупает продукты на рынке на деньги, вырученные от продажи тряпичных кукол (согласно официальной версии она отоваривала какие-то спецталоны, якобы получаемые отцом), так скрывались и мистифицировались наши семейные обстоятельства, наша неслаженность, наше необъяснимое неблагополучие, которое она преодолевала единственной бесспорно принадлежащей ей властью — властью любви. И только у одного человека все было в порядке, и он служил чем-то вроде рекламы нашей нормальной и счастливой жизни, человек, у которого была настоящая мать и настоящий отец: это был мой брат Даня, родившийся осенью 41-го года, в грозный месяц войны, когда все висело на волоске; с ним можно было вести себя естественно и свободно, можно было приласкать его, можно было шлепнуть. Тогда как во мне видели и своего, и не совсем своего, и, пожалуй, даже слишком своего, — некстати вымахавшего переростка, рядом с которым бросалась в глаза ее почти неприличная молодость.

ГЛАВА 9

Война окончилась победой. Я имею в виду войну, которую мачеха вела за возвращение нам довоенной площади в Лялином переулке. Эта война в канцеляриях, со своей стратегией и тактикой, отважными вылазками и терпеливой осадой, шла с переменным успехом всю зиму сорок четвертого года и часть весны, то есть в месяцы, непосредственно следовавшие за приездом моего отца, война, где он представлял собой осадное орудие, вроде бревна, которое раскачивают, чтобы ударить им в неприятельские ворота. Но никогда не было стопроцентной уверенности в успехе, и это, я думаю, было лишь частным проявлением некоего универсального закона.

Если бы меня спросили: какая самая характерная черта нашей жизни во все времена? — я бы ответил, не задумываясь: ненадежность. Заметьте, я не говорю безнадёжность. Но никогда и нигде вас не покидает чувство, что вы словно ходите по гнилому полу. И пусть вас не усыпляет кажущаяся неподвижность русской жизни: ничто на самом деле здесь не внушает доверия, ни вещи, ни люди, ни самые основы их существования; никакая теория не гарантирует прочности этих основ. Гигантская машина держится на веревочках и подпорках. И никто не поручится за то, что на следующем повороте у тройки не отвалится передок, не отскочит колесо и не покалечит прохожих: ведь так уже бывало. Пускаться на розыски метафизических оснований этой ненадежности нет нужды. В России метафизика сидит у вас на лестнице. История просит милостыню на углу, а по невыметенным улицам, мимо обалделых пешеходов, в черных автомобилях проносится абсурд. И на каждом углу вы слышите, как что-то трещит, чувствуете, как все шатается, и из всех щелей и прорех к вам заглядывает злодейский фатум. Где стол был яств, там гроб стоит; в любой день могут кончиться продукты. Исчезнут мыло и спички. Снег завалит дороги. Грязь затопит города. Ведь так уже бывало. Однако я замечаю, что вновь растекся мыслью по дереву; буду лучше продолжать.

Как уже говорилось, мой отец был демобилизован осенью 1944 года; к этому времени мы вернулись из эвакуации и жили на дальней окраине за Соколом, на улице Розы Либкнехт. Думаю, во всей округе не было человека, который мог бы припомнить, кто такая была эта дама или кто такой был этот гражданин. Название было

реликтом давно прошедшей эпохи. Что касается самой улицы, то она представляла собой пустырь между двумя рядами наспех оштукатуренных бараков, в одном из которых мы жили. Дальше простирался неопределенный пейзаж, пространство, заваленное обломками кирпичей, заросшее бурьяном, все это буграми спускалось к оврагу, а за оврагом маячили еще какие-то постройки. Там тоже шла своя жизнь, трепыхалось белье на веревках, раскачивались на шестах скворешники, но была огромная разница между нами и заовражными жителями, ибо мы обладали тем, чего у них не было. Мы обладали московской пропиской. Мы были римские граждане, а они — нет. Человеку других эпох будет трудно понять, что значило иметь прописку, он подумает, что пропиской назывался штамп, удостоверяющий, что вы живете в таком-то доме. На самом деле и дом, и вы в нем существовали оттого, что была прописка. Подобно Слову — создателю вещей, подобно имени, которое живет прежде своего носителя, подобно улыбке Чеширского кота, прописка была способна вести мистическое самостоятельное существование; вот почему обладать пропиской, живя в обмазанном глиной бараке, было бесконечно важнее, чем обитать в хоромах, но без прописки.

В этом бараке он разыскал нас. Отворилась дверь, и он вошел, неся фанерный чемодан с ручкой, которая была сделана из обрывка ремня и прибита гвоздиками, другой рукой он придерживал ляжку заплечного мешка. Он вошел и поставил вещи на пол. Был полдень, и стояла солнечная погода. В расстегнутой шинели, в выцветших серо-зеленых галифе и тупоносых кирзовых сапогах, он сидел на табуретке, так что полы шинели свисали до пола, и манил двумя пальцами малыша, но тот не хотел вылезать из своего угла между окном и диваном и смотрел на него не мигая; испуг и желание смеяться одновременно выражались на его лице. Затем тот, кто сидел на табуретке, повернул лицо ко мне, усмехаясь неживой улыбкой, и лицо это было как бы освещено только с одной стороны: одна половина улыбалась, а другая была мертва. Лоб был продавлен, а вместо глаза — темная складка с кустиком ресниц. В эту минуту с улицы донесся шум, и голос крикнул: «Машина!» Это была мусорная машина, приехавший раз в неделю вонючий фургон для собирания отбросов. Тотчас захлопали все двери, кто-то бежал по коридору, и брякала дужка. Отец повернул к дверям свое продавленное лицо, дверь распахнулась, и

мачеха в пальто, наброшенном на домашний халат, с голыми ногами, гремя пустым ведром, влетела в комнату и обхватила отца. Были последние ясные дни октября, на столе стояли тарелки с остатками еды, стояла бутылка, мой отец спал на диване, солнечный отпечаток окна лежал на полу, и Даня на корточках, перед раскрытым чемоданом, разглядывал диковинный немецкий трофей из фарфора: румяный кавалер в голубой треуголке обнимал сзади за талию стыдливую поселянку. Мачеха потом продала этого кавалера на Крестовском рынке за шесть кочанов капусты, и мы везли их через весь город на скрежущих санках под летящим снегом, по скользкой мостовой.

ГЛАВА 10

В апреле мы простились наконец с Розой Либкнехт, и несколько недель прошло в счастливой изнурительной суете отогревания старого очага, с которым у всех, кроме моего брата Дани, были связаны неувыдаемые воспоминания. Вещи хранят верность в разлуке. И не горестные утраты, а счастливые узнавания ожидали нас, когда, разомкнув челюсти ржавого замка, мы вошли в нашу опустошенную комнату, не грязный и бедный двор предстал моему взору, когда я выбежал через черный ход на крыльцо, а милый двор детства, где все тотчас вспомнило и узнало меня: и пожарная лестница, и след футбольных ворот на кирпичном брандмауэре, и остов снеготаялки, стоящий на том же месте, что и пять, и десять, и, может быть, сто лет назад. В комнате, где в наше отсутствие жил, по выражению мачехи, «цыганский табор», стояла железная печка, но кое-что уцелело, остались буфет и зеркальный шкаф; теперь к ним прибавилось то, что мы привезли из барака. Удивительным образом при общем продолжающемся упадке благосостояния количество вещей не уменьшалось, а росло.

Но она, эта комната, берегла и некую тайну. За косматой от пыли занавеской на антресолях лежали стопки и вороха нот, объединенные по углам целые оперы в старинных переплетах, темперированный клавир Баха, прелюдии и фуги Дитриха Букстехуде в переложении для фортепиано. Трухлявые романсы и революционные песни двадцатых годов... Красный Веддинг... Невозможно было придумать ничего более странного, безвоз-

вратно ушедшего. Я созерцал эти руины, погрузившись в какой-то транс, отряхивая пыль и копоть, между тем как Даня, стоявший у подножья стремянки, задрал голову, топал ногой и требовал, чтобы я сбросил ему что-нибудь.

Наваждение было недолгим. Со страниц бессмертных творений веяло смертью, сыпался прах; сыпались высохшие слюдяные трупики, все было усеяно, словно сыпью, бурыми пятнышками. За хрупкой коростой обоев дремало жуткое полчище. Так дремлет, ожидая своего часа, рать Фридриха Барбароссы в пещере горы Кифгейзер. Клопы перестали быть домашним приключением; их присутствие приняло исторические масштабы и обрело исторический смысл. Годы великих переломов, индустриализация и коллективизация совпали с эпохой небывалого расцвета этих животных, триумф социализма был и их триумфом. Война застала их на этапе нового прилива сил, как если бы они были наделены таинственным даром предчувствия близкого катаклизма. До тех пор пока существовали клопы, можно было с уверенностью предсказывать, что судьба, схватившая за шиворот страну, не отпустит ее. Исчезновение их, напротив, означало бы конец истории. Клопы обнаружили исключительную способность к экспансии, дело шло уже не о жалких антресолях. Они жили под всеми широтами, в батареях центрального отопления, в мебели, на потолке. Клопы ползали по проводу, на котором висел матерчатый абажур. Праздник Первого мая пришлось посвятить военным действиям — что было равносильно покушению на существующий порядок. В углу на керосинке булькала смесь гуталина, черного хозяйственного мыла и уксуса в кастрюле, которая в дальнейшем не употреблялась ни для какой другой цели.

«Даня, отойди прочь!» — вскричала мачеха. Крохотная, ставшая для него тесной кровать малыша и старая никелированная кровать родителей были атакованы с молниеносностью, напомилавшей нападение японцев на Пирл-Харбор. На вражеские гнезда обрушились струи кипятка. Затем была двинута в ход кастрюля. Дымные сумерки сгустились в комнате, у стены сох матрац, мачеха, с прыгающей грудью, взмахами голых рук гнала воду к порогу, выжимала тряпку и, сдувая волосы со лба, озидала поле сражения. Отец угрюмо курил в коридоре. Антресоли были пусты, не ведаю, когда это произошло: там была расстелена газета, и на ней одиноко стоял фанерный чемодан. Все остальное исчезло, возможно, из

соображений безопасности, ибо, кроме нот, там были и книги, грязно-серые политические сочинения баснословного времени, о котором не полагалось вспоминать. Однако у меня мелькнуло смутное подозрение, что соображения эти были предлогом для того, чтобы вынести прочь и спалить в кухонной плите какое-то иное прошлое. Что это было за прошлое? Я не успел задуматься над этим. День закончился, и настала ночь. Ночью же у них были другие заботы.

Я лежал посреди комнаты на раскладушке, имитируя дыхание спящего; зажмурившись, я пытался нырнуть в темный омут сна. Напрасно: меня тотчас выносило на поверхность. Что-то происходило, босые ноги неслышно опустились на пол, шаря ночные туфли. Я взглянул. Занавеска была отдернута, в полутьме на кровати смутно рисовались плечи и голова мачехи: она полулежала, приподнявшись на локте. Отца не было. Отец стоял у окна с пистолетом в руке и смотрел в белесую тьму. Дом был оцеплен. По двору крались темные фигуры. С трех сторон на крышах были установлены пулеметы. В переулке стояли крытые грузовики. А над головой раздавались шаги, это немцы ходили наверху в кованых сапогах, искали его. Мой отец повернул к двери свой единственный глаз, и туда же медленно повернулось его оружие. Его взгляд скользнул по моему лицу, он мог заметить, что я не сплю, но не обратил на меня никакого внимания. Шаги наверху затихли, это могло означать разное: что каратели ушли или что они затаились; может быть, они уже вошли в нашу квартиру и стоят за дверью. Озираясь, он ждал. Мачеха в длинной ночной рубашке сидела на корточках перед буфетом, наливала водку в граненый стаканчик и накапывала капли. Отец сидел на кровати, ему было холодно, он дрожал и стучал зубами. Она уговаривала его лечь, подробно доказывала, что они уехали. И в самом деле, с улицы донесся глухой удаляющийся рокот автомобиля. «Они во дворе, — сказал он, — куда ты дела пистолет?» Это был старый «ТТ» с просверленным стволом, он привез эту игрушку вместе с медалями и фарфоровым кавалером. Утром трещал будильник, и ночь казалась далекой и нереальной. Серая муть рассвета оседала в комнате, как в аквариуме. Отец спал, упершись в грудь подбородком, я видел его лоб с перламутровой вмятиной, и голая рука мачехи обнимала его за плечи. Некоторое время они лежали, по-видимому, не в силах очнуться. Внезапно мачеха вскакивала, придержи-

вая на груди рубашку, тянулась за лифчиком, мучалась с пуговками на спине. Ее движения становились уверенней, вскинув голову, со шпильками в зубах, она скручивала узлом волосы, затягивала на ходу поясок халата, и в синих глазах ее горела неукротимая решимость жить, двигаться и будить жизнь в других, в хнычущем малыше, в отце, который сидел на краю кровати, протирая свой загадочный глаз, и долговязом пасынке, чьи ноги торчали из продавленной раскладушки, упираясь в детскую кроватку. Я вылезал. Я стеснялся своих длинных тощих ног. На кухне мачеха умывала Даню, пригнув его голову над раковиной, как над кормушкой. Бледные тени соседей тянулись по коридору. Журчала вода в уборной. Радио распевало за стеной. Она возвращалась в комнату, жестом жрицы неся чайник и сковороду. Мальчик, словно кукла, поворачивался в ее руках, застегивающих пуговицы, завязывающих тесемки. Отец с поникшей головой тыкал вилкой в тарелку; «Пора, пора!» — лаял диктор. На двор с оловянных крыш низвергался потоп света, солнце сверкало в слюдяных глазницах чердаков. Радио пело и ликовало. Так мы жили.

ГЛАВА 11

Никогда я не вел дневника, но он существует и год за годом свидетельствует о том, чем я был; можно листать его, выхватывая здесь строчку, там абзац, но прочесть целиком невозможно, как невозможно обойти все улицы и переулки города. Чудовищный дневник моей жизни — вот что такое этот город под названием Москва, о котором я не могу сказать, хорош он или плох, безобразен или прекрасен: это письма моей жизни, вот и все; это мысли, люди, мечты и надежды, превратившиеся в карнизы и подворотни; и плестись по улице — все равно что перечитывать густо исписанную и исчерканную страницу. И только я могу ее разобрать. Теперь многие страницы этого дневника вырваны, громады новых зданий подобны чистым клеенным листам, на которых мне не о чем больше писать, остается ворошить то, что осталось. Москва, костлявый город нашей юности, как серое привидение, маячит перед глазами. Бесконечное лето тянулось, вобрав в себя и весну, и осень; календарь обманывал нас: то были не месяцы, а годы. Как стремительно уносилось назад время! И каким медленным каза-

лось существование. Целые годы пролетели между апрелем и ноябрем. Погибла адская Германия, но это было германское лето — по выпренной многозначительности его периодов, по медлительности переобремененного синтаксиса. Тогда, в этом нет теперь никакого сомнения, совершились главные события моей жизни. Однако должен был существовать некий центр времени, подобный ядру сферической вселенной, ибо точно так же устроена сферическая вселенная воспоминаний: чем ближе к центру, тем масштаб вещей крупнее; когда же был этот день?

Возле Кировских ворот, все знают, находится почтамт; последуйте за мной через мрачный каменный свод, мимо лесенки, ведущей в подземелье сортира, и мы попадем во двор, залитый лужами, заброшенный лохмотьями оберточной бумаги, а там крыльцо, узкая лестница, коридор, и чем дальше вдоль дверей, мимо урн, плакатов, доски с приказами, мимо спящих женщин с бумагами, с жестяным чайником, чем дальше, тем сильнее становился особенный запах этого учреждения — остро-безвкусный запах газетной бумаги, металлический привкус во рту и запах рук с лоснящимися черными пальцами. И чем ближе, тем отчетливей слышался рокот какого-то сложного производства. И, наконец, визжание вращающихся вальков, шорох транспортера врывались в слух, мертвенное сияние газовых трубок изумляло глаз, и голоса женщин в громадном помещении звучали гулко и слитно, как на вокзале. Голос чревовещателя объявлял из репродуктора:

«Поступает «Красная Звезда».

Поступала «Работница», поступал «Блокнот агитатора», в ярком сумраке упаковщицы в синих халатиках, с лиловыми лицами выстраивались вдоль конвейера, и на встречу им из дальних закоулков, качаясь и подпрыгивая, ехали кипы, перевязанные шпагатом. И девочки простирали к ним тонкие руки.

Скоро все свободное место возле конвейера и в клетушках загромождали тюки, повсюду валялись обрывки оберток, руки работниц проворно раскидывали по ячейкам газеты, блокноты, журналы, складывали, заворачивали, швыряли на конвейер хрустящие пачки, бумажные и джутовые мешки. Из люка в потолке съезжали на широкий лоток мешки и пачки из второй экспедиции. «Девоньки, поживее, а ну, налетай!» — кричала Тамара, переступая крепкими ногами, словно молодая лошадь,

среди сыплющихся пачек и подняв к люку залитое лунным светом старое лицо. Все это надлежало рассортировать, записать в ведомости и спустить в нижний люк.

«Девоньки» — это были три бобылки-старухи, проработавшие здесь всю войну, Павлик Цацулин и я. Все вместе мы составляли, под начальством Тамары, коллектив сортировки. Холмы мешков и пачек громоздились вокруг нас, плыли по конвейеру к грязному положу из мешковины, прикрывавшему люк. Оттуда, словно из преисподней, тянуло сыростью, холодом Стикса. Оттуда гремел мат. Внизу находилась отправка. Там метался по платформе, бранясь и кашляя, инвалид на алюминиевой ноге, лил дождь, мешки летели и шлепались в темные недра фургонов, где их подхватывали грязные мускулистые руки, тяжелые автомобили, урча и сотрясаясь, выезжали один за другим из ворот, в брызгах луж, наперерез трамваям, катили вниз по улице Кирова, через Орликов переулок, мимо фабрики «Большевичка», а там, за площадью вокзалов, в дымах и туманах уже стояли, дожидаясь, составы. И длинные, лоснящиеся от дождя вагоны с облупившимися гербами везли нашу продукцию, бумажный груз в далекие области великой страны, над которой не заходило солнце, над которой плыли созвездия, над которой клубились тучи и Божье око, склоняясь, изредка роняло слезу.

Это был странный товар! Никто из тех, кто упаковывал, перевязывал, сортировал, записывал в ведомости эти кипы бумаги, не относился к ней иначе, чем к бумаге, как будто редакции и журналисты существовали только для того, чтобы сделать ее пригодной для сортировки и записывания в ведомости, и леса падали для того, чтобы было что развозить грузовикам и вагонам; однако истинный смысл газет был иным. Всем своим существованием газеты опровергали центральный тезис государственной философии о том, что бытие определяет сознание. Ибо здесь сознание творило свое собственное, автономное бытие, не имевшее ничего общего с действительным.

И люди это знали. Люди, которые выстраивались по утрам в очередь перед киоском, не ожидали найти в газете чего-либо, что имело бы отношение к их действительной жизни. Это было бы так же странно, как ждать от оперного певца, что он споет частушки. Газета жила другой жизнью, которой никто никогда не видел и знал, что не увидит. Слова, которые она употребляла, имели

другой смысл. Газета говорила: Народ. Но каждый понимал, что речь идет вовсе не о том народе, который бродит по улицам и толкается в очередях. Газета говорила: Страна, и всем было ясно, что это совсем не та убогая и разоренная земля, на которой все они жили. Она произносила — Победа и другие праздничные слова, но они означали не ту страшную, с выколотыми глазами победу, которая торговала зажигалками на Тишинском рынке и стучала деревянным обрубком по вагонам пригородных поездов, сиплым голосом пела песни и протягивала шапку. Газета говорила: Вождь! — и воображению являлся человек, который существовал в особом пространстве, в византийской вечности, наподобие золотого неба икон; представить его себе ходящим по земле было так же невозможно, как встретить в переулке Георгия Победоносца.

Отсюда вытекал особый статус действительности: действительность превратилась в постыдную тайну. Ибо не может быть двух миров, и люди это знали. Они знали, что их жизнь носит нелегальный характер. У каждого было чувство, что он со своим жалким бытом, со своими незаконными бедами и заботами — какой-то ненужный шлак, в то время как вся страна жила радостной героической жизнью. В конце концов они соглашались признать, что они выдумка вражеской пропаганды, что их попросту нет! Но они знали и кое-что другое: что как бы ни было плохо, может быть еще хуже. Это было законом их жизни. Предел достижимого благосостояния был близок, тогда как пределов возможного ухудшения никогда нельзя было предвидеть. Люди заключили соглашение с государством: они помалкивают, а оно разрешает им жить, как они живут, на птичьих правах.

ГЛАВА 12

Павлик Цацулин ехал с фронта к родным на Урал, по каким-то причинам застрял в Москве и жил у дяди, капитана госбезопасности. Потом как-то само собой оказалось, что никакого дяди не существует, а ночует он на вокзале; женщины ходили к начальству, в конце концов Павлику разрешили ночевать в экспедиции, временно, пока не будет закончен ремонт в общежитии работников связи — который, правда, еще не начался. Ночью Павлик лежал на пачках со вчерашней

почтой или на столе в кабинете начальника экспедиции, а на рассвете отправлял печать на ранние утренние поезда.

Таким образом, его рабочий день длился до обеда, после чего он уходил «по делам», которых у него не было, или покуривал где-нибудь в холодке, разувшись и лежа перед своими сапогами, на которых были развешаны черно-бурые портянки. Павлик Цацулин ходил в рыжей кургузой шинели без хлястика, в гремучих кирзовых сапогах, на груди у него бренчали медали, он был худ, прыщав, голубоглаз, с рыжими ресницами и рыжим пухом на щеках. В полдень радио объявляло перерыв, мы стояли на галерее в большом здании почтамта, внизу под нами кишел людьми почтовый зал. Мне нужно было обедать, Павлику пора было идти по делам. Мы мешкали. Наконец на другом конце показались две девушки из военной цензуры, высокая и низенькая; завидя нас, они пошли в ногу, глядя перед собой и подрагивая одинаковыми прическами, — так войска меняют шаг, проходя мимо трибун.

Павлик вытащил из ветхих штанов коробку «Казбека».

«Я с ней в ресторан ходил, — сказал он, имея в виду высокую, которая нам обоим нравилась. — Пиво пили. Закурить хочешь? Ну, я пошел».

В коробке оказался вместо папирос самосад. Павлик свернул огромную козью ножку, и подковки его сапог загремели по каменному полу. Из экспедиции вышла Тамара. Мы спустились по служебной лестнице и вышли на мокрую, шумную и толкучую улицу Кирова, в плеск луж, шорох галош и гуденье автомобилей. Тамара рассказывала:

«Соседка у меня больная, рак у нее или что».

Оказалось, что в воскресенье Тамара ездила на Тишинский купить что-нибудь для соседки. Там она видела Павлика Цацулина. Павлик торговал газетами и журналами. Он стоял с пачками в обеих руках и выкрикивал: «А вот кому Британский Союзник?»

Тамара хотела ему сказать: что ж ты, паразит, делаешь? Ты нас всех под монастырь подводишь! Но не решилась.

«Лучше ты ему скажи. Может, у него совесть проснется».

Так шли мы в толпе прохожих, и машины с плеском и шелестом проносились мимо с обеих сторон — по мосто-

вой и в темных стеклах витрин. Тамара была невысокая плотная женщина лет сорока. Ее шаги мелко постукивали рядом со мной. Нас толкали, мы расходились, пропуская встречного, и снова шли рядом. Впереди оказался кособокий переулочек, где мы должны были распрощаться. Она жила где-то поблизости, а я направлялся в столовую. В кармане у меня лежали два талона на «второе горячее», и я различал необъяснимым чутьем за два квартала доносившийся оттуда запах мучной подливки и пригорелого картофеля. Голос Тамары раздавался рядом:

«Я твою Пашеньку давно раскусила, и медали он себе купил, это я тебе точно говорю... Двадцать лет Красной Армии, эва куда! Там же и купил... Там все продается. Я сама видела. Хочешь, орден Ленина, что хочешь...»

И тут произошел, не могу понять каким образом, неожиданный и нелепый случай.

Из кривого переулка выскочил «виллис» — юркая коробочка, завизжал тормозами, затем откатился, вильнул в сторону, газанул и исчез в потоке машин на улице. Тамара осталась лежать на мостовой.

Я подскочил к ней.

Она открыла глаза.

«Ох, мамоньки, — сказала она. — Страсть-то какая. Никак жива?»

«Что же вы... как же вы...» — бормотал я.

«О-ох... И не спрашивай. Сама не знаю».

Вокруг нас стал собираться народ. Подошел старичок в картузе и белых усах.

«Вам надо сделать укол. Тут есть больница».

Вероятно, он имел в виду поликлинику на противоположной стороне, она находится там по сей день. Перед входом, на тумбе, лев, похожий на ребенка, сидящего на горшке, обнимает лапой каменный щит с гербом, должно быть, давно и бесследно сгнувшегося на чужбине рода.

«Ну да еще, — сказала Тамара, поднимаясь. — Еще мне уколов не хватает. Авось, до свадьбы заживет».

«Скажите ей, — сказал старик, — что ей не о свадьбе думать надо. Скажите, что у нее может начаться столбняк».

«Чего?» — спросила Тамара.

«Столбняк».

«Ох, — простонала она, — Леня, милый. Голова-то как болит: как бы сотрясение мозгов не вышло».

«Вы не можете так идти. Я за вас не ручаюсь».

«Ладно, дедуля. Иди по своим делам».

«Тогда, — сказал старик, — придется вызвать «Скорую помощь»».

«Че-го? — спросила Тамара, нахмурясь. — «Скорую помощь»?.. Бог подаст! — рывкнула она. — Много вас, помощников!.. А вы чего стоите, нечего на меня глазеть. Расходись! Леня, милый, — забормотала она, — пошли отсюда. Пошли скорей».

«Видал? — шептала она, уцепившись за меня и сильно хромая. — Кто ехал-то? Небось, не заметил, а я сразу заметила. Голубые фуражки! Вот то-то. Ты, Леня, как эти фуражки увидишь, чеши от них подальше и не оглядывайся. И старичок этот... хрен знает кто. Может, подкупленный».

ГЛАВА 13

Обнявшись, точно двое забулдыг, мы ввалились в полутемную коммунальную прихожую; узкий коридор вел в глубь квартиры, одна из дверей была открыта, и оттуда сочился дневной свет. Играло радио. Слабый голос крикнул:

«Кто там?»

«Свои, Кирилловна, не бойся... Тут парень меня проводил. Веришь ли, под машину попала. О-ох, мамоньки! Нет, видно, есть Бог на свете».

В конце коридора находилась кухня, лилась вода из крана, и шаркали шаги Тамары. Дверь ее каморки была напротив кухни. Я увидел никелированную спинку кровати, белое покрывало, внизу кровать была оторочена кружевным подзором. Белый, как бы зимний свет струился из окна сквозь накрахмаленные занавески, и в комнате стояла дремотная тишина. На стене стучали ходики.

В этой комнате была своя достопримечательность, которую я сразу же опишу, хотя она отнюдь не представляла, как говорят в таких случаях, художественной ценности — рыночное изделие, довольно распространенное. То был какой-то странный фокус живописца, почти кощунственный эффект зеленовато-зыбких тонов, — если только за ним не скрывался особый замысел. В темном стекле, за призрачным отражением моего собственного лица, как будто поднявшееся со дна, стояло лицо с каплями крови на лбу и закрытыми глазами.

Я пригляделся. Постепенно веки стали прозрачными, и за ними открылись водянистые глаза. Эти глаза мерцали, и заволакивались, и снова мерцали. Он смотрел и не смотрел.

«Что, красивый у меня образ?»

«Угу».

«Это бабки моей образ. Ей барыня подарила. Ладно, — сказала она, — поглядел и хватит. Он не любит, когда в глаза смотрят».

«Как это?» — спросил я.

«А вот так, не любит и все».

Я спросил: как же на него молятся?

«Почем я знаю? Вот так и молятся, на лоб смотрят. Али в губки».

«А вы?»

«Что я?»

«Вы молитесь?»

«Много будешь знать, скоро состаришься».

Она стояла с табуреткой, я мешал ей. В носках и домашнем халате Тамара казалась совсем маленькой. «Ну-ка, голубь...» — пробормотала она. Она поставила табуретку у окна, села и подобрала полу халата. На полной белой ноге алела широкая ссадина, но крови не было. Кожа была прохладной.

«Не так, — сказала она. — Конец бери в ту руку, а этой мотай. Не бойсь, какой же ты солдат?.. О-о! Полегче, голубь».

Обматывая бинтом ногу, я дошел почти до паха, закрытого халатом, она взяла у меня бинт, оторвала зубами и закрепила конец.

Спohватившись, я взглянул на часы. В тесной комнате стоял белый сумрак. Может быть, за окном уже падал снег. В этой комнате с белеющим на стене отрывным календарем, с чистыми полуистлевшими половиками, с высокой белой кроватью что-то происходило со мной, я почувствовал необъяснимое оцепенение, словно цоканье ходиков было только видимостью бодрствования, мнимым движением времени.

«Они спешат. Как-нибудь отбредаемся, скажешь, в больницу меня возил... Чайку со мной выпьешь?»

Я не помню, слышал ли я этот вопрос или мне показалось. Потому что это мог быть совсем другой вопрос.

Снег сыпал за занавеской.

«Голова как чугун», — пробормотала она.

Разумеется, у нее болела голова, у нее могло быть сотрясение мозга, и она озябла оттого, что долго мыла ногу холодной водой. Разумеется, ей нужно было лечь. Она складывала покрывало, расправляла и встряхивала одеяло, раскладывала подушки, радио мурлыкало в квартире, — все это я слышал, не оборачиваясь; потом она подошла ко мне сзади и, обхватив меня, прижалась щекой к моим лопаткам.

«Худющий-то, господи... У тебя мать есть?»

«Есть», — сказал я.

«Счастье какое, — сказала она, — что война кончилась. У меня сын был такой, как ты. И тебя бы убили... Это уж точно... Еще немного, и поминай как звали... Тебе сколько лет, семнадцать?»

«Там чайник кипит».

«Леший с ним».

Потом она сказала:

«Ну подиними».

Я пошел, снял чайник с керосинки, потушил огонь и вернулся.

«Куда поставить?»

«Да хоть куда, — сказала она, — вон на стол поставь».

Я поставил чайник на стол.

«Ты не бойсь, — шептала она, отколупывая толстыми пальцами пуговицы у меня на груди, — когда-нибудь да надо, так уж Бог велел... Так уж положено... А со старой даже лучше. Старая все поймет, всему научит. Со старой не стыдно... Голубь ты мой...»

Ходики неустанно стучали в моих ушах, пело радио, белел календарь, и снег сыпал за окнами, и шумел дождь, и странно, что я запомнил эту комнату лучше, чем то, что в ней произошло. Никакого чувства, никакого наслаждения я не испытал; она еще билась и стонала, когда со мною уже все было кончено; но сейчас кажется, что это тянулось невероятно долго.

Женщина от рождения знает то, что ей предстоит, это знание достается ей от прабабок, столько раз зачинавших мужчину в своем теле, что его плоть кажется им заблудившейся частью их собственной плоти; и, соединяясь с ней, они не обретают ничего нового. Поэтому девственность — это просто разлука, а долгая разлука как бы возвращает девственность.

Он же не ведает ничего; его память не простирается дальше его детства. Если женщина чувствует себя наследницей длинного ряда девственниц и матерей, то он

— один на всем свете и принужден сам отвоевывать себе прошлое и будущее. Блуждая, как слепец, по чужой земле, он натывается на женщину. И ему кажется, что он прозревает. Ему надобно оправдание, оправдание своей жизни, необходим смысл, — тот смысл, который не нужен женщине, потому что она сама его воплощает; у него своя теология, отличная от теологии женщины, которая видит себя заместительницей Бога на земле, между тем как ему предстоит всю жизнь сводить счеты с Богом. И вот рождается надежда найти смысл своей жизни тут, на дне ее глаз, отражающих белизну неба, в разверстой воронке, в этой блистающей чаше тела, устроенного наподобие цветка. Это был долгий, изнурительный путь — словно битва с драконом, медленно отползавшим в ущелье. Длинная и извилистая тропа привела его в пещеру. Его дыхание прерывалось, зеленые круги плыли перед глазами, когда во тьме, в звоне падающих капель и мерцании светляков, полумертвый, он наконец достиг сокровища. Это был смысл, сердцевина смысла. Но лишь только он завладел им, или только подумал, что владеет, как вожделенный подарок исчез, почва дрогнула под ногами, и голос из недр, громовой шепот, прозвучал у него в ушах: «А теперь уходи». Так он понял, что был только средством.

ГЛАВА 14

Я увидел следующий сон — улицу, тусклый ненастный день и череду автомобилей, ехавших не обгоняя друг друга, точно ехали не они, а мостовая; на тротуарах теснились люди, и было такое впечатление, что они тоже движутся вровень с машинами. Все блестело от измороси; мостовая и крыши автомашин серебрились, как рыба чешуя, и лица шоферов белели, неразличимые, за стеклами; все текло, плыло и медленно уносило между двумя рядами высоких домов в призрачный просвет, к площади Дзержинского, над которой клубились серые облака. В этом сне я отсутствовал: меня не было.

Меня не существовало, и тут мне пришло в голову, что таким и должен быть мир, такой должна была выглядеть улица, знакомая мне с детства, если бы я вообще не рождался на свет: запруженная машинами и прохожими, тесная, как ущелье, с вывесками учреждений, с темными,

как омуты, стеклами магазинов, в которых колышутся зонты и ноги, — но мертвая и беззвучная, как в немом кино, как бы снятая «оттуда», в сумеречном свете моего небытия; я подумал, что это я, несуществующий, смотрю на эту улицу, но в эту минуту я не был мыслящим и осознающим себя существом, но был самым этим чувством — неопределенным, не умеющим назвать себя ощущением жизни; я был никем.

Это продолжалось недолго: открыв глаза, я вспомнил, кто я такой. В комнате была по-прежнему белая тишина, и мерно щелкали ходики. Я продрог; времени оставалось немного, я должен был проводить ее до угла и там расстаться с ней. Я полагал, что бригадир нашей экспедиции мужчина уже потому, что слово «бригадир» мужского рода, однако Тамара была женщиной, и я подумал: как хорошо, что мачеха не видит нас вдвоем, это было бы для нее неприятным сюрпризом. Между тем она говорила, смеялась, губы ее шевелились, и я кивал ей в ответ. Я не мог отделаться от чувства, что меня нет на свете и все это лишь призраки моего воображения. Наконец я понял, о чем она говорила, речь шла о Павлике, о том, что он торгует газетами на Тишинском рынке, чтобы скопить деньги на билет. Он собирался бросить ее с ребенком; речь шла об измене и предательстве. Значит, подумал я, она и с Павликом тоже? И я представил себе, как она привела Павлика в эту комнату и как это у них получилось. Обдаваемые брызгами, мы приближались к переулку, и она торопилась досказать свою историю, потому что на углу ее должна была сбить машина; так и случилось, не успела Тамара договорить, как военный автомобиль, юркая коробочка с двумя ведущими осями, передней и задней, проехала над ней.

Я смотрел на нее с недоумением. Я почувствовал, что забыл, что было дальше, и пока я не вспомню, она не поднимется с мостовой. Вокруг начал накапливаться народ, к нам протискивался запыхавшийся старик с белыми усами, а я все еще стоял, напрягая память; по-прежнему шелестел поток машин, толкались зонты; мы находились в пространстве воспоминаний. Когда говорят, что воспоминание — это реванш, который мы даем всепоглощающему времени, это надо понимать в особом смысле, это совсем не значит, что мы способны консервировать прошлое, хранить его в своем мозгу, как в рассоле, уберегая от гнилостных микробов времени. Память не есть фиксация прошлого. Иначе жизнь превратилась

бы в бессмыслицу, мы убедились бы, что время — единственное, что может сцепить весь этот хаос встреч, разговоров, минутных дел, плывущих друг за другом, словно обломки снесенных строений, и наше «я», обалделый зритель, едва успеваешь провожать глазами этот мутный поток; в таком случае память была бы просто дурной копией времени. На самом деле память — это победа над временем: быть может, намек на возможность жить в вечности, ибо что же такое вечная жизнь, как не жизнь, исполненная смысла и гармонии, но вне времени. Воспоминание не меняло лиц и событий, не приписывало людям того, на что они не были способны, но оно прозревало в событиях смысл и связь, более глубокую, чем связь времени; воспоминание демонстрировало свою высокую функцию оправдания жизни и устанавливало внутренний вектор движения событий, отличный от вектора жизни. Все было согласовано в эпизодах ушедшего прошлого; история преодолевалась, уступая место иной структуре. Вот почему канувшие в пропасть события оставили немолчное эхо в ушах и образы заурядных людей виделись окруженные как бы светящимся оком. Я подбежал к ней, она встала, и мы направились в глубь переулка. Случившееся сблизило нас — вот во что, собственно, вылился этот эпизод. Асфальт сменился булыжником, затем исчезла и булыжная мостовая, улица превратилась в хаос повалившихся заборов, поломанных палисадников; мы обходили лужи, пробирались под веревками с бельем; и чем дальше мы шли, тем она становилась грузней и неповоротливей и тяжело висла на моей руке. На крыльце сидел ребенок, глухонемой, примерно того же возраста, как мой брат Даня, может быть, это он и был, и строил из кубиков дворец. Мы вошли. Голос больной соседки спросил: «Кто там?» После этого я очутился в комнате у Тамары.

Это была та же комната, выцветший половик, ходики, то же лицо с венцом из колючек над тонкими бровями и зеленоватыми провалами глаз, лицо человека, которого никогда не было и который был, который смотрел сквозь опущенные веки; мне не нужно было вспоминать, это была та же икона и та же самая комната, я находился в ней наяву. Тамара зашевелилась рядом со мной, я снова закрыл глаза, снова открыл; ее состояние меня тревожило, я догадывался, что случившееся на улице было только поводом, чтобы проводить ее домой, ибо готовилось неотвратимое. Я опоздал в столовую, опаздывал на

работу. Но теперь нечего было и думать о том, чтобы оставить ее. Стекло поблескивало на столе, белел календарь, часы лихорадочно отстукивали секунды, но я понимал, что это лишь видимость, холостой ход механизма и стрелок. Существовал ли я? Или только готовился жить и меня еще не было? Неслышно отворилась дверь, на пороге стояла Тамара, она лежала рядом со мной, и она же стояла там, на пороге, в шерстяных носках, маленькая, как еврейская девушка, тот самый подросток с огромным животом, распиравшим ее, и маятник колыбался и гремел, как поезд, в котором нет ни одного пассажира. Я не мог произнести ни слова, мне было тяжело смотреть, как она мучается, кровь текла у нее по ноге; она мычала и гладила толстыми закругленными пальцами мою кожу, которая была одновременно и ее кожей. Может быть, это была волна желаний, медленно поднимавшаяся из пучины нашего общего сна и накрывшая нас с головой, — пробудившись первой, она, возможно, пыталась расшевелить и меня, неподвижно лежащего на дне ее чрева. Она задвигалась и, вздымаясь, выгнулась почти дугой, хриплый стон вырвался из ее сжатых губ... я почувствовал, как она уперлась ступнями в кровать, и мощная сила повернула меня и стала выталкивать наружу. После нескольких толчков она шумно вздохнула, распласталась, и все было кончено. Я лежал, ошеломленный, между ее ног. Это были роды.

ГЛАВА 15

Мне был задан вопрос: читал ли я «Молодую гвардию» Фадеева? Увы, я даже не слышал о существовании такой книги. А писателя такого слышал? Я пожал плечами... Это могло значить и да, и нет. Сверкающие очки, за которыми не было видно глаз, остановили на мне свои блики, и голос, каким могла бы заговорить выбеленная известкой стена, спросил, почему я избрал литературный факультет. Снова дурацкое пожатие плечами, взгляд, упертый в стол. А как насчет классиков, письмо Белинского к Гоголю? Письмо к Гоголю я помнил. На этом вступительное собеседование кончилось, меня послали выносить мусор в общежитии на Стромынке. Фадеев был отмщен.

Полагаю, что мне нет надобности описывать университет, каменные врата и львиные головы, которые кра-

суются здесь, должно быть, еще со времен московского пожара. Тусклый масляный свет, узкий коридор в одно мгновение переносил вас из солнечного сентябрьского дня и дребезжанья трамваев в призрачный мир, где теплились огоньки ушедшей эпохи, где жили реликты ее языка, где дышал ее благородный прах.

По этому коридору шел с тросточкой Герцен, в соломенной шляпе, под ручку с Огаревым. По нему везли чахоточного Станкевича, укутанного пледом, и электрические лампочки точили маслянистый свет на его напомаженные кудри. И вот теперь этот тесный коридор, где двери отворялись в классные комнаты, только вместо парт там стояли столы и стулья, был запружен поющей, воркующей, жужжащей, шелестящей толпой девушек, одних девушек!

Это была сплошная волнующаяся масса. Это был потоп завивок и причесок, разноцветных платьев, прозрачных блузок, туго стянутых лифчиков, нежная испарина подмышек, шорох и цокот диковинных голенастых птиц, это было шествие одиннадцати тысяч дев, двумя потоками влекущихся навстречу друг другу по коридору; эфирный ветер веял над этой толпой, аромат неумелой косметики, витал запах пота, волос, утюга и дешевого маникюра. Втянув голову в плечи, вдоль стены протискивался инвалид, подпираемый костылями. Издалека виднелась гимнастерка фронтовика, затертого, как корабль во льдах. Но то были фронтовики и инвалиды. А я? Каким образом я, здоровый парень, угодил в этот женский пансион? Подавленный, окоченевший от стыда, я брел наугад среди гомона и трепыхания платьев, мне было нехорошо, словно я надышался ядовитым благоуханием цветов. Я чувствовал себя дезертиром на запретной территории, где настоящему мужчине не место.

Я укрылся в уборной. В мутном солнечном луче, падавшем из замазанного известкой окна, кучка мужчин стояла тесным кружком, спаянная молчаливой солидарностью презираемого национального меньшинства. Издали зазвенел и прокатился по коридору звонок. Склонив головы над заплыванной урной, они все еще доцеловывали, досасывали свои окурки. А за дверью журчали голоса, стучали туфли опоздавших, редела облаков летучая гряда. Нелепый мотив вертелся у меня в голове: «Мы летим, ковыляя во мгле». Будущее стояло в двух шагах. Быть может, оно должно было наступить завтра; быть может, уже сегодня.

ГЛАВА 16

Мелодии провожали меня всю жизнь, как рой мошкары. Подобно многим людям, не способным к музыкальному творчеству, я обладал навязчивой музыкальной памятью: эта память взяла надо мной исключительную, неестественную власть. Мелодии превратились в энграммы памяти. Но это память о том, что не сбылось. Вот в чем парадокс! Музыка мумифицирует будущее. Или я уж не знаю, как это назвать. В простой комбинации нот зашифрован проект, который стал воспоминанием, так и не осуществившись. Заметьте, что это свойство не зависит от ее качества. Волшебный рог Оберона имеет не больше прав над памятью, чем музыка балагана. Как будто пестрая, увешанная погремушками колымага джаза только и ждет за воротами, чтобы с громом и дребезгом выехать снова навстречу этому мифическому будущему, и трубный глас румбы возвестит о любви, и мужественно-блудливый голос пробормочет в пластмассовый рупор гимн ночных бамбардировщиков: «Мы летим, ковыляя во мгле. Мы летим на последнем крыле!»

Занятия начались. Я помню фразу в грамматике Коха и Кэги: Ἡ ἐπιτομή μὴ πηγή ἐστὶ τῆς σοφίας, ἀλλὰ οὐ τῆς ἀρετῆς. Что означало: «Наука — источник мудрости, но не доблести». Славные окаменелости античного глубокомыслия, питательные сухари, с которыми надлежало двинуться в путь! Одиннадцать учениц сидели за длинным столом, по двое над книжкой, вода пальцами по строчкам, лишь последняя осталась без пары и была вынуждена довольствоваться моим обществом, доставлявшим ей очевидные неудобства. Не лучше себя чувствовал и я. Учебник лежал между нами, словно тарелка, куда каждому приходилось тянуться со своей ложкой.

Очередь дошла до моей соседки, и она начала читать свою фразу громко и старательно, как актриса, вызубрившая свою реплику, но тотчас сбилась, начала сначала и опять сбилась, старичок-доцент ждал, поблескивая стеклышками пенсне, но было ясно, что она все забыла, ничего не знает, не понимает и не может прочесть ни одной буквы. Я шепнул ей подсказку, она не слышала. Рука ее с облупившимся маникюром судорожно теребила прядь на виске. Она топталась на берегу, десяток греческих слов, точно скользких камней, по

которым ей предстояло перебраться через поток, внушали ей непреодолимый ужас. А на той стороне безмолвно блистал стеклышками педагог. И тогда я взял ее за руку и повел, а учитель с того берега протянул ей свою руку; между ним и мной возникла солидарность мужчин, заведомо сильнейших, я подсказывал громким шепотом, и учитель не возражал, он лишь кивал головой, когда она повторяла за мной род, число и падеж: ибо фразу требовалось разобрать, как в школе; так она добралась до конца. Оставался я, последний за столом. Но учитель уже оценил мои знания и доставал из сюртука почерневший серебряный портсигар, набитый махоркой. Звон колокольчика проехал по коридору, точно игрушечная пожарная команда. Ученицы встали, одергивая платья, и вышли одна за другой в коридор. Сумка соседки осталась висеть на стуле; старый учитель слюнил самокрутку, словно Пан пробовал свою флейту: я присел на подоконник, посматривая на разогретую солнцем Манежную площадь, и мы оба молчали.

ГЛАВА 17

Перед оградой Старого здания на асфальте сидел человек, несомненно игравший какую-то роль в моей жизни, так как он был одним из трех носильщиков, которые вытаскивали гроб. Иначе говоря, он был призраком, в том смысле, как я понимаю это слово: одним из тех людей, с которыми мы встречаемся время от времени, чтобы в следующую минуту забыть о них навсегда, и это «всегда» может длиться долгие годы, после чего они являются вновь. Они как кометы, которые возвращаются, описав неведомый путь; они прошивают время и приходят в другую эпоху, в образе других людей, но я-то знаю, что это один и тот же человек, как тот еврей, который отказался помочь Спасителю, сказав: «Ступай своей дорогой», — и с тех пор ходит сам. Теперь он вытаскивает гроб из автобуса. Годы не изменили его, пожалуй, он даже выглядит моложе.

Он сидел на асфальте, и ветер шевелил седые космы вокруг его черепа, он был в очках, перевязанных ниткой, и читал толстую книгу. Кепка с медяками лежала перед ним на земле. А мимо шагали, цокая подковками, сапоги мужчин, шаркали калоши стариков, мелькали легкие ноги женщин. Однажды ветер стал листать Библию, если

это была Библия, ветхие страницы полетели вдоль тротуара, один листок долетел до угла, откуда с визгом и скрежетом выворачивал трамвай, и попал под колеса. Но когда я поднял искромсанный лист, оказалось, что на нем ничего нет, словно колесо стерло с него текст. Я вернулся. Но нищего уже след простыл.

ГЛАВА 18

Люди моего возраста помнят, что трамвай шел по улице Герцена и сворачивал в обе стороны, к Охотному ряду и к Замоскворечью. Если бы нужно было описать эти места, я перечислил бы все до последнего камня. Однако в этом нет надобности. По другую сторону трамвайной линии — теперь ее уже нет — находится Новое здание, так оно по крайней мере называлось в наше время; внушительный грязно-белый фасад в классическом стиле, а перед ним в чахлам сквере без единого деревца возвышался замаранный птицами монумент отца русской науки. Монумент был достопримечательностью особого рода. Ваятель изобразил отца науки в символической позе, как бы готовящимся оплодотворить родную ниву животворным семенем знания. Склонив на плечо круглую гипсовую голову в белых сардельках парика, он опирался левой рукой о глобус, а в правой держал то, что по всем признакам не могло быть ничем иным, как детородным членом. Дерзайте ныне ободренны. Фокус был известен всем студентам. Было известно место за оградой, откуда открывался вид на мастурбирующего кумира. На самом деле это была астрономическая труба, упертая в бедро.

Полюбовавшись Ломоносовым, входили в ворота, обогнув сквер, поднимались по ступеням, входили в сумрачный вестибюль, а там впереди белела широкая лестница, на которой высились статуи вождей. И совсем высоко, над двумя ярусами колонн, выкрашенных под мрамор, над балюстрадой, за которой торчали головы мальчиков и девочек, над приплюснутым третьим этажом светлело, белело, холодело в железном переплете стеклянное небо. Собирался дождь. Кончилась лекция в Коммунистической аудитории. Толпа текла по лестнице. Призрачный свет наполнил храмину с розово-серыми колоннами и кумирами из алебаstra, к которым опасно было прислоняться — они пачкали мелом. Гул голосов

заглушил все звуки. А я стоял на лестничной площадке, как бы погруженный в раздумье, но на самом деле дрожа от нетерпения, неизвестности и робости: ибо наука — источник мудрости, но не... Я поджидал свою соседку.

Она сошла по боковому маршу, как чужестранная гостья по трапу корабля, и, не сказав друг другу ни слова, мы пошли вниз. Это была первая удача, первая встреча, она произошла как бы сама собой, и вместе с тем было ясно, что не зря мы встретились здесь на лестнице. Тончайшая химия узнавания требовала постепенных переходов. Но меня не покидала тайная трусость, это была обыкновенная трусость мужчины, боязнь «влипнуть». Тайный голос предупреждал, что с явлением этой девушки моя жизнь изменится. Чтобы дать ей хотя бы приблизительную характеристику, скажу, что рядом с ней умирала музыка. Музыка никла и увядала, как никнут цветы под прямыми лучами, ибо в ней все было ясно и светло, в ее движениях не было ничего зыбкого, сомнительно-подразумеваемого, ничего двусмысленного; смысл, который она воплощала, был прост и обозначался одним словом: Вика, Ви-ка, — легким, как кивок головы.

Словом, она была такая, какая есть: дитя солнца, а не луны; и правила игры, которую она вела почти бессознательно, потому что игра эта вытекала из ее природы, были такими же простыми и определенными. Как будто она заранее знала свое и мое будущее. Эти правила, между прочим, возлагали обязанность время от времени принимать некое важное решение — на меня, чего никогда не было с Тамарой: ведь тогда от меня не требовалось никаких решений. Оттого музыка, как ни странно, сохранила свои права в том мире, где неярким светом мелькнула моя первая любовница; теперь же, выражаясь фигурально, мелодия должна была уступить место слову. Мы спускались по лестнице с говорливой толпой, почти бегом, — это помогало нам справиться с неловкостью; скосив глаза на Вику, я видел подпрыгивающий локон и край юбки над мелькающими коленками; то, что мы рядом после занятий, укрепляло в нас чувство, что мы — пара, но все мое существо тяготилось этой почти навязанной мне ролью ухажера, словно моя воля тосковала по безволию. Я принадлежу к людям, которые в каждой ситуации видят прежде всего ее худшую сторону. Я ощущал ту несимметричность, которая подчас бывает пред-

вестием очень сильной привязанности. Несимметричность, ибо в свои восемнадцать лет она была женщиной, законченным творением, вышедшим из рук творца, я же с трудом отдираю ступни, прилипавшие к земле, я ощущал себя все еще слепком сырой глины. И мимолетный опыт близости с Тамарой ничем не мог мне помочь.

Тем временем небо над крышей померкло, и все отчетливей доносился снаружи из открытых настежь дверей равномерный шум дождя. Ей понадобилось достать что-то из кошелька, и она сунула мне свою сумку, как мне показалось, с умыслом; в том, как она это сделала, было нечто простое и непринужденное, часть все той же игры. Она копалась в кошельке или что там у нее было, — а я, мальчик на побегушках, я, жалкий поклонник, из тех, кому разрешают таскать шарф или зонтик, сторал от стыда, чувствуя, что эта бабья прихоть, эта сумка — не что иное, как знак, что я приближен ко двору, и в то же время нечто выставяющее меня на посмешище. Словом, я находился в том периоде, когда уступка женщине рассматривается как признак слабости, а не силы. Я понял важную истину: что женщина — это ее вещи. Сумка, туфли, край платья над прыгающими коленками. И этот муторный аромат духов, морочащий голову, запах, который не то чтобы исходил от нее, но как будто слетался отовсюду, чтобы ее окутать. Все это несколько не приближало меня к ней, а наоборот, отгораживало. Вещи окружали ее, как броня. В эту минуту странное, почти неестественное сожаление шевельнулось в моей душе: сожаление, что она не была мужчиной! Как просто, сильно, честно я бы ее любил. Без этого дурацкого ритуала встреч и проводов, без этой стены условностей, без притворства. Без этого забора из женских вещей, тряпок и безделушек. И вдруг, словно по волшебству, желание мое сбылось.

При выходе в вестибюль, внизу, в полумраке, точно под луной, стояла она, но в мужском наряде, в брюках, куртке и клетчатой ковбойской рубашке. Это была она — и он: в картинной позе, прислонясь к колонне, скрестив ноги и держа на отлете трубку, похожую на маленький саксофон, она, превратившаяся в мальчика, в пажа, в принца. Мы подошли, и наваждение рассеялось. Он повернул к нам матовое лицо, волосы его серебрились, губы казались черными. Впрочем, и вблизи они были похожи так, как могут быть похожими только близнецы;

если бы они поменялись одеждой, ничего бы не изменилось, даже имена. Вика приветствовал нас ироническим реверансом. С самого начала меня неприятно поразила его театральность. Это было непрерывное примеривание костюмов и поз. Шут гороховый. «Шут гороховый», — сказала она, и эту фразу я слышал потом много раз. Подняв бровь, он вставил в глаз воображаемый монокль и, с трубкой в руке, в упор воззрился на меня. Мы стояли, не зная, что сказать друг другу, она оглядывала его с материнской заботливостью, быть может, несколько нарочитой, я переминался с ноги на ногу, посматривая по сторонам, точно меня ждали дела. Наконец народ, столпившийся у выхода, заколыхался, мы двинулись вон.

Последние нити дождя висели в воздухе, карнизы, крыши, похожие на писсуары раструбы водосточных труб — все было облеплено сверкающей чешуей; тротуар был залит серебром и синькой, солнце било из-за домов, и тяжело и грозно по ту сторону площади, под лиловым одеялом туч горели шлемы кремлевских соборов. В блеске воскресшего дня Вика расцвела юной красой, а ее лунный брат посерел и померк. Дошли до ограды, остановились; подбоченившись, он протянул руку ладонью кверху. У них были какие-то свои условные знаки и ритуалы. Щелкнув сумкой, Вика вынула рубль. Означало ли это, что он с нами расстается? Потоптавшись у ворот, мы продолжали наш путь вместе.

Вдоль тротуара были навалены куски взломанного асфальта, между ними зияли ямы. Стоял грузовик с откинутым бортом, и оборванные люди выгружали ящик с тощим шатающимся деревцем. Это были липы, которые сейчас окружают Манежную площадь. И ничто, быть может, не говорило яснее, чем эти жалкие кустики, о том, что наступила новая и счастливая пора, в которую нам предстояло жить. Как удачно, вовремя мы стали взрослыми! Пьяные от солнца и сверкания луж, мы брели куда глаза глядят. Прошли мимо старика в перевязанных очках (Вика наклонилась и положила в кепку двугривенный), мимо американского посольства. Какие-то были дела на телеграфе, письмо маме... Разговор не клеился, точно мы обменивались репликами не друг с другом, а с кем-то шагавшим между нами, и я сильнее, чем обычно, спотыкался на каждой согласной.

Вика взглянул на меня и сказал в нос:

«Прошу великодушно извинить за бестактность... Это — волнение или с детства?»

«С д-д...» — сказал я.

Мы шли и шли, безо всякой цели.

ГЛАВА 19

Здесь начинается каша, хаос. Если хотите — свалка памяти, где ничего не «пропало», за исключением того, что пропала сама жизнь, когда-то оживлявшая эти обломки: попробуйте расставить их по углам и полкам — вы получите искусственную конструкцию, похожую на то, что было, не более, чем музейный интерьер похож на подлинную действительность. Но память — нечто иное, память — до времени, и не ржавые прутья плюсквамперфекта, перфекта, имперфекта удерживают ее от распада. Сила сцепления, которую я не умею назвать, самое глубокое, что в нас есть, сила, не имеющая ничего общего с насильственной логикой языка, спасает то, что очень условно мы называем прошлым. Итак, я решительно отказываюсь описывать «события». Наше совместное времяпрепровождение было не чем иным, как преодолением времени, и в этом, собственно, состояла его прелесть. Единственное происшествие, о котором придется все же упомянуть, стало концом нашей дружбы. Но о нем позже, ради Бога позже!

Эта дружба, в сущности, не терпела никаких событий. Ничто не связывало нас — или, по крайней мере, меня с ним, — кроме чистой устремленности чувства. Какого чувства? Может быть, покажется странным, если я скажу, что, видя его рядом с собой, я всегда чувствовал в нем его сестру. Это можно было бы объяснить совсем просто: подружившись с ним, было легче сблизиться с ней. Научившись с ним говорить, я мог надеяться, что не буду заикаться и в ее присутствии. Слово заикаться я употребляю здесь не в прямом, а в переносном смысле.

Но это только внешнее и формальное объяснение. На самом деле — прошу не удивляться, не возмущаться и не считать меня сумасшедшим, — на самом деле он и был ею, его сестрой. И скитаясь вместе с ним по извилистым переулкам, где тротуар был цвета черного олова, мимо заборов, за которыми темнели кирпичные стены домов, похожих на руины, мимо огненных вывесок, по дну этого единственного в мире, засасывающего, засыпанного

мокрой шоколадной листвой и залитого лужами города, влачась за ним, я на самом деле влекся за ней и, как Фауст, был полон мыслей о Маргарите, погружаясь в бесовский омут вслед за своим вожатым.

С некоторых пор нас стали манить к себе эти вывески в окнах, занавешенных дешевым шелком, похожие на клубки червей, ядовито-оранжевые или жгуче-лиловые, наполненные струящимся газом; из раскрытых дверей дышало теплом, несло острым, кисло-жареным, тошнотворно-аппетитным, и гром музыки обрушивался на нас, когда мы входили, ошеломленные, в дымный зал. На эстраде сидели с мертвыми лицами музыканты, точно привинченные к своим стульям, вперившись в ноты, а в глубине некто, похожий на пляшущего Шиву, корчился над медными тарелками, бил в барабан и тряс погремушкой. Все столы были заняты, и мы направились в угол, где сидел, среди бутылок и тарелок, одинокий человек, вероятно, какой-нибудь командировочный. «Разрешите?» — произнес Вика с великолепной самоуверенностью, и человек как будто проснулся, встал и обвел глазами стены и окна: казалось, он искал что-то. И мы видели, как он брел, сунув руки в карманы, к эстраде и скрипач склонял к нему, словно с корабельной кормы, лысую желтую голову, как приезжий протягивал деньги и тянулся облобызать музыканта и как затем оркестр с внезапным ожесточением взмахнул смычками, точно саблями, и вострубил последний куплет прославленного танца «Фрейлехс», а спина приезжего качалась среди столиков и там, между портьерами входа, к нему бросился седобородый, в серебряных лохмотьях швейцар. Оркестранты сидели, уперев скрипки в колени. Официантка сгребала со стола посуду. Она как будто не видела нас, но Вика умел показать, что он здесь как дома. Это умение складывалось из множества недоступных мне поз, жестов и выражений, из особой манеры сидеть, барабана ногтями по скатерти, из особого взгляда, которым он провожал ее, когда она удалялась, держа поднос с грязной посудой и покачивая низкими бедрами. Теперь между нами был просторный пустой стол, покрытый грязно-чистой скатертью, и какой-то фиал из желтого оргстекла, из которого торчал засохший цветок. Вика, рассевшись, обозревал замусленную карту, а она, с блокнотиком в руке, с лунообразной наколкой вокруг немолодого широкого лица, повторяла заученно-понимающим тоном: «Два салатика «Весна...» два леща... колбаски?

Есть «Краковская». Выпить что желаете?..» Откуда у него были деньги? Я подозреваю, что он просто крал их у Вики.

«Пошли!» — и я поднимался и шел за ним, мы подходили к публике, запрудившей все свободное место перед эстрадой, и некоторое время стояли там, точно два иностранца, затем я обнимал его за талию, и, раскачиваясь и правя, как коромыслом, сцепленными руками, мы въезжали в колыхающуюся толпу. С моим ростом не представляло труда прокладывать дорогу в толчее, к чему собственно и сводился весь танец, но если можно придумать что-нибудь более нелепое и вместе с тем пугавшее и будоражившее меня, чем это путешествие вдвоем на плохо слушающихся ногах, под изнуряющую музыку, среди шарканья подошв, если можно придумать что-либо более странное, то я прошу кого-нибудь это сделать. Вика превосходно играл свою роль, вилял бедрами и складывал бантиком губы, как вдруг взвизгнул: «Ай!» Пары повернули к нам головы. «Легче, ты, — буркнул он, — это тебе не латынь... Разрешите вас разбить?»

Это было сказано двум девушкам неопределенного возраста, качавшимся возле нас. Одна из них посмотрела на нас — или сквозь нас — сильно косящим взглядом и начала постепенно отъезжать от подруги, не переставая топтаться и покачивать в такт музыке кудрявой головой, потом протянула голые руки, и Вика подхватил ее. Музыканты встали, тромбонист, работая поршнем, прицелился в толпу, повел вправо и влево своим инструментом, и по толпе прошли какие-то волны. Вдруг погасла люстра, остались только тусклые светильники на стенах; в полутьме стучали каблуки, и взвивались платья. Это была румба, танец буйной, но искусственной радости, почему-то он всегда напоминал мне маскарад громадных насекомых, черных жуков и таинственных бабочек. Вика бросил меня на произвол судьбы. Тромбонист заметил меня с эстрады и обдал меня поперех голов ревом своей трубы, точно кровавой струей.

Вика бросил меня на произвол судьбы — если можно было считать судьбой внезапно доставшуюся мне даму. Девушка эта, искусственная блондинка с пышными кудрями и коком, — я так и не мог понять, сколько ей лет, все женщины носили кудри и платья, делавшие их похожими на взрослых школьниц, — стояла рядом со мной, не удостаивая меня взглядом. Кто-то задел ее, она

быстро повернулась и сказала: «Нахал!» И снова мы стояли и смотрели в толпу. «Вы танцуете?» — сказал я через силу. Она слегка повела головой в мою сторону. В глубине души я надеялся, что музыка сейчас кончится. Но оркестранты словно погрузились в транс, теперь они все сидели на своих местах и без конца играли одну и ту же мелодию, правда, гораздо тише и спокойнее. «Вы танцуете?» — спросил я снова. Она смерила меня взглядом. «Смотря когда», — сказала она загадочно. «Например, сейчас?» — проговорил я с вымученной улыбкой. Она помолчала и спросила: «А он кто?» — «Вы п-п-про кого?» — спросил я. «Этот, — сказала она, — который с Нинкой пошел». — «Это мой друг», — сказал я. «Красивый у тебя друг. Только больно нахальный», — добавила она. «Зато я не нахальный», — сказал я осмелев. «Ты? — переспросила она. — Кто тебя знает?» Потом сказала: «Тебе до него далеко». — «Д... д... 3-з...» — начал я. Заикание находило на меня вместе с волнами музыки. Она смотрела на меня. «Ты что, больной, что ли?» — спросила она. Я улыбнулся. «До него далеко, а д-до тебя близко», — выпалил я. «Ишь ты. Разбежался, — сказала она презрительно. — Ты бы лучше...» Но тут музыка внезапно стихла, из толпы к нам вышли Вика и его дама, красоту которой портил сильно косящий взгляд. «Па-азволь!» — гаркнул голос сзади, это был, вероятно, официант. Почему официант? Ведь нас обслуживала женщина. Мы отправились к своему столу, но там уже сидели двое. И вообще это был не наш столик. Все выглядело так, как бывает в театре, когда сцена поворачивается, а действующие лица как будто не замечают этого, переходят в другое время, в другую комнату и продолжают разговаривать. За столом сидели мужчина и женщина, она трясла его за плечо и говорила: «Вась, пойдём. Вася. Слышишь аль нет?» Терпеливо и монотонно повторяла она эти слова, точно укачивала ребенка. И в конце концов это подействовало. Он опустил голову на стол и захрапел. «Ну вот, — сказала женщина, глядя на меня, — хоть волокни его, хоть что. У вас пятнадцать копеек не будет?» — «Пятнадцать копеек? — спросил я, с удивлением заметив (это бывало), что совсем не заикаюсь. — Сейчас, одну минуточку». Это бывало, потому что заикание подчинено таинственным законам, и если действие их почему-либо прекращается, то проходит и заикание. Сейчас, например, я говорю вполне свободно, по крайней мере никто не замечает мой недоста-

ток, и это продолжается уже много лет. Тем временем Вика царским жестом одарял официантку, которая снова откуда-то появилась. Она приняла это как нечто само собой разумеющееся и стала составлять наши тарелки. Значит, это был все-таки наш стол, но серо-желтый графинчик, в котором должно было еще что-то оставаться, был пуст. Я попросил у Вики пятнадцать копеек. «Зачем тебе?» — «Позвонить». — «Давай позвоним вместе», — предложил он. «Кому?» — спросил я. «Ну хоть этой, как ее, Марии Стюарт». — «Давай позвоним Марии Стюарт», — сказал я. «Дурачина, — сказал Вика. — Она не подойдет». — «Почему это?» — «Потому что тогда не было телефонов», — сказал он. «Ну и что?» — спросил я. «Девушка, — сказал Вика официантке, — вам не трудно дать мне сдачу пятнадцать копеек?» Больше делать здесь было нечего, и мы вышли в сырой, синий, пронизанный огнями вечер.

ГЛАВА 20

Мне мало известны — как это ни покажется странным — реальные обстоятельства жизни близнецов; не стану тратить время на попытки в них разобраться. Здесь больше предположений, чем фактов. Кажется, Вика где-то учился, чуть ли не в военном институте иностранных языков, привилегированном учреждении, поставлявшем шпионов для заграничной работы; но был оттуда изгнан. То, что Вику выгнали из института, это я мог понять. Родители сумели освободить его от армии и пристроили на фиктивную работу. Летом следующего года они должны были приехать в отпуск из Германии и устроить его еще куда-нибудь. Отец занимал важный секретный пост — какой, я думаю, не знал толком и сам Вика. Но все это меня тогда мало интересовало. Как это бывает в ранней юности, мне не приходило в голову связывать с реальными условиями его жизни все то неясное, таинственно-притягательное, что было в нем, что оставалось до конца, остается и сейчас: хотя многое прояснилось с тех пор, Вика ушел неразгаданным. И если она, его сестра, вошла в мою жизнь, выражаясь метафорически, в сиянии дня, в ровном и чистом свете, который окружал ее тело и в котором для меня не было тайны, в правильном ритме занятий и дней, который был внешним выражением ее собственной гармонии, то он, ее второе

воплощение, как будто отделившееся от нее, он, с его трубкой, его ужимками, мерцающим взглядом, с его умением ни о чем не заботиться, никогда ничего не делать, внезапно исчезать и неожиданно появляться, с его иронией и каким-то — иначе не могу выразиться — бескорыстным коварством, он предстает передо мной как бы мгновенных вспышках магния, как будто всякий раз, когда я его окликаю, он молча обращает ко мне свое серебристо-могильное, свое лунное лицо, и тотчас же лицо это меркнет. Кстати: я совершенно не помню, при каких обстоятельствах мы фотографировались. Где это было, кто нас снимал?

Мы стоим втроем. На самом деле мы редко бывали вместе, я хочу сказать — все втроем, и подлинным спутником, товарищем долгих стояний у балюстрады между колоннами, блужданий по лестницам, сидений на подоконниках в сумрачных коридорах, скитаний по городу был он, о котором, увы, я не в силах сейчас сказать ничего вразумительного. Может быть, я был попросту в него влюблен? Мысль, которая тогда мне, конечно, не могла прийти в голову... Может быть, я любил Вику лишь потому, что бессознательно видел в ней отражение ее брата? Парадокс в том, что я не могу, не умею взглянуть на него моими сегодняшними глазами (как я гляжу на Вику), и он остается для меня таким же, каким был тогда. Слава Богу, что его уже нет на свете.

Присутствие Вики добавляло к воздуху, которым я дышал, некий кружащий голову газ. В иронии Вики заключалось нечто неслыханное. Была ли она обыкновенным мальчишеским нигилизмом, кокетством балованного сынка хорошо обеспеченных родителей? Напомню, что мы жили под знаком тотальной серьезности. То была тяжеловесная и нековкая серьезность государственных материалов, гипса и чугуна, из них сотворен был наш мир. Мы жили в эпоху чугуночной поэзии, гипсовой веры, твердой, как камень, и хрупкой, как стекло. В ту пору ожил одический восемнадцатый век: облепленный птичьим пометом, он стоял в алебастровых штанах, с белыми сардельками на голове и с непоколебимой серьезностью сжимал свой негнувшийся алебастровый жезл. Никому не приходило в голову улыбнуться, глядя на него... Серьезными были лица спешащих мимо людей, мужчин в пожухлых шинелях, старух под заштопанными зонтиками. Серьезными были эти улицы, отливавшие оловом. Все разделяло одну и ту же веру, во всех сердцах

жило единое чувство, чувство подавленности и величия. Чувство империи. Ибо империя — это то, что невозможно исправить. Вдруг, у всех сразу, возникло сознание непреложности мира. Вот что я имел в виду, говоря об иронии Вики. Ирония Вики скрывала в себе диверсию. Она ставила под сомнение священное единообразие мира, она отрицала его статуарность, она стремилась удвоить образы действительности. Она навязывала миру, не желавшему быть ничем, кроме того, чем он был, новый смысл. Она... Словом, я зарпортовываюсь, хотя надо было бы сказать и о том, что его ирония, это косое светило, отчасти и возвышало действительность, оттеняя ее длинными тенями. Но уверен ли я в том, что если бы он воскрес, он не стал бы досадной помехой самому себе, не стал бы покушением на память о себе, которая остается для меня единственной и высшей действительностью? Быть может, я бежал бы от него, чтобы не знать, во что он превратился, как избегал столько лет встречи с его сестрой, хотя знал, что она живет поблизости...

Следовало бы сказать что-нибудь более конкретное о моем друге, однако я нахожусь в удивительном затруднении. Я помню не факты, а впечатления. В ушах звучит голос Вики, но я не слышу, хоть убей, о чем он говорит. Но о каких фактах, собственно, идет речь? Мы коротали время в бесконечных разговорах, в бессвязном обмене репликами. Мы шлялись по переулкам или слонялись по старому дому на Моховой, по его полутемным коридорам и лестницам. Моему прилежанию приходил конец, едва только я замечал внизу на лестнице его русую голову. Звонок созывал опаздывающих, мои тетради сиротливо лежали в аудитории, и я утешал себя тщеславной надеждой, что, быть может, она, его сестра, ревниво оглядывается, не видя меня на месте. Мое отсутствие было мезьей ей — за что? Здесь был элемент соперничества и измены. Озираясь, я устремлялся в боковой коридор, а впереди уже шагал Вика с саксофоном в зубах; мы ели семечки, грызли заплесневелые баранки и играли ими в футбол; мы брели куда глаза глядят, дергая наугад запертые двери. Мы изнемогали от усталости, когда наконец находили приют в закутке под крышей, заваленном обломками мебели и рулонами старых плакатов, где на колченогом стуле доживал свои дни гипсовый, пострадавший от времени основоположник научного коммунизма и стояла швабра уборщицы.

ГЛАВА 21

В юности разговоры имеют огромное значение, но не потому, что представляют собой средство обмена мыслями (достаточно пошлыми и во всяком случае не «расширяющими кругозор»), а потому, что создают особого рода неизведанную стихию. В эту стихию мы погружались, не чувствуя ее опасности. Мы плескались на поверхности ослепительных зыбких вод, уверенные, что у нас хватит дыхания вернуться к берегу, и чем дальше мы заплывали, тем сильнее была эта гордая уверенность. Мы были взрослые, мы могли купаться сколько нам вздумается! И нам уже было мало шлепать ладонями по воде, мы принялись нырять с открытыми глазами, стараясь разглядеть, что там, в зеленой глубине, и не видя ничего, кроме наших собственных мертвенно-белых и извивающихся рук и ног. И мы окунались до тех пор, пока один из нас не стал задыхаться... Тогда другой начал толкать его к берегу, но так неловко, что чуть не утопил друга, — а может, в самом деле хотел утопить.

.....

Запишу одну диатрибу, которая, может быть, даст представление если не об общем направлении наших бесед, то об их «уровне» — лучше сказать, о той атмосфере двусмысленности, которая их сопровождала. Двусмысленность состояла в том, что мы говорили как о постороннем о том, что близко касалось нас самих. Двусмысленность проявлялась и в том, что нельзя было понять, верит ли Вика всерьез в то, о чем говорит. Разумеется, я передаю его слова (как и мои косноязычные ответы) лишь в общем виде.

Разговор зашел о любви, об этом неразведанном острове, где он был, надо думать, таким же новичком, как и я. Однако он расхаживал по нему, как хозяин. К сожалению, мы не обошлись без обычного в таких случаях цинизма. Вика утверждал, что может безошибочно угадать по внешности девушки, что «это» уже произошло. Каким образом? «По рисунку губ, — объяснил он. — Закон соответствия».

Хорошо помню, что в этот момент внизу зазвенел звонок. Кончилась лекция. Мне нужно было зайти в аудиторию и взять свои тетради. «Будь здоров, Карлу-

ша», — сказал Вика, потягиваясь. Он похлопал кумира, обросшего паутиной, по бородатой щеке, и мы покинули наше убежище. Сверху было видно, как кучки студентов спускались по лестнице. Глаза мои привычно искали ее. Сойдя на второй этаж, я заглянул в аудиторию. Никого уже не было. Она успела исчезнуть, пока я спускался с третьего этажа на второй. Я захватил свое имущество; Вика ждал меня внизу возле киоска, где продавались газеты. Мы вышли на улицу. Далее беседа приняла метафизический характер, потому ли, что мы устыдились нашей грубости, или оттого, что почувствовали, что приблизились к черте, которая отделяла болтовню от личных признаний.

Кто-то, не помню кто, сказал, что взаимная склонность влюбленных есть не что иное, как воля к жизни существа, которое они должны произвести на свет, и, значит, ребенок в некотором смысле зачинается в ту минуту, когда мужчина и женщина видят впервые друг друга. Не думаю, чтобы Вика, развивавший эту теорию, был знаком с мудрецом, который ее придумал. Не чтение, а чувство тайны толкало его — и меня — к подобным фантазиям. Образ женщины представлял перед нами как некий ребус, как тайнопись, выставленная напоказ, отчего эти письма выглядели еще загадочней. Как многие молодые люди, мы были циниками или по крайней мере старались казаться ими, и в то же время чувствовали, что словарь эротике двуязычен. И если тайна есть не что иное, как плоть, то плоть в свою очередь — оболочка тайны. Уловить ее мы могли разве лишь с помощью нами же созданной мифологии.

Он сказал, что ему нужно хотя бы для виду показаться в переплетной мастерской. Мастерская находилась на Гоголевском бульваре. Мы дошли до угла и повернули направо, на улицу, которая тогда называлась улицей Коминтерна.

«Существует наука, — говорил он, — которая смотрит на это дело трезво. Физиология, и баста. Но тогда непонятно, к чему вся эта канитель. И взоры томные, и ветреные речи. Какого хрена? Пустая трата времени. Любовь, можно сказать, только отвлекает от дела».

«Видишь ли, — пробормотал я. — Смотря как на это с-с-смотреть».

«Слушай меня, — сказал он. — Моя гипотеза устраняет это противоречие. Моя гипотеза не отрицает физиологию. Однако физиология — это только лишь способ.

Тусклое отражение истины в плоском зеркале действительности».

Фразы подобного рода, произносимые с неподражаемым пафосом, были в духе Вики.

«Кино, танцы, — продолжал он. — Дурачье даже не догадывается, что все это подстроено».

«К-как подстроено?»

«А вот так. Представим себе, что Икс встретил Игрек. Они думают, что встретились случайно. А на самом деле это он так захотел!»

«Кто — он?»

«Тот, кто должен родиться. Или, скажем, так — чтобы ты не боялся: тот, который *хотел бы родиться*».

Тень какой-то мысли промелькнула передо мной. Я спросил:

«Почему это я должен бояться?»

«Милый мой, — сказал Вика высокомерно, — каждый мужчина этого боится».

«Ну уж это не обязательно», — пробормотал я.

«Что не обязательно?»

«Чтобы сразу ребенок».

Тень была воспоминанием о Тамаре. Все эти недели, захваченный новыми впечатлениями, я не думал о ней. Мы проследовали мимо больших окон Военторга, в которых отражался голубой день, и воспоминание вернулось. Оно уселось, словно хищная птица, мне на плечи и стало клевать меня в темя. Я не видел лица Тамары, я видел другое. Стук ходиков ворвался в мои уши. Желание объяло меня с такой силой, что я чуть не упал в обморок. Этого не было там, это было что-то новое. Вика продолжал говорить, но я слышал только голос. Его голос, заглушаемый гулками ударами сердца. Постепенно наваждение прошло, птица задумалась, и мое сердце, словно возвращенный беглец, медленно приходило в себя в своей темнице. Мы брели, направляясь к Арбату. Мне было стыдно.

«Ну и что?» — сказал я как можно более равнодушным голосом.

Молчаливым условием наших разговоров была особая ироническая отстраненность, как будто то, о чем шла речь, и особенно то, что в ней подразумевалось, лично к каждому из нас не имело никакого отношения. Мы были над всем «этим», точно медики, когда они говорят о больных.

«А то, — сказал он, — что не Икс и Игрек захотят, родят их, не захотят — не родят, а наоборот, они шепчут Иксу и Игреку: родите нас! Все эти вздохи при луне, если хочешь знать, — это просто забавы этих ребят-шек... Они там развлекаются. Они выбирают себе родителей. Словом, представь себе такой мир, мир неродившихся детей, не действительный мир, а сверхдействительный. Такие туманные поля, облитые лунным светом... Там и мы с тобой когда-то существовали... то есть ждали, когда нам захочется существовать. А ведь мы могли и передумать, не правда ли? Могли не захотеть. И тогда бы нас не было. И женщина прошла бы мимо мужчины, и он бы ее не заметил. А еще, представь себе, они могут придумывать разные штуки. Возьмут, например, и сведут брата с сестрой. Или как-нибудь по-другому... А?»

Немного спустя он сказал:

«Послушай, друг Горацио. Ну ее на х..., эту мастерскую».

Мы сидели на скамье под желтеющими деревьями, перед поникшим остроносым Гоголем, и голос артиста пел, шептал о вечности позади нас, об опрокинутом времени, о древе жизни, растущем корнями ввысь, о кукольном театре любви и неутоленном желании, чьи побеги поднимаются из глубин предсуществования, точно стебли кувшинок с илистого дна.

ГЛАВА 22

Иногда я думаю не о том, что было, а о том, как я вспомнил об этом, и, следовательно, вспоминаю собственные воспоминания; они в свою очередь могут оказаться воспоминанием о других воспоминаниях и так далее. Самое же удивительное то, что память способна замыкаться сама на себя. Тогда пресловутая нить рассказа, то, что должно сообщать событиям видимость логической связи, завязывается в порочный круг.

Например, я помню, как я стоял у балюстрады, поджидая Вику, как почти одновременно вышла она, а внизу на лестнице показался он, как он взбежал по ступеням и трубка торчала из его курточки, — и в это время в моей памяти проплывали подробности путешествия в некий переулок на улице Кирова; но когда в самом деле я плелся по этому переулку, увидел знакомые ворота,

когда пробирался под веревками с мокрым бельем, — мне припомнился ни с того ни с сего наш разговор возле балюстрады. Возникает естественный вопрос: что в действительности стояло между двумя зеркалами памяти — и что такое эта «действительность»? Или, может быть, именно так мы постигаем скрытые противотоки времени, которых не замечаем в обыденной жизни?

Я не оговорился, употребив слово «плелся»: чем ближе я подходил к ее дому, тем походка моя становилась все менее бодрой. Словно там, в своей темной комнате, она, моя любовница, медленно и настойчиво крутила ручку ворота, наматывая тонкий шпагат, на конце которого влачился я. Что меня туда тянуло? Вождевание? О, нет. Я шел мимо мертвых, поблескивающих пыльными стеклами домов, мимо ворот и заборов; чем дальше, тем переулок становился безлюднее, дома — ниже; мои подбитые железом башмаки гремели по тротуару, и в руках у меня билась живая птица: я шел и нес в руках свое сердце. В смутном, томительном состоянии духа вступил я во двор: так идут к зубному врачу. Сырые простыни хлестали меня по щекам. Я нашел окно в углу двора — ее окно — и приткнулся к темному стеклу.

Приставив ладони к вискам, я вглядывался в щель между занавесками — там все было по-прежнему. Все стояло на своих местах, стол, икона на столе; и кто-то спал, укрытый скатертью или пледом. Было воскресенье, я знал, что она должна быть дома. Но это была не она. На кровати лежал не человек, а полчеловека.

Я как-то сразу успокоился и пошел прочь. То, что место оказалось занято, распрекрасным образом освобождало меня — от чего? От необходимости — скажем так — сесть в зубоврачебное кресло. Судьба сама распорядилась — и к лучшему. Словом, я был почти рад, увидев лежащего на кровати, кем бы он ни был, и спокойным и независимым шагом вышел из ворот. Я миновал крыльцо. Был полдень, и пустой переулок впереди загибался и исчезал за подслеповатыми домами. Но как только дом Тамары оказался позади, шпагат натянулся, и ноги перестали слушаться. Все еще колеблясь, я повернул назад и вошел в полутемный подъезд.

Сейчас я вдвое старше ее. Мне приходит в голову нелепая мысль. Что если бы я женился на Тамаре? Моя

жизнь пошла бы иначе. По крайней мере этот союз берег бы меня от бед, меня ожидавших. Проклятием нашего времени было само это время. Рогожный куль с отсыревшим песком, который мы тащили неизвестно зачем все бесконечные и бессмысленные годы. От этой жизни можно было спастись только в самых ее глубинах, вот в таком мертвом переулке. Оставив куль у ворот, Судьба, быть может, дала мне знак. Я стоял перед дверью, тупо воззрившись на список жильцов. Этот список мне ничего не говорил: я не знал фамилию Тамары.

Я надавил кнопку звонка, и первое, что я услышал, когда дверь отворилась, был стук каблуков и скрежет аккордеона. Там плясали. Из коридора несло касторкой. Я узнал темную, как пещера, прихожую: вдоль стены, прикрытая тряпьем, стояла какая-то рухлядь, это была несомненно та самая квартира — та и как будто не та. В изумлении я смотрел на сторбленную старуху с темным вороньим лицом, глядевшую на меня из щели, как будто со времени нашей встречи прошло не два месяца, а много лет, и она так страшно успела состариться; я силился выдавить из себя звук, как выдавливают сухую пасту из тюбика, а она, моргая, уставилась на меня. Она повторила свой вопрос и хотела уже захлопнуть дверь, когда наконец я справился со своими голосовыми связками. Каким-то полусшепотом я произнес:

«Тамара Сергеевна...»

«Чего тебе?» — спросила она.

«Дома?» — спросил я.

Помолчав, старуха сказала:

«Дверь затворяй».

Она побрела по коридору, остановилась у приоткрытой, как в прошлый раз, двери соседки и каркнула:

«Тома! К тебе».

Аккордеон умолк, и голос Тамары спросил из комнаты:

«Кому я там еще нужна?»

«Да ты чего стоишь, заходи», — сказала старуха.

В комнате больной соседки за столом сидели две женщины. Одна была грузная и усатая, с аккордеоном. Боком к дверям сидела Тамара. Она была в пестром летнем платье с короткими рукавами-фонариками, старое лицо ее раскраснелось, и глаза ярко блестели.

«Батюшки, Леня!» — пропела она.

Сзади зашаркали шаги, я посторонился. Старуха

несла двумя руками в закопченной тряпке большую журчащую сковороду. Мне положили на тарелку винегрета, две большие котлеты, поджаренные на касторовом масле, и глыбку сиреневого студня. Все это сильно пахло, и я почувствовал, как рот у меня наполняется слюной.

«Племянник мой, — говорила Тамара, — он у меня на профессора учится. Ты учишься, Леня? Кушай».

«Винца выпейте», — сказала старуха.

«Да куды ему, он непьющий. Он еще дите. Разве самую чутельку, ради праздника. Мы новоселье справляем, Леня. — Он вынула из рукава платочек и отерла разругавшееся лицо. — Соседи у меня новые, хорошие соседи...»

Могучего вида женщина, по имени Лиля, заиграла, стараясь подобрать мотив песни «Когда б имел золотые горы».

«И реки, по-олные вина! — подхватила Тамара. — Все отдал бы! Да ну тебя, — сказала она. — Не умеешь и не берись».

Лиля сдвинула половинки аккордеона и сказала басом:

«Концерт окончен».

Она поставила инструмент на кровать и пошла к дверям. Мы остались вдвоем с Тамарой, но не успели ничего сказать друг другу. За дверью послышался шум, восклицания. Тамара встала и открыла. Усатая Лиля и старуха, похожая на горбатую остроносую птицу, несли под руки проснувшегося инвалида. Это он лежал в комнате Тамары. Тамара взглянула на меня блестящими глазами слегка нетрезвой женщины, как будто хотела промолвить: «Вот такие дела, Леня». Я перевел глаза в угол, там стояла грубо сколоченная тележка на роликах.

С детства помню я дребезжащий звук — раскаты роликов по асфальту: это мальчишки носились по переулку на самодельных самокатах. Я ловил вилкой раскисший студень, внимая звукам гимна ночных бомбардировщиков. И теперь эта мелодия воскрешает передо мной теплый, почти летний день, должно быть в конце сентября тысяча девятьсот сорок пятого года, цокот ходиков и гром самокатов, и Тамару со скомканным платочком в руке, и сидящего во главе стола, в ляшках аккордеона, взъерошенного ветерана, лихо работающего узловатыми пальцами, не то гостя, не то хозяина.

ГЛАВА 23

Тамара проговорила, обводя глазами стол:

«Жизнь-то какая пошла. Пей — не хочу... Ты ешь, Леня, на нас не смотри. Эвон огурчик соленый».

«Кушайте», — говорила старуха.

Темной своей, жилистой рукой она налила до половины граненый стакан музыканту. Он посмотрел на него, продолжая играть. Усатая Лиля подперла щеку ладонью. Инвалид подпрыгивал на стуле, точно ехал на коне, играл бровями и кивал головой в такт музыке, но глаза его были устремлены в одну точку — он смотрел на стакан. Тамара поднялась, одернула короткое платье, поставила стакан на ладонь и поднесла ему.

Он взял стакан зубами и, медленно запрокидываясь, словно принимая какую-то странную казнь, стал пить, — все смотрели на его вздувшиеся жилы и подпрыгивающий кадык. Затем опустил голову, тяжело дыша, и у него взяли стакан. Старуха подала огурец.

«Вот так, — сказал он, хрустя огурцом. — Учись, пехота».

Он растянул с победным скрежетом во всю ширь сверкающий перламутром инструмент. Женщины пели:

«Хоть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом. Но мне кажется снова! Возле дома родного!»

В коридоре раздался протяжный звонок. Старуха побрела открывать.

«Нет никого, — сказала она, вернувшись. — Ребята балуют».

Снова позвонили.

«Да ну их, не ходи. Никому мы не нужны. И нам никого не надо... Нам и так хорошо. Верно, Леня?»

«Точно, Тома, точно», — подтвердила Лилия.

«Тебе небось скучно с нами?» — спросила Тамара.

«Нет, почему же», — сказал я. В голове у меня немного плыло, но я уже пил водку раньше и умел держаться.

У толстой Лили дрожали губы, и она утирала глаза уголком скатерти.

«Ты чего?»

«А ничего, Томушка... Уж больно хорошо мне...»

«Ну и нечего сырость разводить, — сказала Тамара. — Давай, — мигнула она инвалиду. — Чего-нибудь повеселей».

Инвалид сдвинул створки гармоньи и сказал:

«Ни хера вы, бабы, не понимаете».

«Точно, точно, Федор Степаныч, темные мы. Куда нам, дурам», — сморкаясь, сказала Лиля.

Тамара сделала знак старухе, та налила еще. Федор Степанович выпил, на этот раз обыкновенным способом, то есть взяв стакан рукой, и произнес следующую речь:

«А ты молчи, когда с тобой старшие по званию говорят. Вот так. Пушай и он послушает, племянник он ай кто... Молодежь, смена наша. Ему полезно. Я что говорю? Я говорю: ни хера вы, бабы, не понимаете, хоть ты будь самая что ни на есть! Вам что хрен, что малина. Что трали-вали, а что, ети его мать, Бетховен! Все одно. Ваше дело такое: колбаса етто, стюдень... Такое ваше занятие. А на кой мне твоя колбаса? Что я? Куды я теперь? Усы одни остались. Вот как у тебя, — сказал он толстой Лиле. — Мы с тобой с усами, а он с мудями, вот так. Я что хочу сказать... Ходили мы походами! Как говорится: от Москвы до Бреста, нет такого места. Наше дело правое. Немцу капут. И нам капут. Я вот тебе про себя скажу... Я кто? Я тебя спрашиваю, етить твою! Я — русский солдат! — сказал Федор Степанович, стукнув кулаком об стол. — Я за Родину сражался! В меня из пушек шмоляли, из «фердинандов»... А теперь я куды? Мне теперь, брат, каюк. Вон там в дверь звонят, а чего не открываешь? Иди открывай! Етить твою мать... Там за мной пришли. С гробом и оркестром. Вечная слава павшим за нашу советскую!»

«Будет тебе, Федя», — сказала мать.

«Молчи! — крикнул Федор Степанович. — Я русский солдат! Меня не доби́ли! Я за Родину, за Сталина... Добейте меня!»

Он начал стаскивать с себя аккордеон, Лиля и мать подбежали к нему.

«Да куды ж ты... — говорила старуха, прижимая к груди хрипящего и бормочущего Федора Степановича и глядя сго спутанные полуседые волосы, — Федь, а Федь... Очнись... Хошь, винца дам?»

«Хозяева дорогие, — сказала Тамара, — спасибо за угощение. Пойти воздухом подышать маленько».

«Куды ж вы? Чайку выпьем...»

«Дело у нас. Спасибочки за все».

Я вышел на лестничную площадку. Мне пора было уходить. Она догнала меня, кутаясь в платок, который накинута на себя. Дверь в квартиру осталась приоткрытой.

«Новые жильцы, — сказала Тамара задумчиво. — Умерла Марья, соседка-то моя. Вот их теперь вселили... Временно или уж как там... Вообще-то, — добавила она, — наш дом на ремонт будут ставить».

Мы молчали, не зная, о чем говорить.

«А я думала, ты меня не вспомнишь. Ну, как ты?»

«Да ничего», — сказал я.

«Как дома-то у тебя? Отец здоров?»

Я пожал плечами.

«Что, пьет шибко? Что ж поделаешь. Все пьют. А-ах! — она неожиданно зевнула. — Может, вернемся? Что мы тут стоим, как нищие».

В легком платье не по сезону, с короткими рукавами, в платке на плечах, она казалась и старой, и молодой, и наше стояние перед дверью на лестнице с каждой минутой все больше походило на любовное свидание. Она пугливо оглядывалась по сторонам. В ней уже не было ничего от прежней покровительственной манеры. Я даже приобрел, как мне показалось, какую-то власть над ней, и выходило так, что не она, а я должен был решать, что нам теперь делать. Надо было что-то сказать. Или уж — если считать, что она вышла меня проводить, — попрощаться. Но я молчал.

«Что же мы стоим? — повторила она неуверенно. — Пошли, что ли...»

И она двинулась, но не на улицу, а вверх по лестнице. Наверху было еще две двери, одна заколочена досками крест-накрест, а на другой висело прибитое гвоздями объявление. Крупными буквами, похожими на повалившийся забор, было написано:

«Мамка, я на тебя сердит. Прощай навсегда».

«Ишь ты какой», — сказала Тамара.

Снизу из приоткрытой двери доносилось скрипение аккордеона.

«Небось Лилька опять играет. С виду посмотришь, конь, а не баба, а сама... — Тамара махнула рукой. — Еще, чего доброго, за безногого выйдет. А мы теперь, Леня, на новую технологию переходим. Экспедицию всю расформировали. Цацулю твою — фить».

Она стояла ко мне спиной, крутя на пальце связку ключей, и смотрела через перила, и я видел серебристые нити в ее волосах.

Я совершенно забыл о Павлике. Если бы она сейчас не назвала его, я бы его никогда не вспомнил. Неожиданно я спросил:

«А он у тебя тоже был?»

«Кто? — спросила она, поворачиваясь, и пристально взглянула на меня. — Ты о чем?»

Я растерялся и пожал плечами.

«Ревнуешь? Что ж, и на том спасибо. — Она усмехнулась. — Как говорится, коли ревнует, значит, любит...»

Она провела рукой по волосам, глядя в сторону отсутствующим взглядом, и на лице ее промелькнула какая-то тень прожитых лет. Этот женский усталый жест словно отодвинул меня в сторону.

«Какая у нас любовь, — проговорила она. — Срам один. Я старуха, да и ты... — она посмотрела на меня снизу вверх, — не орел! Даром, что такой длинный вымахал... Леня, милый, не обижайся. Я ведь любя. На-ка вот... Я безногому на бутылку припасла, так чем даром пропадать...» Двумя пальцами она извлекла из лифчика вчетверо свернутую бумажку и сунула мне в карман.

«З-зачем?» — сказал, оторопев.

«Бери. Подкормишься... Да говорят тебе, бери!»

Я знал, что если я сейчас возьму эти деньги, то окончательно себя возненавижу. Мы молча боролись, она запихивала мне бумажку в карман брюк, я ей — назад, за пазуху, и кончилось тем, что мы чуть не повалились на пол, я успел подхватить ее, и мы так и остались в объятиях друг друга. Платок упал с ее плеч и лежал у нас под ногами. Я посмотрел на него, потом на нее... Она подняла на меня глаза, высвободила руки и, обхватив меня за шею, пригнула к себе мою голову.

«Глупый, — бормотала она, тяжело дыша. — Кто ж от денег-то отказывается... Я ведь от чистого сердца... Осерчал? Эх, ты...»

Она целовала меня в лоб, в глаза и все повторяла: «Эх, ты...» И я тоже хотел ей сказать, что я ее люблю, и, словно под теплым дождем, стоял под ливнем ее поцелуев.

«Дура я, сумасшедшая. Рехнулась на старости лет, — сказала Тамара, наклоняясь за платком. Мы оба дрожали, как в ознобе. — Это он давеча звонил, — говорила она, торопясь и не попадая ключом в замочную скважину. — Мальчонка такой баловной... Мать-то по выходным работает, мне ключ оставляет...»

Мы вошли, и замок защелкнулся за нами. Я не помню квартиру, да мы в нее и не заходили. Помню, что сняли в прихожей с крюка старый овчинный полушубок, а

поверх полушубка на кухне, прямо на полу, она разостлала платок. И мы легли на него, как обреченные, и меня до сих пор поражает, сколько такта, умения, нежности проявила она, умеряя мой пыл, пока наконец не вспыхнула сама, словно куст... Я думаю, что чувство, которое влекло нас друг к другу, было чувством судьбы. Бывает, что судьба нагромождает препятствия, чтобы самой же их устранить, и тогда они становятся метами единственного пути, о котором еще никто не знает, что это — путь. И все, что казалось случайностью, было на самом деле лишь поводом для того, чтобы это произошло: и запах касторки, и новое платье Тамары, и речь Федора Степановича, и то, что новоселье было не новоселье, а род смотрин, но и смотрин не было, потому что толстая Лиля хотела выйти за инвалида, а старуха этого не хотела, и то, что мальчик, убегая, прибил к дверям объявление, и полушубок, и капающий кран на кухне, и солнце, косо бившее в окно. Все было подстроено, все вело нас по этому единственному пути. Так мореплаватель пробирается по извилистому проливу, не ведая, куда он его приведет, — и вот, перед ним океан.

Так завершилась схватка, которая началась на лестнице, но теперь это было сражение неумелого завоевателя со страной, которая покорялась — но и вела его за собой. Она была этой страной, и она вела меня. И чем глубже я в нее погружался, тем все меньше оставалось от завоевателя, тем ясней становилось, что мы — одно. Я был ее слепок, а она была моей формой, я устремлялся вперед, и она расступалась; я стал посохом. она — дорогой, я был ключом, она была скважиной, я стал тем даром, о котором сказано: «если бы ты знала дар Божий...» Я превратился в ее зеркальное отражение, все мужское во мне стало женским в ней, мы были небом и землей, путником и колодцем, мы были одно, и снова одно, и в который раз одно, одно.

Несколько времени спустя я услышал мерное чмоканье, тихий звон капель, падающих из крана в кухонную раковину, было сумрачно, долгий день клонился к вечеру, и к запаху женщины примешался прелый запах овчины. Солнце уже садилось, когда я присел, утомленный долгой дорогой, возле колодца. Она подошла и склонилась над срубом, только это было не дерево, а камень, четырехугольное сооружение из грубо стесанных плит посреди поля, которое хозяин купил у прежних владельцев. И овцы блеяли, ожидая, когда их напоят. Она

выпрямилась, сверкающие капли падали с ее кувшина, и я попросил напиться, я сказал: дай мне глоток... И она догадалась, что я из чужих мест, по моему выговору. Усмехнувшись, она спросила, как это я не брезгую пить из ее кувшина, я, иудей. И солнце висело над горизонтом, заглядывая в окно кухни, и блеяли овцы. Я увидел, что она стара, как мать, и молода, как новобрачная; я пил и не мог напиться, и она сказала: хочешь еще? И я ей ответил... Я ответил: если бы знала, кто я и откуда пришел, ты сама попросила бы у меня, и я дал бы тебе такой воды, что утоляет любую жажду. Ты дала мне напиться, а теперь я возвращаю тебе кувшин. У тебя сильные руки, просторные бедра, крепкая грудь. У тебя было много мужей, и никто тебя не насытил, никто не утолил твоей жажды. Теперь я буду твоим мужем. И она опустилась рядом со мной, и мы стали пить вместе.

ГЛАВА 24

«Ты уверен, — спросил я Вику, — что он подразумевал... п-п-подразумевал нашу?..»

«Можешь не сомневаться».

Мы обсуждали последнюю новость: знакомство и разговор с продавцом газет. Здесь требуются пояснения. Как уже упоминалось, газетный киоск находился в вестибюле Нового здания, при входе налево. Собственно, это был не киоск, а стол, на котором торговец раскладывал свой товар, позади него стоял шкаф, сбоку на гвоздике висели старое драповое пальто и мало распространенный в то время головной убор — фетровая шляпа.

Часам к шести, когда народ расходился и на галерее и в вестибюле зажигались матовые шары, продавец закрывал свой шкаф. Тут к нему и подкатился мой друг Вика с нелепой и нахальной просьбой одолжить его рабочий халат. Была придумана какая-то фантастическая версия, приводить которую здесь нет надобности.

Интересно, что он сумел настолько заморочить голову Вике, что она не ушла сразу, как делала всегда, когда видела нас вдвоем. Мы с ней стояли наверху за балюстрадой между постаментами вождей, и нам было видно все, что происходило под лестницей. План состоял в следующем. По обе стороны лестницы в глубине находились уборные, а между ними коридорчик и вход в подвал с хозяйственной кладовой. Как только Вика раз-

добудет халат, я спущусь по боковой лестнице и удостоверюсь, что в мужской уборной никого нет. Тогда она тоже сойдет вниз, незаметно пройдет в коридорчик со стороны женской уборной, там будет лежать халат, она наденет халат, возьмет в руки швабру и войдет в качестве уборщицы в туалет для мужчин, чтобы полюбоваться тем, что мы или, точнее, он намеревался ей показать.

Одна из его сумасбродных затей.

Сразу же скажу, чтобы долго на этом не задерживаться, что замечательно продуманный план провалился. Продавец газет, выслушав моего друга, повесил халат в шкаф и запер створки. Вика вообще отказалась идти под лестницу (хотя ее разбирало любопытство) и в конце концов покинула нас. Узнала ли она когда-нибудь, что именно ей хотели продемонстрировать? Можно предположить, что узнала, когда ее вызвали для дачи свидетельских показаний. Так или иначе, она была бы шокирована. Однако разговор Вики с продавцом имел для нас неожиданные последствия. Дня через два Вика шел по Моховой мимо станции метро «Библиотека Ленина», и его окликнули. Он шел с улицы Фрунзе, где в переулке, в красивом старинном доме с лепными украшениями, — слишком красивом, чтобы я мог когда-нибудь там побывать, — жили близнецы.

Продавец газет (это был он) спросил Вику, есть ли у него несколько минут свободного времени. Оказывается, здесь, возле метро, находилось его главное место работы, киоск, а в университете — нечто вроде филиала.

После этого продавец сказал, что его вмешательство может показаться неуместным и он просит извинить его, но его долг — нас предупредить. Вика сделал голубые глаза, но продавец не стал вступать с ним в дискуссию. Продавец газет вообще был краток. Он не говорил: как вам не стыдно, знаете ли вы, как это называется, и так далее. Он просто сказал — ребята, будьте осторожней. И все это время на окошке киоска висела картонка с надписью: «Закрито на обед».

«И все?» — спросил я.

«А чего тебе еще надо?»

Я заметил, что Вика взволнован этой новостью, но вместе с тем как будто и доволен.

«Слушай, — сказал я после некоторого молчания. — Может, нас еще кто-нибудь заметил?»

«Кто?»

«Не знаю, — сказал я. — Кто-нибудь».

«Ты что, струсил?»

«Да нет, — сказал я, — н-не струсил».

«Если нас накололи, то уже ничего не изменишь, — сказал Вика. — Но я не думаю. Мы бы тогда с тобой здесь не гуляли. Это у них делается быстро. Раз, и человека как не было».

«Откуда ты знаешь?»

«От верблюда».

Мы прошли еще шагов пятьдесят, и я снова сказал:

«Слушай-ка. А может...»

Он бросил на меня молниеносный взгляд.

«Если ты его самого подозреваешь, то спрашивается: за каким хреном? За каким хреном ему надо было нас предупредить?.. Сидел бы себе, и молчал, и стучал потихоньку».

«А может, он хотел убедиться, что это действительно мы».

«В таком случае, — заявил Вика, — нам тоже надо убедиться. По крайней мере, будем точно знать. Видишь ли, мой друг Горацио: против разведки есть только одно оружие — контрразведка! Не надо уходить от опасности. Надо пройти сквозь нее и очутиться по другую сторону. Между прочим, есть предложение».

«М-м?»

«Пойти к нему», — сказал он.

«К... как к нему?»

«В гости. Он приглашает».

«Ты что же, с-собираешься обсуждать с ним наши дела?»

«Упаси Бог. Друг Горацио! О чем речь? Ничего не было. Понимаешь: ничего не было! Никто ничего не писал, и никто никого не видел. Он сам сказал — забудем и не будем больше возвращаться. Будем считать, что этого разговора не было».

«Ну да, не было, — сказал я. — Если бы не было, то...»

«То что?»

«Если бы не было, то и н-ничего бы не было», — сказал я.

«Дурья ты башка. Разговор происходил без свидетелей, ясно? А если без свидетелей, значит, ничего доказать невозможно. Мало ли кто там писал!»

Этот довод показался мне убедительным.

«Впрочем, — добавил он надменно, — мы говорили не об этом».

«А о чем?»

«О разном. Любопытный мужик».

«Он и меня з-з... зв...?»

Две девочки в подворотне играли в классики. Дул ветер. Вика поднял стеклышко, метко бросил его и запрыгал по клеткам.

«Не хочешь, не надо, — донесся его голос, — не хочешь — не надо».

Roma locuta!

Разумеется, мы пошли.

ГЛАВА 25

Я считаю моделью политического вольномыслия заборные и сортирные надписи. Крамола, как мы ее понимаем в России, есть явление того же порядка, что и мат. Спустить штаны со священного идола государственности не то же ли, что начертать заветное слово, которое нельзя произносить, хотя оно известно всем? В самом процессе начертания есть нечто неизъяснимо сладостное.

В таком смысле и надлежит понимать развитие свободомыслия в России. Повсеместное распространение сортирной словесности есть факт, без которого характеристика нашего отечества была бы неполной. От тонущего в грязи скворешника под дырявой толевой крышей на глухом полустанке до кафельных чертогов в центре Москвы нет отхожего места, где вас не встречали бы знакомые лапидарные тексты и рисунки, где заветная тайна не отворила бы уста и не заговорила на грязном языке народа. Непристойность есть выражение глубокой потребности сделать тайное явным, идет ли речь о тайне пола или о политическом устройстве страны.

Я краснею при воспоминании об эпизоде, который мне придется сейчас рассказать, но хотел бы сразу внести ясность в оценку его последствий. У Герцена одна тетушка говорит: кучка студентов напугала *tout le gouvernement*. В наше время не было никакого *gouvernement*, и никого мы не напугали. А главное, не было тетушек, которые произносили бы такие сентенции. Но называть себя жертвой беззакония было бы лицемерием. Беззаконие подразумевает внутреннюю неправоту госу-

дарства, я же полагаю, что государство было право, поступив со мной так, как я заслуживал с его точки зрения. Государство всегда право, поскольку оно остается верным себе. Нельзя представлять себе закон как нечто внеположное государству: государство — это и есть закон.

Государство было право, учредив систему тотального сыска. Оно было право, поощряя и эксплуатируя человеческую низость. Право, когда истребляло всех тех, в ком видело своих врагов. Государство было трижды право, построив концлагеря. Упрекая его, мы совершаем логическую ошибку, мы подставляем на его место другое, которое кажется нам более «нормальным», а затем уличаем его в беззаконии. В действительности государство является нормой самого себя, подобно истине, о которой Спиноза говорит, что она есть критерий *sui et falsi*.

Буду краток. Мне уже приходилось говорить о странном очаровании, которое находили люди моего времени в чтении ежедневных газет. К полудню перед столом продавца выстраивалась очередь. Монеты брякали о тарелку, и каждый нетерпеливо развертывал пахучие, пачкающие пальцы листы, словно надеялся увидеть там что-нибудь новое. Но находил он все то же, что и вчера. И это было именно то, что он хотел найти. Но тотчас некий рефлекс, физиологический отклик на прочитанное, давал знать о себе не терпящим возражений позывом, и, сложив вчетверо свою добычу, читатель газет устремлялся к тайной двери в темном углу. И вот, когда, войдя в сумрачный зал, пахнувший подземельем, уединившись и накинув на дверь крючок, и утвердившись на шатком помосте, и в последний раз пробежав глазами газетные столбцы перед тем, как употребить их в дело, он поднимал к стенам тесной кельи скорбный и утомленный взор, — что он видел? Он видел на стене то же самое!

Он читал передовицу. Он видел последние известия. Он вперялся остолбенелым взглядом в знакомые ликующие заголовки. Он видел все то же самое. И все наоборот.

На этих гнусных стенах, где всякий привык читать похабные афоризмы и рассматривать грязные рисунки, он видел другие призывы, такие же непристойные, и читал, и как бы соучаствовал в крамоле, что же касается картинок, то он видел то, без чего не обходилась ни одна газета: он видел портрет. Вождь был представлен в полном параде, с маршальской звездой и широких, как дос-

ки, погонах генералиссимуса, в литых усах, в фуражке, со взглядом, устремленным вверх и вдаль, взглядом радостного леопарда, — но при этом он был гол, как сама истина, с короткими поросшими шерстью ногами и чудовищным доказательством своей мужской мощи. И, объятый ужасом, не довершив печального труда, читатель газет торопился покинуть страшное место.

Вот это произведение мы и хотели продемонстрировать бедной девочке, и какое счастье, что нам это не удалось... Уборщицы усердно соскребывали со стен кощунственные столбцы, но это лишь означало, что следом появится новый номер. Как-то раз я заметил, что неизвестные соавторы присоединились к нашему труду, — идея понравилась. Точнее будет сказать, к моему труду, ибо хотя идея принадлежала моему другу Вике, исполнителем, в основном, был я. Просуществовало все это недолго. Начался ремонт. Бригада плотников снесла перегородки, кабинки были уничтожены, и глазам новых посетителей предстал общий помост.

ГЛАВА 26

Поход состоялся в один из ближайших дней, поход, подобный восхождению Десяти тысяч: свернув с шумной улицы, мы устремились в лабиринт каменистых ущелий, в дебри неизвестного материка. Но подвиг наш оказался напрасным, в тот самый миг, когда мы опрокинули варваров, царевич, жаждавший власти, пал, мы больше не были ему нужны. И мы отступили, мы шли, экономя припасы и воду, впереди шагали пешие воины, за ними везли раненых и больных, последними ехали конные военачальники, среди них был афинянин Ксенофонт, среди них находился мой друг Вика, там был и я, ныне описывающий эти события... И вот случилось однажды, когда войско длинной колонной в клубах пыли медленно поднималось по горному склону, мы услышали ропот в первых рядах, услышали тысячегрудый вздох. Донесли крики: «Таласса!.. Таласса!..» Нужно было родиться греком, чтобы понять, что значило для нас это слово. С каменистой террасы мы увидели вдали на горизонте сверкающую полосу воды. И я помню, как мы бежали, падая и сбивая с ног отстающих, ломая повозки, плача — бежали вниз, повторяя одно слово: «Море!»

Погода испортилась. Дождь затянул густой паутиной кривые улочки. Продавец газет проживал где-то между Пречистенкой и Арбатом. Мы заблудились в лабиринте перекрестков и тупиков, несколько раз возвращались на одно и то же место, к длинному приземистому дому с замусоренными окнами, ветхими деревянными ставнями и полуосевшими водосточными трубами по углам. На крыльце стоял вождь туземных племен.

«Папаша, не знаешь, где тут Малый Тетерев?»

«Нет здесь никаких тетеревей. Не водятся».

«Переулочек такой».

«Ну, знаю, что переулок...»

«Как пройти, не знаешь?»

«Не знаю, — сказал старик. — А на кой он вам?»

«Битва у нас назначена. С персами», — сказал Вика. И мы потащились дальше.

«Стой! — крикнул с крыльца старик. Он был в телогрейке и высоких валенках с галошами. — Чего даром мокнуть-то, не уйдет ваша битва. Закурить есть?»

Мы вернулись и стали под навесом. Вика вытянул из кармана кисет. Вокруг капало и чмокало.

Вождь свернул козью ножку, пыхнул пламенем.

«Чтой-то я не понял», — проговорил он, кашляя.

Вика объяснил, что мы идем воевать с Артаксерксом.

«С кем?»

«С Артаксерксом, царь такой».

«Царей теперь нет, — заметил вождь. — Отменены все цари».

«Видишь ли, дедуля...»

«Какой я тебе дедуля?»

«Ну папаша».

«Какой я тебе на хер папаша! Кха! Кха! Кха! Кы-хы-х-ха!»

Он долго и с удовольствием кашлял и выплюнул, тяжело дыша, под дождь ком слизи.

«Чего там у тебя в табаке насыпано? До кишок аж забирает!»

Разговор иссяк, некоторое время мы молча обзрели унылый пейзаж.

Я спросил:

«А вы царя помните?»

«Как не помнить; я всех помню. И царя, и энтото».

«Петра Первого?» — спросил Вика.

«Не Петра, а Николашку. Ты не путай. И энтото, как его, который с царицей жил».

«Распутина?»

«Какого еще Распутина? Она с Керенским жила».

«Понятно», — сказал Вика.

«Чего тебе понятно? Ничего тебе не понятно, — сказал старик презрительно. — Он, может, только числился. Вот как ты, примерно, числишься на работе, а другой за тебя вкалывает... Неспособный был царь, ясно?»

«Как это, неспособный?»

«А вот так: неспособный, значит, по мужскому делу. У него и усы не росли».

«В-вы ошибаетесь, — сказал я, — а как же на марках?»

«Чего?»

«На марках. Там он с усами и с б-б...б...»

«Он хочет сказать, на портрете».

«Нарисовать все можно, — заметил старик, держа толстую папиросу в пожелтевших пальцах. — А я его своими глазами видал, вот как тебя».

Дождь лил и лил.

«Царя?» — спросил Вика.

«Царя, кого ж еще. Я, когда был мальцом, песни пел. А родители у меня были, можно сказать, нищие. Поэтому меня взяли на казенный кошт в школу капельмейстеров. Что такое капельмейстер, знаешь?»

«Дирижер?»

«Капельмейстер — это капельмейстер, — сказал старик, — не знаешь, так и не говори... Да. Летом повезли нас в лагеря. А у меня, понимаешь, кишки схватило, помираю. Меня к лекарю. Как раз полковой лекарь у командира части гостил... Он пошшупал и говорит: надо его в лазарет немедленно. Повезли в лазарет на кобыле, на которой воду возют. Пока везли, болело, привезли — отпустило. Говорят, надо лежать. Лежим. Вдруг...»

Он погрузился в задумчивость, навесил брови и засопел широкими волосатыми ноздрями, разглядывая окурок, потом швырнул его в лужу.

«Ну, в общем, ревизия, — сказал он. — Фершала по коридору туда-сюда... Главный врач заходит, ребята, говорит, сами понимаете, кто к нам едет. Чтoб у меня все чин-чинарем! Мы, конечно, рады стараться. Слышим, идут. Много, цельная толпа. Кругом по койкам лежат взрослые солдаты, один я пионер. Как раз он меня тут и увидел: это, говорит, что за солдат? Какого полка?»

Я руки по швам, нос кверху, и гр-ромким голосом, как положено, вашего императорского величества лейб-

гвардии тра-та-та-та! рядовой такой-то. Шустрый я был. Царь спрашивает у главного: что у него за болезнь? Главный у доктора: что за болезнь? Тот говорит: пендицит. Главный докладывает: пендицит, ваше величество! Ладно, говорит, поправляйся и больше не болей. И вот, слава Богу, сколько уж лет прошло, до сих пор здоров».

Помолчали.

«Ну и как он выглядел?» — спросил Вика.

«Кто, Николашка? Да никак. Росточку небольшого, пониже тебя. Конечно, с лентами, с перьями разными. Орденов! Как у маршала Жукова. Красивый был царь».

«С усами?»

«А как же».

«Ну вот, а ты говорил, не росли».

«Чего я говорил? Ничего я не говорил! Ты на меня напраслину не взводи».

Снова помолчали. Стало светлеть. Дождь падал редкими каплями.

Старик сказал задумчиво:

«Кабы царь был, вся жизнь была бы другая».

«Лучше?»

«Какой там лучше. — Непонятно было, что он хочет сказать, но мы и не старались понять. — Раньше жизнь какая была, знаешь? Во! — Он показал кулак. — Никшни! Раньше порядок был... Вот ты, к примеру, сопляк, а как со мной разговариваешь? Ты бы разве так разговаривал? Ладно, — буркнул он, — заболтался с вами... Мне бы вот еще табачку».

Вика высыпал ему горсть на ладонь.

«Сурьезный табак, — сказал вождь. — Где брал?»

«Сам сажал», — сказал Вика.

«Эва! Огород у тебя, что ли?»

«Ну что, дедушка. Мы пойдем».

«Скатертью дорога!»

«Вы здесь живете?» — спросил я.

«Куды там... у людей живу. Сноха у меня тут».

Мы совсем было уже двинулись, как вдруг дождь снова начал покрывать кругами лужу под крыльцом.

«Ребята, — сказал старик. — Вы ребята молодые. Может, дадите чего, а? Копеек десять, больше не прошу. Вам куды, на Малый Тетерев? Эвон двором пройдете, он и будет».

ГЛАВА 27

Переулоч в самом деле был под носом, и найти дом продавца газет не составляло труда. Дом был необитаем. Высокий двухэтажный особняк, весь темный на фоне блистающего оловянного неба, с остатками герба на фасаде, стоял за полуразвалившейся оградой. Мертвенно отсвечивали его окна, блестели лужи. Кругом ни души. Сбоку участок был огражден забором. По ту сторону забора проход. Прыгая по кирпичам, утонувшим в грязи, добрались до заднего двора и увидели деревянный флигель. Наверху в двух окошках горел свет.

На крыльце оттоптали глину, вошли. Это была довольно крутая, в два марша, скрипучая деревянная лестница, скудный свет едва проникал со двора сквозь амбразуру над крыльцом. На площадке мерцали круглые кошачьи глаза. Зверь спрыгнул с перил. На дверях, обитых рваной клеенкой, можно было разглядеть потемневшую медную табличку:

«Профессор П. Х. Дымогаров».

Вика присвистнул.

«Может, не он?» — предположил я.

Из лохмотьев торчал звонок, старинная вертушка дореволюционного образца, точно такой звонок был в нашей квартире; правда, им уже не пользовались. Слабо продребезжал колокольчик, и настала зловещая тишина. Кот стоял наготове у наших ног, блистая зеленым серебром глаз. У подъезда стоял автомобиль, черный автомобиль, похожий на гроб. Мы ждали, выставив пистолетные дула, убийца же тем временем уходил по чердаку.

«Старший лейтенант Нечипорук!»

«Здесь», — сказал я.

«Приготовиться к штурму. Не стрелять».

Неожиданно сама собой дверь начала открываться. Появилось пухлое белое личико, на нас уставились круглые глаза.

«Пардон, — произнес Вика. — Мы к Павлу Хрисанфовичу. Он дома?»

«Дома», — сказала девочка, и дверь захлопнулась.

Снова тишина, затхлый холод лестницы и кот под ногами.

Убийца вылез из чердака и неслышными прыжками уходил по крыше.

Наконец послышались шаги. Щелкнул выключатель, звякнула цепочка. Брызнул свет...

«А-а, — сказал продавец газет. — Брысь! Пошел вон... А, молодые друзья... Рад, рад. Входите».

Было непонятно, действительно ли он радуется нашему явлению. Отшвырнув ногой ломившегося зверя, продавец газет запер дверь и накинул цепочку. Мы очутились в тесной прихожей, где все место занимал шкаф, а напротив него висело зеркало, откуда, словно из огненной преисподней, взглянуло на меня мое лицо с длинным носом и взлохмаченными волосами.

Собственно говоря, это была не прихожая, а часть комнаты, отгороженная шкафом. В проеме висело что-то вроде портьеры. Направо находилась кухня.

Хозяин говорил:

«Хочешь кормить его, корми на улице. Сколько раз можно повторять? Я спрашиваю».

Ответом было молчание, словно та, к кому он обращался, была немой или слабоумной. Сунув палец в рот, она глядела на нас круглыми, как пуговики, черными глазами. На ней было белое домашнее платье, ветхое и застиранное, черные чулки и вязаные деревенские носки, ей в самом деле можно было бы дать не больше одиннадцати лет, много — двенадцать, если бы не одно странное обстоятельство: она была женщиной. Женщиной с полной грудью, и это сочетание полноты с испуганным детским личиком и малым ростом производило впечатление, которое мне трудно определить, притягивающее и отталкивающее одновременно.

«Ступай на кухню, Клава...» — промолвил Павел Хрисанфович.

В комнате мы увидели круглый обеденный стол, еще один в простенке между окнами, очевидно, рабочий стол профессора, кровать под ветхим пикейным покрывалом, с двумя подушками, — другого ложа не было, разве что она могла спать на кухне... Кто она была, эта девочка-женщина: дочка, внучка, домработница? Быть может, он привез ее с собой из гиблых северных краев, из какой-нибудь умирающей среди ржавых болот деревни? Я заметил, что и Вика, вступивший с профессором в учено-иронический диспут (Павел Хрисанфович суетился, шаркал дырявыми шлепанцами, сам вскипятил чайник на плитке, стоявшей на письменном столе среди бумаг, расставил чашки, затем кряхтя опустился перед буфетом, — явилась бутылка), я заметил, что Вика, рассевшись у стола и

помахивая трубкой, тоже как будто преодолевал некоторую неловкость и время от времени бросал зоркий взгляд мимо профессора. За неплотно прикрытой дверью не слышалось ни звука.

Я листал толстую растрепанную книгу, но мысли мои, стыдно сознаться, были там, на кухне. Я был не в силах совладать со своим воображением, которое рисовало мне бог знает что: как она зажигает газ, как она стаскивает через голову тесное платье и грязноватую рубашку, и остается в одних носках, и кружится, перебирая короткими толстыми ножками, держа в ладонях свои тяжелые груди, перед черным окном, в котором пляшут, отражаясь, лиловые венчики огня, ее черные глаза летают по стенам, жидкие волосы веют в теплом воздухе, и вот наконец она превращается в ведьму и белой кометой уносится в форточку к своему коту.

Подняв глаза от книги (заложенной полосками бумаги, испещренной птичками, подчеркиваниями, восклицательными знаками), я увидел портрет этой Клавы: круглое личико состарившегося дитяти в паричке, похожем на чепчик. Это был прикнопленный над письменным столом вырезанный откуда-то портрет Леонарда Эйлера — что указывало, как это стало понятно позже, на особый характер ученых интересов хозяина... Голос Павла Хрисанфовича окликнул меня. В это время за столом уже чокались. Профессор поигрывал размочаленными концами шарфа, которым была обмотана его тощая шея. Я не мог преодолеть приступ дикой, охватившей меня застенчивости (со мной это бывает). Временами его голос, мягкий и вкрадчивый, как бы вовсе исчезал из моего слуха.

На обратном пути мы чуть не поссорились: Вика сказал, что от глаз продавца газет не укрылось впечатление, которое на меня произвела толстая Клава. Какое же это впечатление, спросил я. «Обыкновенное, — сказал Вика. — Как кусок свинины на голодного». Я проглотил эту грубость, и несколько минут мы молча пробирались вдоль забора, ежеминутно рискуя выколоть себе глаза острыми голыми ветками. «Ты не тушуйся, — продолжал он. — Тут ты добьешься больше, чем с моей сестрицей». — «При чем тут твоя сестрица?» — спросил я.

Выбравшись на тротуар, мы принялись оттаптывать с ног налипшую грязь, и хлопанье наших подошв эхом разнеслось по пустынному переулку. Что-то гнетущее было в голубоватом свете, сквозившем через марлю облаков.

Тротуар успел кое-где подсохнуть. Тускло светились номера домов.

В его глумлении, увы, скрывалась доля правды. Обе девушки как будто совместились в моей душе. В ларце моей любви существовало второе дно. Целомудренный образ Вики отбрасывал тень — приземистую, на толстых ножках; а может быть, сама Вика превратилась в тень, в воздушный мираж, и эта, маленькая, с птичьими глазами без зрачков, с ротиком как мятая роза, осталась на земле ее заместительницей, и с ней не нужно было никаких церемоний, ибо едва ли она понимала другой язык, чем язык голодных взглядов и грубых объятий.

Но неожиданное открытие разозлило меня больше, чем этот намек: он догадался о моей любви! Он знал о ней и посмеивался надо мной. Я вдруг увидел себя его глазами и понял, каким нелепым воздыхателем я должен был ему казаться. Я вообразил, как он будет рассказывать ей о нашем визите к Хрисанфовичу и как весь вечер я был сам не свой, он украсит свой рассказ невероятными подробностями, распишет эту Клаву как доказательство моего истинного вкуса. Правда, тут же я подумал, что этот рассказ, быть может, возбудит ее ревность и заставит ее наконец взглянуть на меня как на мужчину, ибо до сих пор я был в ее глазах размазней, мямлей, в лучшем случае мальчишкой, с которым не может быть ничего «серьезного». А между тем что могло быть серьезней и выше моего чувства к ней! Я любил ее так сильно, что мне не нужно было взаимности. Я понимал рыцаря Тогенбурга. И что же? Достаточно было какой-то толстозадой девчонке взглянуть на меня, как от рыцарства не осталось и следа.

«Валяй! Старик не будет против».

Я остановился и с ненавистью взглянул на него.

Пожатие плеч, его улыбка канатного плясуна, лунного лицедея... И снова согласный стук наших шагов по асфальту... Этот разговор, который я привожу здесь только ради того, чтобы не опустить ничего из застрявшего в памяти, завершился еще одной тирадой моего друга, достойным образцом той игры с действительностью, которой мы предавались изо дня в день. Суть этой игры, в которой он, как всегда, был учителем, я — учеником, состояла в том, что реальный ход событий рассматривался лишь как один из возможных. Мы чувствовали себя в одно и то же время героями и творцами романа, именуемого нашей жизнью, и не отказывали себе в праве

предпочесть одной сюжетной линии другую. Мы были игроками и склонялись над доской, где в качестве фигур стояли мы сами... Нечего и говорить о том, что действительность отомстила нам за такое отношение к ней.

«Предположим, — сказал Вика, — что наш звездочет — стукач. Планеты открыли ему, кто сочиняет в клозете антисоветские пасквилы, и теперь он собирает матерьялец для секретного дяди и таким образом ищет свое прошлое...»

Я похолодел.

«Ты это серьезно?»

«Разумеется, серьезно, а ты как думал?» — хохотнул он.

Поворот, и неожиданно переулочек кончился: мы оказались на Пречистенке. Я еще мог успеть на метро. Двинулись к Дворцу Советов. Залитый светом Дворец поднимался выше облаков. На вершине стоял Ленин. Все это было нарисовано на фанерных щитах и освещалось софитами, а сзади был котлован: гигантский фундамент был разобран во время войны.

Мы шагали, изо всех сил преодолевая усталость, и эхо нашего возвращения несло за нами, как пыль за марширующей колонной.

«...Но он не торопится, — продолжал Вика, едва ворочая полумертвым языком. — Чтобы войти к нам в доверие, он предупреждает нас об опасности. Мы прекращаем выпускать сортирную газету. Переходим к рукописной. Десять экземпляров под копирку... или там гектограф. Номер висит на дверях, на колоннах, на жезле у Ломоносова. Дядя-паук, само собой, в курсе событий и потирает лапки... Мы становимся в семействе Хирсановича своими людьми. Я сочиняю революционную поэму. Ты трахаешь Клаву. Хирсановичу только это и нужно. Звезды так велят, ничего не поделаешь! И вдобавок совесть чиста: ты оскорбил его семейную честь, так поделом тебе... И вот в один прекрасный день... вернее, в одну темную ночь...»

Ветер из подземелья рванул мои волосы, теплый испорченный воздух шибанул в нос, в пах. В ужасе и восторге я сбежал по ступеням в пещеру метрополитена и, задыхаясь, ввалился в пустой вагон. Я боюсь сесть, чтобы мгновенно не уснуть. Мне восемнадцать лет. Я бессмертен.

ГЛАВА 28

То, что я собираюсь сказать ниже, — лишь малая часть соображений и догадок, которые можно было бы привести касательно личности и мировоззрения Павла Хрисанфовича Дымогарова; я воздержусь от них, так как не располагаю достаточным числом фактов. Пусть эти строки, по необходимости лаконичные, послужат запоздалой данью памяти о нем. Думаю, что я единственный, кто сохранил эту память. Что стало с Клавой, куда делись записи Павла Хрисанфовича, его вычисления и то, что он называл Полным Прогнозом, — неизвестно. Продолжателей у него, насколько я могу судить, не нашлось, а дом в Малом Тетеревом переулке давно снесен, да и переулк больше не существует.

Не исключено, что он в самом деле когда-то что-то преподавал, хотя едва ли был профессором. Скорее всего (как я предполагаю) он просто присвоил себе это звание в тех местах, где люди придумывали для себя всевозможные звания и чины, лишь бы не оказаться на дне. С этим званием он и вернулся. Как и когда Павел Хрисанфович пришел к своей идее, произошло ли это в заключении (если он был в заключении) или раньше, не знаю. Замечу лишь, что его наука должна была оправдывать для него тот особый фатализм, который был безусловным законом для целого поколения людей и на языке тех лет именовался патриотическим долгом. То, что угодно кесарю, начертано на небесах.

Нечего и говорить, что я отношусь ко всякого рода гаданьям скептически. Я не могу даже утверждать, что его наука привлекала меня с чисто эстетической стороны — как сочетание строгой знаковой системы с весьма зыбкой семантикой (что сближает звездословие с музыкой). Эстетика — это было по части Вики, великого мастера двусмысленности, недаром он с таким увлечением слушал продавца газет. Тем не менее главная идея нашего друга профессора созвучна моему личному ощущению времени. Я поясню это на следующем примере. Много лет меня преследовала, да и теперь еще посещает, этакая фантазия, если хотите — кошмар. Я купаюсь в море, заплыл далеко, пора возвращаться. И вот я плыву к берегу, волны несут меня на своих спинах, и кажется мне, что вот-вот я коснусь ногой твердого дна, но волна,

обогнав меня, ударяется о берег и откатывается мне навстречу, и я никак не могу доплыть. Мне бы надо спокойно переждать обратную волну и плыть с попутной, но у меня нет опыта, я первый раз купаюсь в море, и вот я напрасно истощаю свои силы, отчаяние охватывает меня, берег, такой близкий, недостижим, я барахтаюсь, хватаю ртом воздух, рвусь вперед, а встречная стена воды окатывает меня с головой. Я никогда не бывал на море, я житель глухого материка, и море для меня — миф, далекое и несбыточное видение. Но во сне я вижу его мерцающие блики, нестерпимый блеск воды, слышу его шум и плеск, как будто оно за стеной. И вот, мне кажется, видение не зря посещает меня. Я верю в вещи сны, хоть и не в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово.

Мы можем с равным правом полагать сон предвестием действительности, а действительность — предсказанием сна. Сон — это движущиеся картины, которые действительность развешивает на стенах души, но я думаю, я догадываюсь, что действительность состоит из двух противоположных движений. Время несет нас на своих плавниках из прошлого в будущее. А из будущего навстречу катится обратная волна и накрывает нас с головой. Так в борении времени и того, что несетя ему навстречу, в сшибке свободы и предопределения зыблется наша жизнь.

Теперь представим себе, что антивремя может быть учтено «объективно». Вообразим часы с двумя циферблатами. Один обыкновенный, а другой — с другими знаками и делениями, отмеряющими встречное время.

Некоторые факты, на которые ссылался П. Х., любопытны. Конечно, сами по себе они не новы — хотя в те дни, во время наших визитов в деревянный флигель, они удивляли и интриговали нас. Один из них был гороскоп Эйлера — факт, по выражению Павла Хрисанфовича, хрестоматийный. Эйлер, похожий на Клаву, висел над профессорским столом. Между прочим, ему принадлежала идея параллельных рядов. Речь идет, пояснил Хрисанфович, об особом рода функциональной зависимости, когда обе переменные поочередно являются и аргументом, и функцией. Однако, добавил П. Х., он предпочел бы не отвлекаться.

Итак: в тысяча семьсот сороковом году мекленбургская принцесса Анна, внучка Иоанна V, произвела на

свет младенца, которому спустя два месяца был пожалован титул императора. Этому императору, Иоанну Шестому, а вернее, Третьему, если вести счет по числу царей, едва успел миновать год, как однажды ночью, зимой, в спальню его матери регентши вошла цесаревна Елизавета Петровна в кирасе, надетой поверх платья, с ватагой преображенцев, и сказала: «Сестрица, вставай». После чего вынула императора из колыбели, расцеловала и передала усатому гвардейцу. Мать и сына повезли на Соловки, потом еще куда-то, позже мальчик оказался в Шлиссельбурге, все бумаги, где называлось его имя, были уничтожены, всякое упоминание о нем запрещалось, и сам комендант не знал, что за узник сидит у него в каземате. Был проект женить его на государыне; Екатерина тайно побывала в крепости и нашла там двадцатидвухлетнего парня, дикого и наполовину поврежденного в уме, сидящего в углу, как зверь; он, однако, знал, кто он такой. После этого получена была из дворца инструкция умертвить арестанта в случае покушений с целью его освобождения, что и было выполнено в 1764 г., когда императора пытался вызволить некий Мирович; таковы факты.

Согласно официальному предсказанию жизни Иоанна VI, составленному Эйлером при рождении младенца, его ожидал царский венец, а далее долгая и счастливая жизнь. Венец сбылся, хоть и не надолго, о прочем же никогда более не вспоминали, если не считать темных слухов вроде того, о котором фрейлина Загрязская рассказывала Пушкину. Да и никто не доверял пророчествам астрологов. После переворота начались гонения на немцев; Эйлер уехал. Но! (Продавец газет поднял палец.) Но гороскоп сохранился. Не фальшивый, представленный двору, а настоящий, ужаснувший академиков, и поэтому его никому не показали. Он сохранился в «Делах с известным титлом» и даже был опубликован сто лет спустя в малоизвестных «Записках Екатеринбургского Общества ревнителей отечественной истории», откуда его и выудил П. Х.

«Вот, — сказал он, — обычный солярный гороскоп, такой же, как у Эйлера: обратите внимание, друзья мои. Считается, что восточные дома отвечают событиям первой половины жизни, западные — второй. Что мы здесь видим? Западные дома пусты. Это значит, что второй половины вообще нет. Ее не будет. Асцендент в созвездии Стрельца. Марс в XII доме и поврежден близостью

Сатурна: насильственная смерть... ну-с, а теперь прошу взглянуть на эту таблицу. Перед вами так называемый зодиакальный паспорт. Своего рода послужной список. Левый столбец — годы жизни... Получается забавнейшая вещь».

ГЛАВА 29

Повторяю то, что уже мною сказано: вынужденный уделить место этим предметам, я снимаю с себя ответственность за эту часть моих записок. Какова была цена ученым исследованиям Павла Хрисанфовича Дымогарова, была ли его система истиной или мифом? Судить не берусь. Скажу больше: этот вопрос мне глубоко безразличен. Буду продолжать... Итак, если верить профессору, ему удалось реконструировать весь жизненный путь несчастного Иоанна Антоновича, всю его темную судьбу. При этом он утверждал, что смог восполнить многие белые пятна, в частности подтвердил считавшуюся абсолютно недостоверной версию о том, что попытка освободить узника, стоившая ему жизни, была не единственной. Первый такой случай должен был произойти, когда ему было около шестнадцати лет, то есть сразу по прибытии в крепость. Место императора в камере должен был занять двойник. Таким образом, открывался новый династический вариант русской истории. Однако дело не в императоре. Как сказал П. Х., это всего лишь пример; правда, таких примеров не так уж много.

В шестнадцатом столетии несколько любопытных прогнозов сделал знаменитый Джироламо Кардано. Он даже предсказал день собственной смерти, и когда этот день наступил, уморил себя голодом, чтобы не посрамить науку. Другие его пророчества были удачней, а главное, он первым попытался сравнить астрологическое предсказание с фактами уже известной жизни. Такое сравнение служит как бы нормировкой прогнозирующего прибора. Известны и другие проверки, иногда они совпадали, иногда нет, причем возникает вопрос, не является ли астрологический ряд, в том случае, если он не совпал с реальным, не является ли он указанием на вариант действительности, в каком-то смысле предусмотренный, но не реализовавшийся?

Произнеся эту фразу, продавец газет подмигнул, и ощущение зыбкости всего, что нас окружало, — хорошо

помню, — пронзило меня в эту минуту. Такое чувство должен испытывать канатный плясун, поглядев случайно вниз. Хрисанфович показался мне сумасшедшим. Но он не был сумасшедшим. Он встал, прошелся туда-сюда, включил радио. Разговор продолжался.

Разговор продолжался, причем профессор как будто прочел мою мысль, сказав, что все это может, конечно, показаться пустыми бреднями, однако существует твердая почва, эту почву составляют чисто формальные соотношения, но для того, чтобы их установить, чтобы постигнуть истинную семантику языка планет, нужны многие сотни гороскопов, многие сотни зодиакальных паспортов. И усталый жест, которым он указал, вздохнув, на свой стол, был приглашением вернуться к прозаической действительности.

Между тем из картонного рупора доносилось что-то, казавшееся мне знакомым. Голос продавца газет утомительно звучал в моих ушах, лекция мне прискучила, к тому же я испытывал определенное разочарование оттого, что не было Клавы. Я томился по ней, если уж на то пошло... Кажется, она гостила у родственников в деревне. Что это была за деревня и какие родственники, ума не приложу. Именно тут произошел эпизод, о котором я считаю нужным упомянуть. Диктор назвал имя: Дитрих Букстехуде. Это был концерт из цикла «Новые музыкальные записи». Имя это мне, конечно, ничего не говорило.. И вот в комнату вплыла колышущаяся мелодия, вплыла, словно рыба на серебряных крыльях-плавниках, словно отверзла очи чья-то душа. «На-ра... ра... м-м...» — мурлыкал астролог, приподнимая крышку чайника, и, собственно, оттого он и оказался у стола, над которым висело радио. Наконец чайник закипел. Павел Хрисанфович понес его, словно брашно к поминальному столу, по дороге выдернув обе вилки из розеток — вилку электроплитки и радио. Музыка смолкла. И я вспомнил, где она исполнялась.

Я вспомнил это с такой же отчетливостью, с какой помню теперь, что происходило на другом конце жизни: старуху Светлану Сергеевну, гида с повязкой и скрип колесницы в гулком холодном зале, где меня приняли за мужа. И ту, которая лежала в деревянной ладье, в хрустальной колыбели, чье юное тело расплавилось в огне, ибо она оставалась прежней в то время, как я старел. Клянусь, это было так, а не иначе; время сделало круг. Все это мне припомнилось — не теперь, а тогда. Павел

Хрисанфович застыл с чайником, струя кипятка лилась мимо чашки на скатерть, и губы его шевелились. Внезапно он опомнился. «Ах!.. Я вас не облил?»

Отсюда оставался один шаг до создания метаастрологии как системы. Объяснить конкретный смысл этого термина я, впрочем, едва ли сумею. Если я скажу, что наука эта была способом схватить антивремя, несущееся нам навстречу, зашифрованное в значках светил, — будет ли это достаточным объяснением?.. А Вика? Вика слушал лекцию Хрисанфовича с неподдельным вниманием. Очевидно, было что-то в профессоре, в его голосе и взгляде, даже в его манере сидеть за столом, забросив ногу за ногу, сузив глаза и поигрывая концами шарфа, было что-то, магнетически привлекавшее моего друга. Вика утверждал, что «идея» ему ясна. Однако из этой идеи следовали выводы, которые надлежало принять как научную истину. Верил ли он в истину? Скорее его увлекло внешнее оформление. («Красиво врет», — вот его слова.) Красота профессорских построений состояла в том, что строгость системы, немые столбцы цифр и четкие, как ходы в шахматах, правила оперирования со знаками сочетались с неясным и жутким смыслом, который стоял за всей этой математической чертовщиной. Вот эта чертовщина, которую мы оба чувствовали, я думаю, гипнотизировала Вику. Я думаю, — как это ни покажется сейчас кощунственным, — что между ними было родство душ.

Сам Павел Хрисанфович следующим образом пояснил свою мысль: существует *пратекст* действительности и правила, при помощи которых он может быть непосредственно прочитан. Для этого обычная шкала времени заменяется абсолютной, наподобие абсолютной шкалы температур, и проблема перехода от прошлого к будущему снимается. Весь ансамбль событий рассматривается как «длящееся настоящее». Смена событий оказывается иллюзией, вроде бегущих букв на световой рекламе: на самом деле никакого движения нет, просто вспыхивают разные лампочки. Сами по себе они ни появляются, ни исчезают.

Павел Хрисанфович говорил о подспудном слое в астрологии, существование которого постулировал Кеплер. Имеется знаковая структура, своего рода алгебра астрологического языка; очищенная от шелухи суеверий, она представляет собой голый формальный

аппарат прогнозирования. Это алфавит и грамматика пратекста.

Астрология — предок науки. Когда-то под астрологией подразумевали предсказание судьбы. Не обязательно личной: делались попытки расширить прогноз до масштаба города и даже целого государства. Разумеется, они носили донаучный характер; однако не следует ими пренебрегать. Задачи метаастрологии, сказал П. Х., существенно шире. Ее возможности необозримы. Понятно ли нам, о чем идет речь?

Диковинная наука была не чем иным, как интерполяцией истории в будущее. История была predetermined — в буквальном смысле написана на небесах. Но — оставляя в стороне вопрос об истине — был ли профессор вполне беспристрастен в своих попытках прочесть этот загадочный текст? Не уподобился ли он придворному гадателю, чей прогноз должен был в любом случае сулить счастье, благополучие, долгую жизнь и царский венец? Увидел ли он этот венец на челе России? Говорилось о науке, о поисках объективной истины. Но ученый азарт Хрисанфовича питался иной страстью, «угрюмый, тусклый огонь» согревал его, то был огонь патриотизма. Патриотизм был для него абсолютной точкой отсчета, высшим доводом и высшей моралью, то есть моралью фаталистической; патриотизм примирял прошлое страны с настоящим и одновременно примирял собственное прошлое Павла Хрисанфовича с настоящим, возвращая его жизни смысл, без чего она обратилась бы в прах.

ГЛАВА 30

Давно пора было наступить зиме, но по-прежнему лили дожди, и город был похож на огромный тонущий корабль, который напрасно подавал в тумане сигналы бедствия. На безлюдных улицах, между накренившимися домами, метался ветер, качались фонари и брызгали водой ржавые водостоки. Деревянный дворец Хрисанфовича стоял весь черный от сырости, пробираться к флигелю приходилось держась за шаткие доски забора, и вокруг крыльца с хлопающей дверью, среди полузатонувших кирпичей, похожих на Курильские острова, бежало рябью тусклое море. Кот сидел на перилах с еги-

петским терпением. К этому времени знакомство наше с профессором превратилось в некое подобие дружбы... Он даже называл нас своими учениками, несмотря на задиристо-непочтительный тон, который Вика усвоил по отношению к нему; этот тон, впрочем, лишь подстрекал красноречие Павла Хрисанфовича. Словом, нас тянуло к нему, а он, в свою очередь, испытывал видимую потребность в нашем обществе, пожалуй, привязался к нам, точнее, привязался к Вике, так что я даже ревновал к нему моего друга. Разувшись на пороге, мы шлепали босиком на кухню, где Клава развешивала на батарее наши носки. Постепенно ее присутствие в профессорском доме перестало казаться загадкой: почему бы ей, в самом деле, не быть обыкновенной домработницей, каких немало было в Москве до войны, спасавшихся от колхоза, деревенской скуки и безвыходного девичества? Мы вошли. Крепкий чай, по бутерброду на брата, слипшиеся конфеты «подушечки» в вазе желтого стекла, желтый, похожий на юбочку матерчатый абажур и наш хозяин, бедный и тощий, обмотанный ветхим шарфом, концы которого болтались на его впалой груди, младенец Эйлер в полутьме над письменным столом — все казалось теплым, уютным, как будто ждало нас, все грело и веселило после жестокой непогоды.

В этот вечер Павел Хрисанфович сказал, что он часто думает о глупом эпизоде, как он выразился, — едва не погубившем нас.

«Слава Богу, все, кажется, обошлось».

Мы помалкивали, потягивали чай с блюдечек, поджав босые ноги под столом. В сущности, мы почти уже забыли о нашей газете.

Продавец газет продолжал:

«Я думаю, вам следует знать, что кое-кто обратил внимание на ваше предприятие. Догадываетесь, о ком я говорю?»

Нет, мы не догадывались.

«Меня вызывал оперуполномоченный, — сказал Павел Хрисанфович. — В каждом учреждении есть оперуполномоченный. В университете тоже есть».

«Да?» — спросил Вика.

«Да.»

«Где же он сидит? У него есть кабинет?»

«Разумеется».

«Где?»

Павел Хрисанфович крякнул.

«Вот этого, Вика, я, к сожалению, не могу вам сказать. Уполномоченный это — как бы вам объяснить, — это секретная фигура. Представитель госбезопасности. Каждого, кого туда вызывают, предупреждают, что он ничего не должен разглашать».

«А вы?» — спросил Вика.

«Что я?»

«А вы разглашаете?»

Звездочет промолчал, пососал конфету.

— Почему вас? — продолжал спрашивать Вика.

«Потому что мимо меня все проходят. Я сказал, что ничего не заметил. Вот так, друзья мои... Слава Богу, все обошлось».

Некоторое время мы все молчали. Затем Павел Хри-санфович сказал:

«Как вы догадываетесь, я тоже был... читателем и отдал должное вашему остроумию. Разумеется, я понимаю, что это была мальчишеская шалость. Я все понимаю. Но все-таки... Позвольте вам задать один вопрос. Зачем вам, в сущности, это понадобилось?»

Тишина. Да и что мы могли ему ответить? Низачем. Затея была прекрасна сама по себе.

Профессор встал.

«Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Что вы хотели сказать этой вашей... газетой? Знаете, друзья мои, — сказал он, прохаживаясь по комнате взад-вперед и в волнении потирая руки, — я все же как-то не верю, что это одна только шалость. Я не собираюсь устраивать вам допрос, и вообще, мы договорились, что никто ничего не видел... Могу, если не возражаете, ответить на свой вопрос сам. Расшифровать общую идею, которая содержалась в вашем, м-м, выступлении... Вы позволите мне говорить начистоту?»

«Валяйте», — сказал Вика, откусывая огромный кусок бутерброда.

«М-да... ну что ж! Вы хотели сказать, — я подчеркиваю, что хочу лишь эксплицировать идею, так сказать, обнажить вашу мысль, хотя, может быть, вы ее и не вполне осознавали, я готов это допустить, но смысл вашей пародии именно таков, — вы хотели сказать, что существующий порядок, да, именно, существующий порядок — есть ложь и бессмыслица. Вы хотели сказать, что победа России в величайшей из войн — это пиррова победа, а величие русского государства — мнимое величие... Не выдавши страну, не имея правильного представ-

ления об ее прошлом, не зная ее народа, я подчеркиваю: не зная! — вы уже его осудили, не так ли?»

«Дядя, — лениво сказал Вика, — при чем тут народ?»

Речь Павла Хрисанфовича, казалось, не произвела на него никакого впечатления. Я покосился на «дядю». Профессор сидел в позе Петра, разговаривающего с царевичем Алексеем, нога на ногу, стуча желтыми ногтями по скатерти и вперяя в Виду сверкающий взор.

«Еще чаю?»

«Благодарствуйте...»

«А вам?»

«Спасибо, б-больше не надо», — пробормотал я.

Разговор продолжался: звездочет спросил, читали ли мы Чаадаева?

Нет, мы не читали.

«Вы знаете, кто это такой?»

«Чаадаев — друг Пушкина», — сказал я.

«Да, — подтвердил он. — Допустим. Хотя, если вдуматься, вовсе не друг...»

Он вздохнул, поднялся, и наконец на столе появилась давно ожидаемая бутылка. Замечательная иностранная бутылка с экзотической этикеткой, куда Павел Хрисанфович каждый раз подливал напиток, судя по всему, не столь высококачественный.

«Нехорошо, — пробормотал он, слегка дрожащей рукой извлекая пробку, — сам знаю, что нехорошо, но так и быть: по рюмочке! Раз пошел такой разговор...»

ГЛАВА 31

Оказывается, мы повторили тезис Чаадаева. То есть мы повторили бы тезис Чаадаева, если бы «эксплицировали идею». Эта идея (мне она тут же понравилась) есть отрицание России. Нет, поправился профессор, ставя рюмку на стол. Не отрицание, а глумление. Вся русская мысль в продолжение ста лет вела спор с Чаадаевым и дала ему два противоположных ответа. Однако спор не кончен. Он налил себе еще и после некоторого колебания — мне и Вике.

«Историю можно трактовать двояко, в терминах науки и в терминах провидения. Я считаю, что один взгляд не противоречит другому. Как вы полагаете?»

Как? — да никак. Разговор трещал, дымил и все не мог разгореться. Едва ли, впрочем, Павел Хрисанфович ждал от нас серьезных возражений. Ученый спор съезжал в туманную область пророчеств, в смутный и опасный бред, в шорох крамолы. Я заметил, что голос Хрисанфовича как будто проваливается, — так бывает, когда смотришь в телевизор. Пользуюсь этим современным сравнением за неимением лучшего. Человек на экране о чем-то толкует, вы следите за движениями уст и вдруг ловите себя на том, что давно уже не слышите, о чем он там говорит. Потому что и уста, и вставные зубы, и фосфорный блеск глаз, и ногти, барабанившие по скатерти, сами ведут красноречивый рассказ, но рассказывают не о том, о чем говорят слова. О чем же?

За языком скрыт другой язык, за этим лицом стоит другое лицо, за мыслями, пробегающими, как деревья за окном вагона, бежит в противоположном направлении другой строй мыслей — словно дальний строй деревьев. Но где был тот, кому все это принадлежало? Я поглядывал на запавшие черты продавца газет, ловил его погибающий взгляд, — да, именно так надлежит смотреть на историю, как бы с двух концов, ибо если все будущее заключено в прошлом, то и прошлое, в свою очередь, есть не более чем текст, записываемый под диктовку будущего, — слушал, и мне казалось, что человек этот говорит на иностранном языке. Звук его речи говорил больше, чем самая речь. Мысль, как тонкий налет, осела на его лице. Но как только я устремил внимание на это лицо, он вернулся в свою речь, и я снова потерял его, ибо не слышал того, что он говорил. И так повторилось несколько раз.

«Как вы понимаете, — донесся его голос, — я отнюдь не из тех, кто готов петь хвалы этому режиму. — Он улыбнулся. — Надеюсь, вы на меня не донесете?»

«Можете не надеяться», — сказал Вика.

«Хе-хе...»

«И не вздумайте бежать на чердак. Там тоже наши люди».

«С вами не соскучишься. Еще по рюмочке?»

«Валяйте...»

Профессор кисло улыбался, качал туфлей. Вдруг на кухне что-то грохнуло.

Мы все разом повернулись, точно ждали этого.

«Клавушка! Ты что там делаешь?.. Ты спишь?»

Тишина. Туфля на ноге Хрисанфовича перестала качаться, вино слегка колебалось в его руке. «Клавушка» не откликнулась. Потом дверь начала потихоньку открываться; на миг выглянуло круглое свиное личико и снова исчезло.

«М-да, — сказал профессор. — На чем бишь мы остановились?.. Итак, я отдаю справедливость вашему критицизму. Но, господа! — Он поднял рюмку, точно говорил тост. — Надо видеть вещи в исторической перспективе. Надо понять, что эта власть... как бы к ней ни относиться... только оболочка! Позвольте мне сформулировать один деликатный вопрос».

«Какой вопрос?»

«От ответа на него, собственно, все зависит... Была ли революция неизбежной?»

«Конечно», — сказал я.

Я произнес это неожиданно для самого себя, потому что, как я уже говорил, разговор наш был важен не тем, что говорилось вслух, а чем-то подразумеваемым, что висело в воздухе и все еще не могло разрешиться, как мгла за окнами, как присутствие Клавы за дверью.

«О! — Звездочет поднял брови. — Вот так, без всяких сомнений?.. Прекрасно, молодой человек. Рад, что вы включились в дискуссию. Позвольте вас, однако, спросить: откуда вам это известно?»

«Что известно?» — спросил я бестолково.

«Что большевистская революция была неизбежным следствием нашей истории. Что она вытекала из нее».

Я пожал плечами. Я даже придал своему движению наивозможную презрительность, потому что профессор явно придерживался другого мнения. Дело в том, что причиной, заставившей меня открыть рот, была злоба. Я это понял. От блаженной неги первых минут не осталось и следа. Меня раздражали его витиеватость, лукавая уклончивость, все эти «м-да» и «если позволите так выразиться», но еще больше раздражало нечто, для которого я не могу подыскать определения. Словом, я искал, на чем мне сорвать свою злобу.

«Интересно, очень интересно! — сказал Павел Хрисанфович. — Между прочим, мои данные говорят о том, что революция, по крайней мере в той форме, в какой она произошла, отнюдь не была целью русской истории. Как вы понимаете, термин «цель» употреблен мною в его специфическом значении... Но дело не в этом. Безусловно, такой вариант, я имею в виду насильственную ломку,

был предусмотрен. Но были и другие. Даже в пятнадцатом году вероятность крушения была невелика, а в шестнадцатом и начале семнадцатого стала еще меньше... Я, друзья мои, хорошо помню предреволюционные годы. Должен вам сказать, что никакого развала не было, напротив, страна постоянно шла на подъем. А что касается революционного движения, то давайте обратимся к фактам».

«Давайте!» — сказал я и стукнул кулаком об стол.

«Может быть, — заметил он мягко, — мы больше не будем наливать? Боюсь, что наш друг...»

«А вы не б-бойтесь!» — сказал я.

«Русские мальчики, — кивая головой, пробормотал Хрисанфович, — русские мальчики...»

Голос его снова начал пропадать.

Но мне хотелось с ним спорить.

«Вот вы говорите, — начал я, не слушая и не слыша его, — вот вы говорите: великая страна, великий народ. Какой же он в-в-в... великий, если все... — Мне хотелось привести наиболее веские доводы. Но они требовали слишком длинных фраз, слишком долгих объяснений. А я хотел сокрушить его одним ударом. — Нет уж, — прыгнул я. — Все это надо вдребезги... к черт-товой матери...»

Я обвел глазами стены убогого жилья.

«Газета! — сказал я презрительно. — Ерунда собачья... Не газетами надо действовать. Знаете, что Ленин сказал? Ленин сказал: мы таким путем не пойдем».

«Каким же?» — спросил он осторожно.

«Что каким?»

«Каким путем предлагаете идти вы?»

Я посмотрел на астролога, и мне показалось, что он снова говорит на двух языках: одним языком говорили уста, а другим — глаза и руки, вертевшие рюмку.

«Надо вот что, — сказал я, лихорадочно соображая, что бы мне такое придумать. Потому что на самом деле я хотел высказать ему совсем другое. — Надо... купить несколько сот открыток. Понимаете, обыкновенных почтовых открыток. И бросать их в почтовые ящики. Надо открыть людям глаза. Одним словом, нужны энергичные меры... Нужна н-новая революция».

«Это что, у вас такая идея?» — спросил Хрисанфович Вику.

Вика устремил в пространство таинственный взор.

Хрисанфовичу, однако, мои слова как будто даже понравились. Я констатировал это с удивлением.

«Вот, вот, — кивал он, словно экзаменатор, который слышит отличный ответ. — Именно так они и рассуждали!»

«Кто рассуждал?»

«Видите ли, м-м... Не берусь утверждать, что именно так они формулировали свою задачу. Но ведь это не так уж и важно. Важно, какими, так сказать, импульсами они были движимы».

«Кто они?» — спросил я, сбитый с толку.

«Люди, совершившие переворот, — сказал он. — Надеюсь, вам известно, что это не те люди, чьи портреты вы теперь видите на улицах во время праздников...»

«Ка... какие праздники?»

Звездочет вздохнул.

«Я говорю не о праздниках, — тихо проговорил он, глядя на меня большими глазами. — Существовали, м-м, определенные силы, которые сдвинули на короткое время курс отечественной истории. Существовала этническая группа, более, чем какая-либо другая, заинтересованная в крушении страны. Но мне кажется, э-э...»

Тут у меня мелькнула одна мысль. Он не назвал меня по имени — может быть, потому, что и я никак не обращался к нему. И теперь он делал вид, что забыл, как меня зовут. Но он не мог забыть. Это была особая, тонкая и ядовитая форма презрения.

«Мне кажется, э-э... вы не следите за моей мыслью...»

«Очень даже слежу», — сказал я злобно.

«М-да. Кхм!»

«Что же это за этническая группа?» — спросил я.

«Видите ли, — проговорил он задумчиво, — вы, вероятно, и сами это знаете...»

«А Ленин?» — сказал я.

«Увы! — улыбнулся Хрисанфович. — И Ленин не исключение. Именно он-то как раз и не исключение».

Он принялся изучать бутылочную этикетку.

«Это что? — спросил я, пораженный. — Это... по вашим таблицам, по вашей к-к-кофейной гуще так выходит?»

«Нет, кофейная гуща тут ни при чем. Это документальный факт».

«А ты что, не знал?» — донесся голос Вики.

«Но судьба, — продолжал мертвым, покойным голосом Павел Хрисанфович, — позаботилась о том, чтобы люди, посеявшие зло, сами потом перебили друг друга... Вот вам и разгадка знаменитых процессов тридцатых годов. Трудный, мучительный процесс самоочищения национального тела России».

Он устал. Я вдруг заметил это. Лицо его обвисло, рот приоткрылся. Он вертел свою рюмку двумя пальцами, потом, словно только сейчас увидел, что в ней осталось вино (какая-то жгучая и отвратительная на вкус настойка), внезапным движением опрокинул ее в рот. Глаза его медленно, как восходит тусклая звезда, поднялись и застыли на моем лице, и он проговорил:

«Да-с, позаботилась. — И добавил: — А за кофейную гущу ты мне заплатишь».

Последняя фраза, возможно, не была произнесена. Возможно, он сказал ее на том, другом языке, который я тщетно старался понять. Во всем этом разговоре была какая-то безысходность. Вдобавок звездочет все время уходил в сторону.

Нужно было объяснить ему, нужно было набраться терпения.

«Как вы не понимаете?» — сказал я.

С трудом ворочая языком, я продолжал:

«Какое очищение? Партия переродилась. У нас не социализм, а фашизм! — высказал я наконец свою главную мысль. — Если бы Ленин остался в живых, его бы объявили врагом народа и расстреляли».

Звездочет внимательно меня слушал.

Подумав, я добавил:

«Как у Достоевского».

«Простите?»

«Вы читали «Братья Карамазовы»?»

«Допустим», — сказал Хрисанфович.

«Там есть такой Великий инквизитор. Он говорит: зачем Ты пришел? Ты нам не нужен, завтра сожгу Тебя».

«Так-таки и сказал?»

«Вы что? — спросил я. — Вы надо мной с-с... смеетесь?»

«Боже упаси», — сказал Хрисанфович.

«А вот он, — сказал вдруг Вика, — тоже еврей».

«Я не еврей!» — вскричал я, дрожа от негодования.

Профессор вздохнул, переменял позу.

«Не будем ссориться, друзья мои. Не будем ссорить-

ся... В самом деле, Вика, — сказал он строго, — откуда вы взяли?»

«Догадался, — ответил Вика. — По портрету».

«Что?» — сказал я, поворачиваясь к нему. Он смотрел на меня смеющимися глазами, я — на него, мучительно вспоминая, о чем шла речь и откуда вообще взялась эта тема. Безвыходность, я уже сказал, что во всем этом была глухая безвыходность. Я хотел сказать нечто важное, великолепное и убийственно-меткое, но слова застряли у меня в горле, и я был похож на человека, запертого на ключ. Теперь оба они — и Вика, и продавец газет — были моими врагами.

ГЛАВА 32

Продавец газет налил себе чаю, но чай остыл. За окнами шелестел дождь. Кряхтя и морщась от боли в пояснице, он поднялся, и до слуха моего донеслось, как он долго и безуспешно пытался воткнуть вилку в розетку.

«Кстати, — продребезжал его голос. — Вы могли бы обуться. Еще простудитесь, чего доброго».

Он позвал:

«Клава!»

Мы тупо посмотрели на дверь.

«Клавушка!»

И дверь сама собой открылась.

Не открылась, а распахнулась от толчка изнутри — и взорам нашим предстало нелепое и сказочное явление: Клава, одетая в не поддающееся описанию платье, вероятно, сшитое из лоскутков, с идиотически-кокетливой ухмылкой стояла, как в раме, в дверном проеме кухни, растянув веером над толстыми коленками цветастый подол и поводя туда-сюда бедрами. Мы воззрились на нее, словно это была ожившая целлулоидная кукла или восточная богиня, сошедшая в убогую профессорскую келью с конфетных небес, — и профессор, повернув к ней растерянное лицо, с чайником в руке, проворковал умильно:

«Красавица, уж такая красавица! Лучше некуда».

Она все крутилась на пороге, улыбаясь и выставляя неестественно полную грудь.

«А теперь ступай к себе».

Он сел и устало повторил:

«Ступай к себе...»

Явление Клавы в новом платье разрядило обстановку. Дверь затворилась. Она там что-то делала: прыгала или прохаживалась — может быть, танцевала. Хрисанфович, аккомпанируя себе пальцами по столу, мурлыкал жидким тенорком арию Каварадосси. Потом я услышал, как он сказал:

«Я хотел вас спросить, Леня...»

Впервые он назвал меня по имени.

Я поднял голову.

«Простите, что я снова возвращаюсь. Но вы сами об этом упомянули... Чья это была идея?»

Теперь он мурлыкал какой-то романс.

«Газета?» — спросил я.

«Вы можете мне не отвечать, я не собираюсь вас допрашивать».

«Моя».

После всего, что я тут говорил, мне было стыдно признаться, что тексты сочинял Вика, а не я. Впрочем, я плохо помнил, что именно я говорил; все это восстановилось постепенно, позже...

«Моя, — сказал я. — А что?»

«У-гм... А девушка?»

«Какая девушка?»

«Ваша девушка, — мягко сказал он, еле заметно нажимая на слово «ваша». — Она... знала?»

«Не знала», — сказал я.

«О, если б знать, что сердцу будет мило. Что суждено... Знаете что, — проговорил он, — я бы хотел дать вам один совет. Даже не совет, а так, на всякий случай. Если вас вызовут... ну, словом, если это дело всплывет...»

«Там все сломали», — сказал я.

«Вот именно, и слава Богу. Так вот, мой вам совет... на всякий случай. Ни за что не признавайтесь».

Павел Хрисанфович, растопырив пальцы, взял аккорд. И еще аккорд. Павел Хрисанфович играл неведомую музыку на скатерти.

В эту минуту я вдруг заметил, что Вика пропал. Его не было за столом.

Я взглянул на профессора; тот рассеянно пожал плечами.

Я встал.

Дверь на кухню была закрыта, и оттуда не доносилось ни звука.

Я вошел в кухню. Если мною и двигали какие-то чувства, то лишь недоумение и любопытство. И так, я вошел.

На кухне, у окна стояла Клава, и Вика, наклонившись над ней, обнимал ее сзади. Оба стояли спиной ко мне. Личико Клавы смутно белело в запотевшем стекле.

Не выпуская ее из объятий, Вика повернулся ко мне. Я стоял на пороге, босой, и смотрел на них. Вика был в ботинках с незавязанными шнурками.

«Тебе чего тут надо?» — спросил он.

«Ничего», — сказал я.

«Иди отсюда».

Я молчал.

Он оставил ее и подошел ко мне.

«Ну! — сказал он. — Кому сказано? Иди к...» Он глядел мне в переносицу, и его губы спокойно и медленно договорили все до конца.

Краем глаза я увидел Клаву, острыми глазками она уставилась на нас. Вздохнув, я ударил Вику в подбородок.

Глаза его потускнели, он усмехнулся.

«А ну еще, — сказал он. — Валяй еще, сволочь, говно паршивое...»

Он мгновенным движением присел, схватил меня ниже колен, и я повалился. Он вскочил и ударил меня ногой в живот. Я скорчился. Он стоял и ждал, когда я разогнусь, чтобы ударить еще, но тут в кухне очутился Павел Хрисанфович. Помню, как они вдвоем с Викторией волочили меня к умывальнику, рядом стояла Клава в своем необыкновенном платье, держа полотенце, они что-то говорили, а может быть, пели, причем я с удивлением отметил, что профессор был совершенно пьян.

ГЛАВА 33

Мне позвонила Светлана Сергеевна: помню ли я, какой сегодня день? Эта баба-яга явно оказывает мне знаки внимания. Я сказал, что не помню. Вот и она тоже, совсем из головы вон, что поделаешь, склероз! (Все это — с радостным воодушевлением.) Помолчав, я добавил, что и ее не помню. Интересно, ответила она, что я вообще помню?

Договорились встретиться на конечной остановке метро. Вперлись в автобус. Снова гармошки новых

микрорайонов, сверкающее, как сабля, шоссе и пустынные небеса.

Таким образом, благодаря этой поездке мне представилась редкая возможность лицезреть собственное изображение там, где можно увидеть какие угодно лица, но не свое. Удовольствия я от этого не получил, но и неприятных чувств тоже не испытал. Угнетавшая меня всю дорогу неловкость рассеялась, когда, предводительствуемый бабусей, я вступил в «зал». Мне казалось, что на меня будут оглядываться, сравнивать с фарфоровым медальоном и пр. Но никто на нас не обратил внимания. А если бы и обратил, то мог бы принять меня, скажем, за дедушку. Однако дело в том — и это самое забавное, — что я и в дедушки самому себе не годился. Я смотрел на фотографию и не находил решительно ничего общего между мною и этим юнцом, который стоял там между двумя похожими друг на друга, словно это был один и тот же человек, близнецами.

Я не имею в виду себя нынешнего. Я имею в виду тогдашнего. Узкоплечий подросток с замученным видом, темноволосый, давно не стриженный, с голодной кадыкастой шеей, тщетно пытающийся придать своему лицу ироническое выражение, — это совсем не тот я, какой живет в моей памяти, и я совершенно убежден, что, повстречайся я с ним в те времена на улице, я прошел бы мимо, не признав в нем не только своего alter ego, но и дальнего родича. Фотография притязает на полномочное представительство прошлого, с которым на самом деле имеет общего не больше, чем след, оставленный на песке Пятницей, с самим Пятницей. Фотография как будто бы должна удостоверить воспоминания, поставить на них штамп «с подлинным верно», — а на самом деле свидетельствует о том, что подлинная реальность — это только наши воспоминания. Чтобы я так стоял, с голодной тоской вперяясь, точно в око будущего, в зрачок фотоаппарата? — да никогда этого не было. Я не мог быть таким. Прежде всего, я был счастлив. Да, вопреки всему, каждую минуту своей жизни — я был счастлив.

Под странной семейной группой две фамилии (разные, ибо она была замужем), и оставлено место для третьей. В отличие от тех двоих, с которыми все в порядке, с этим юнцом еще не все покончено. Он все еще где-то шляется, но место для него приготовлено и билет куплен. Напрасная забота. Когда здесь появится мое имя,

кто посмеет утверждать, что это имя — его? Есть только я, а его никогда не было.

Тогда возникает любопытный вопрос: были ли те двое?

«Присядем», — сказала Светлана Сергеевна. Присядем, сказала смерть. Какие-то люди подвинулись, освободив для нас место на одной из скамеек, стоявших, как в музее, посреди зала. Я сел...

Итак, я утверждаю, что кто бы ни был изображен на этой фотографии, выставленный здесь, словно некий заложник смерти, преступник, который все еще разгуливает на свободе, — кто бы он ни был, это во всяком случае не я. Встает вопрос: кто же они? Были ли эти двое, был ли он, лукавый оборотень, брат-сестра, тем Викой или той Викторией, которая, словно в сказочном саду, жила в единственной и нерушимой реальности воспоминаний, мелькала там за оградой, между деревьями... или она тоже была самозванкой, с чужим обликом и чужим именем?.. — Впрочем, имя-то в самом деле было другое, я уже сказал, что она каким-то образом вышла замуж, о чем, кстати, я не имел ни малейшего представления, бабуся подсказала, хотя и она никогда этого мужа не видела и не слышала о нем, и неизвестно, куда он делся, может быть, его и не было вовсе или вся роль его состояла лишь в том, чтобы дать ей другое имя. Но чем дольше я смотрел на это чужое лицо, тем больше узнавал его. В самой неуловимости его было нечто знакомое, становившееся все более знакомым. Да! Вот оно.

Наш «роман», если пользоваться этим малоподходящим термином, развивался неопределенно: иные дни мы проводили вместе, а на завтра еле здоровались. Какая-то необъяснимая скованность не давала мне подойти к ней, ей — взглянуть на меня; с трудом достигнутая простота и непринужденность отношений вдруг исчезала, я сгорал от желания видеть ее и вместе с тем тяготился ее присутствием, — думаю, что и она испытывала то же; с деловым видом я выходил в коридор, кого-то искал глазами, но не ее; на следующем перерыве повторялась та же игра, и, наконец, последний звонок, последний шанс подойти к ней, и я знаю, что она припиливает берет, тогда было принято припиливать, краем глаза вижу ее закинутые руки и выражение лица, как будто говорившее: я занята, у меня своя жизнь, нам не по дороге. И видя, как она удаляется, я испытывал облегчение, точно меня отпускали с дежурства.

Но затем планеты, описав замысловатые дуги, сходились, и в другой какой-нибудь день мы оказывались рядом, на лестничной площадке, в толпе выходящих, мы обменивались случайными фразами, и эти фразы кой-как, на живую нитку, соединяли нас; ей нужно было поправить берет, и сумка болталась у нее на руке и мешала, наводя на мысль, что я мог бы поддержать ее, — все эти мелочи укрепляли необходимость идти вместе, а потом уже какая-то инерция влекла нас дальше, и все предлоги и поводы отпадали сами собой. Лиловая мгла окутывала город, зажигались ранние фонари, зеленый глаз сиял на перекрестке, и неслышно, словно на дне аквариума, улицу пересекали косяки прохожих, и выплывал из-за угла, шевеля плавниками, тяжелый автобус. Она прятала в кармане моей шинели озябшие пальцы, измученные, продрогшие, мы влеклись в людском потоке, почти не разговаривая, не в силах расстаться, не зная, что нам делать с собой.

Я беру это слово «роман» в кавычки, потому что оно означает однажды и навсегда предписанный сюжет, мы же, подобно героям неумелого беллетриста, терялись в отступлениях. Неуловимые, мы ускользали от его воли, от того, что составляло наш долг литературных героев, ради чего, собственно, и сочинялся роман. Бесцельные странствия по городу никуда не вели; оказалось, что мы не можем ни отказаться от своей роли, ни довести ее до конца. Мы смутно чувствовали ее заданность. Словно нам кто-то навязывал нашу любовь.

Самое слово это ни разу не было произнесено; и сейчас я называю его с известным сомнением. Юношеское, почти детское томление, смесь темного влечения с растерянностью, страхом, досадой, — было ли это любовью? Но тогда почему этот образ, бледным пятном проступающий на ночном негативе памяти, образ почти утраченный, все-таки не истлел до конца и, очевидно, уже не истлеет, и негатив пойдет в могилу вместе со всем, что там еще осталось, почему эта холодная, как клешня, неживая рука лежит по сей день у меня в кармане и я тщетно пытаюсь согреть ее своею рукой? Нас пугало то, что нормальных людей должно радовать, — двусмысленность этого слова. Не мытьем, так катаньем бульварный беллетрист склонял нас, увлекал, тащил нас все к тому же, ничего другого он не умел придумать. И мы шли и не шли, не знали и знали, что развязка — постыдная суть — всегда одна. В том-то и дело, что «любовь» не была

состоянием; произнести вслух это слово значило обречь себя на поступок.

Подобно религии, сексуальность соединяет небеса и землю, верх и низ, и так же, как религия, таит в себе вопрос, не есть ли огромная душа мира, заглядывающая в нашу душу, — самообман. Мир, сказал мудрец, это сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Можно было бы сказать, что мир — это гигантское сферическое зеркало и мы в фокусе этого зеркала: со всех сторон мы видим чудовищно увеличенный, молча глазающий на нас отовсюду образ нашего «я». Гигантское искривленное отражение — кто это? что это? Бог?.. Бог, который только и может открыться нам в таком обличье, в подобии колоссальной проекции нашей собственной личности? Или это мы сами, и тогда факт нашего существования как существ, способных вместить в себя целый мир или, что то же самое, повсюду находить только себя, свидетельствует лишь о том, что мы со своим разумом, своей душой, своим неразстворимым «я» в самом деле одни в мире, что мы и есть конечная реализация замысла, который исчерпывает себя в нас, так что мы — единственное, что от него осталось?.. Познавший любовь узрел Бога. Или думает, что узрел, — между тем как из зеркала на него пялится монстр, ехиднино порождение: он сам.

Проклятая сочиненность сюжета, чертов романист! Мы воображали себя свободными. С таким же успехом могут утверждать, что они свободны, литературные персонажи. Лунное дитя, если воспользоваться теорией моего друга Вики, а проще говоря — физиология, — вот как назывался сочинитель, придумавший нас, для которого мы были всего лишь действующими лицами, исполнителями бездарного сюжета. Я ненавидел физиологию. Я знал о ней кое-что — в отличие от Вики, казалось, ни о чем не подозревавшей, — и страшился мысли о том, что внутри меня дремлет нечто, ожидающее удобного момента. Слишком прочно этот «момент» был связан с другими чувствами и обстоятельствами, и одно лишь предположение, что эта озябшая девушка, робко бредущая рядом со мной, займет место Тамары или слабоумной Клавы, повергало меня в стыд и ужас. Я любил ее вне плотских помышлений, наперекор тому, что называлось «любовью», и с каменным лицом, устремив в пространство непреклонный взгляд, шагал, сунув руки в проези шинели моего нищего отца, — шагал, окоченев от

любви, — и рука в кармане тайком согревала ее руку, и это было как бы секретом от нас самих.

Это было пределом того, на что мы могли отважиться. Вспыхнули фонари, и ртутное свечение залило город. И подобно тому, как пасмурный вечер уступил место светлому ночному дню, — темный зверь исчез в беспорочном сиянии чувства. Так огонь отрывается от горящих поленьев, уносясь в небеса. Так любовь воспаряла над «субстратом». Надолго ли?

Ибо дьявол вернулся в другом одеянии. Дьявол рутины предписывал нам быть не просто парнем и девушкой, а кавалером и дамой. Если любовь не была вожделением, она должна была стать ритуалом. Мы устали, продрогли, присоединилось еще одно деликатное обстоятельство — мы хотели в уборную. И сами ноги подтащили нас к раскаленной неоновой вывеске, под которой в оранжевом сумраке, как в преддверии ада, блестя волчьими глазами, толпилась шпана.

Мы прошли сквозь нее, как сквозь строй. О, я помню взгляд низкорослого ублюдка, которым он присосался к моей Вике! Взгляд, подобный грязному языку, которым он лизнул ее снизу вверх между ногами. Я схватил Вику за локоть, охваченный дурными предчувствиями. Мы встали в очередь перед кассой. Кашляющая билетерша обратила к нам траурный взор. В этом взоре была безразличная констатация все того же. Длинное полуосвещенное фойе напоминало бомбоубежище. В облаках пара, над морем голов, на тесном возвышении громыхал эстрадный ансамбль. «Подожди меня тут», — шепнула она.

Вот это лицо я и узнал на фарфоровом медальоне. Как будто оно повторило: подожди меня тут.

.....
Я кивнул и, выждав минуту, направился следом за ней. Встретившись снова, мы делали вид, что слушаем музыку, чтобы не смотреть туда, где должен был находиться «коммерческий буфет». Однако ее заинтересовал старик, сидевший в сторонке за столиком. Перед ним стояла домиком картонка с объявлением, глаза его были устремлены в пространство, а руки безостановочно двигались, точно он вязал на спицах. «Зачем тебе?..» — пробормотал я, но она уже вынимала из сумки рубль. Человек возвел на нас мутные очи, тотчас руки его заработали с ошеломительной быстротой, замелькали ножницы, длинный фестончатый обрезок свесился и упал на

пол, — старик протянул нам вырезанные из черной бумаги портреты: это были я и она. Это могли быть наклеенные на большой лист носами друг к другу Тристан и Изольда, это была любая пара в этом зале, это была вечная и неизбежная комбинация. Ударил набат, и толпа шарахнулась к темным воротам, из которых повеяло тухловатым холодом; стиснутые со всех сторон, мы вперлись в зрительный зал. И на мглистом экране перед нами предстала, как некий назидательный образец, выставленная напоказ чудовищно-глупая фабула нашей любви.

ГЛАВА 34

Светлый дым плывет над сидящими, над зачарованной публикой, шелестит, струится на полотне сухим серым дождем, становится исцарапанным городом, морем крыш, окнами, одним огромным окном. Кукольная горничная появляется в чертогах, следом за ней быстрым шагом в прекрасном костюме и в шляпе входит энергичный господин. Дождь все идет. Джентльмен шевелит губами. Затем все летит кувырком. Треск, грохот обвала. Зажигается мертвенно-желтый электрический свет, словно нарочно, чтобы подчеркнуть нищету зрителей. Люди потерянно озирают поблескивающие масляной краской стены и лозунг над стынувшим пустым экраном. Копится нетерпение. Начинается ропот, топот, затем все взоры устремляются вперед, волнение стихает, и некоторые встанут, чтобы лучше видеть: ибо там что-то происходит. Там крепчает разговор, там толкают друг друга в грудь, и шапка слетает на пол, кашляющая билетерша спешит вдоль сцены в телогрейке поверх форменного жакета, за ней шагает, как аист, милиционер. Но тут внезапно гаснет свет, и затхлою прохладой веет в затылок. Кажется, что шевелятся волосы на голове, стрекочет аппарат, жемчужный туман мерцает и плывет над головами; струится дождь, и снова город, снова горничная отворяет дверь, и за ней, под иглами дождя, входит джентльмен в шляпе, шевеля губами на незнакомом языке. И медленно надвигается на цепенеющий зал прекрасный мир, где не носят ни валенок, ни галош, ни проволочных очков, ни полуистлевших кашне, где не бывает войны, где нет карточек и очередей за картошкой, где мужчины выходят из стеклянных дверей и сбегают по

светлым ступеням в вечное лето, в солнечный день, и вот, заняв собой все пространство, заполнив зрительный зал, в светящемся облаке, в водопаде волос, с треугольным хохолком над выпуклым лобиком и бьющимися, как крылышки, локонами за маленькими ушами, под тонкими дугами бровей, в лучах ресниц является она, бессмертная, как сама любовь, не ведающая, что она так прекрасна, вся — удивление, вся — блеск глаз и мельканье коленок; покачиваясь, она парит в мгlistом луче, в призрачном дымном конусе, порхает край ее короткой юбки, коленки ходят вверх и вниз, и божественно-длинные ноги без устали крутят педали. И этот жест, когда, подняв ладонь, другой рукой держась за рог велосипеда, она машет кому-то там! И маленькая грудь, заметная под шелковой блузкой. Сквозь шорох и шелест доносится ее божественно-писклявый голосок. Она поет! Девушка-синица, не устающая крутить педали, махать рукой и раскачиваться на узком пружинистом седле, попирая его своей ладной попкой, — она и школьница, и судьба, и королева, она ни о чем не подозревает, не знает, что она восхитительна и что на нее смотрит целый зал, и не надо! Не надо ей знать. Ее голосок, глаза и локоны сами знают, что в них заключен весь смысл жизни, нескончаемая песнь жизни, и через два часа она снова будет петь и работать коленками в дымном луче, и снова тридцать рядов блестящих глаз, и в каждой паре глаз она отражена, а сейчас она уменьшается, отъезжает назад вместе с дорогой, словно ее потихоньку подтягивают сзади на канате, птичий голос умолк, город отодвинулся, она едет одна на своем двурогом коне, как одинокий ковбой по степи, и туда, к ней, в расширяющуюся раму экрана влекутся души сиротеющих зрителей. И она пропадает за поворотом.

Опять дом, и опять сухой дождь. Пышная дама в черных кружевах склоняет над вязаньем красиво приклеенный вокруг лба седой шиньон. Она подъезжает вплотную к первому ряду и, подняв мерцающие от слез глаза, долго, проникновенно говорит. Титры. «Мой мальчик, заклинаю тебя именем покойного отца». Портрет угрюмого старика над мраморным камином. «Мама, это выше моих сил». И песня синицы запекает вдаль. Придерживая рукой шляпу, он выходит из солнечного подъезда. «Вы можете ехать, Анри». Анри (сверкающий черный лимузин), вздохнув, уезжает. Он вынимает портсигар и постукивает длинной папирсой о крышку, на которой видне-

ется княжеский герб. Задумчиво смотрит на высокие окна, за которыми коротают остаток роскошных дней пышнотелые кружева. Короткая пауза, и его мужественные ноздри поворачиваются к нам. Право же, он недурен собой! Все мужчины в зале пристыжены сознанием своего ничтожества рядом с этим витязем в шляпе. Все девушки воображают, что они так же прелестны, как та, что пела песню. Простой, как азбука, музыкальный звукоряд, дуэт флейты и ручья. Меркнет свет на экране, и я взглядываю сбоку на Вику. Она глядит на экран, широко открыв глаза, и жестокое чувство неполноценности уязвляет меня, мое сердце тлеет тусклым огнем зависти, я знаю, что она ничем не уступает той, что ехала на велосипеде, но у нее нет такого отважного кавалера. Вся тайна любви оказывается простой, как игра в шашки. В мире есть только девушки и герои, прочие не в счет. Экран меркнет. Сцена в кабаке, где проводит время негодяй, купивший девушку у разорившихся родителей, о чем никто пока еще не знает. В эту минуту я чувствую, что вместе с происходящим на полотне происходит что-то рядом со мной. Вдруг скрипит стул. Углом глаза я вижу слева от себя волосы и глаза соседки, застывшие невидящие глаза, и замечаю белый край комбинации и раздвинутые коленки. Там что-то делается, немая борьба рук, страха и вожделения. Затем она одергивает платье и встает. Оба пробираются к выходу. Песня райской птицы гремит с экрана, мелькают шелка, крутятся пары, но для тех, кто сидит под дымным лучом, этот бал жизни останется небывалым настоящим, еще более недоступным оттого, что он совершается сейчас, перед глазами, только сейчас, всегда сейчас.

ГЛАВА 35

«Я забыла Коха», — говорит Вика, и мы отправляемся в университет на выручку Коха и Кэги, хотя, может быть, это было что-нибудь другое, например, «Краткий курс истории ВКП(б)». Это мог быть другой день. Мелочи цепляются, как репья к ногам, когда продаешься сквозь лес памяти, но при этом теряется ощущение смены событий — все становится одним сплошным событием. Уже поздно, время закрытия читального зала, последние зубрилы спускаются с широкой лестницы. Начинается унылое препириание со сторожихой.

«Мы же вам объясняем...»

«Нечего мне объяснять».

В этот момент звонит телефон. Звонок доносится из библиотеки на первом этаже, смолкает — и снова. Грузная старуха поднимается, опираясь ладонями о стол, и шаркает валенками в галошах по каменным плиткам коридора, и пока она там переспрашивает кого-то громким недовольным голосом, мы совершаем прорыв. Мы возносимся по темной боковой лестнице на второй этаж, бежим по коридору мимо черных окон с выщербленными подоконниками, мимо высоких дверей, я дергаю ручку, свет пересекает темную аудиторию, словно упавшая колонна, входим, еще не успев отдышаться, книга лежит целехонькая в ящике стола. Надо возвращаться. Мы медлим. И нас охватывает чувство судьбы.

Это чувство невесомо, неуловимо, и в нем нельзя признаться даже самому себе. Догадку, словно теплящийся огонек, нельзя раздувать: она погаснет. Вдруг все отодвигается — и книга, и сторожиха, мы понимаем, что это судьба заманила нас сюда, для чего? Для объяснения? Ибо мы живем в эпоху, когда все еще необходимы объяснения, нам кажется, что без объяснения не бывает любви. Все это неясно; но судьба не любит, когда ее отгадывают, ей надо, чтобы ее принимали за стечение обстоятельств. Мы плетемся по тусклому коридору, где плафоны горят в разных концах, и как будто не замечаем, в самом деле не замечаем, что идем не назад, а вперед; в конце коридора налево — владения исторического факультета, направо крутая лестница тремя пролетами огибает колодец, там наверху мехмат. Сзади нас догоняют шаги, человек в брезентовом армяке, покосившись, прошагивает мимо, сворачивает налево. Мы — направо и вверх.

В ущелье математиков свистит эфирный ветер, темно, впереди мерцают огни, это светятся лампочки на галерее. Не доходя до площадки с правой стороны боковая лестница. Туда мы и бредем, ибо время возвращаться.

Время возвращаться, ибо что же еще остается здесь делать, эта мысль как заноза под ногтем, и с каждым шагом я загоняю ее все глубже. Впереди тусклые лампочки, а в высоких окнах призрачная белизна ночи. Вика останавливается и подносит руку к глазам. Но еще прежде чем мы замедлили шаг, мое сердце начинает колыхаться, как колокол. Мы стоим у окна. Она вся еще вгля-

дывается в циферблат. Эти часики, небывалая роскошь тех лет, — знак принадлежности к высшему сословию. Она смотрит на часы, подносит их к уху. В эту минуту мои руки сами собой поднимаются и ложатся ей на плечи. Она стоит спиной ко мне. Я на целую голову выше Вики, может быть, поэтому неизвестный фотограф поставил меня посредине между близнецами.

Она поднесла часики к уху и этим движением, намеренно или невзначай, стряхнула мои руки. Подумав, я снова взял ее за плечи. «Не надо», — сказала она мягко. «Почему?» — спросил я, и колокол в моей груди бил и бил, предвещая беду. «Ты сам знаешь», — сказала она. Она подняла голову, прислушиваясь. «Сторожиха, — проговорила она. — Сторожиха идет». — «Ну и что?» Она отошла в сторону и остановилась, вероятно, подумав, что я обиделся. И я сам почувствовал себя обиженным, неизвестно за что, но это как-то облегчило мое положение. Словно я имел право обидеться. Тогда я прочно принял обиженный вид, насколько это было возможно в полумраке, разбавленном смутной белизною окна. Она произнесла мягко: «Слышишь? Пошли, Леня, уже поздно». — «Да, поздно», — сказал я. Я подошел к дверям аудитории против окна и взялся за ручку. «Нет», — сказала Вика. Я пошел к следующей, и следующая была тоже закрыта. «Нет!» — повторила она. Эта игра непонятным образом развлекала нас, сердце мое уже не так колотилось, птица беды перестала хлопать крыльями; я шел вдоль дверей и дергал за ручки, а она плелась следом, уговаривая меня или, вернее, нас обоих сойти вниз. Одна комната оказалась открытой, мы вошли и прислушались. Мы хватались, как за соломинку, за всякое дуновение, доносящееся из внешнего мира, инстинктивно понимая, что только враждебный внешний мир мог помочь нам преодолеть последний ров, зияющий между нами. «Идет». — «Кто?» — «Она идет». Мы оба засмеялись. «Тише ты!» — «А мы ее не пустим», — сказал я, берясь за стул. «Ты с ума сошел, что ты делаешь?». Стул висел на дверной ручке, как в школьные времена. «Открой сейчас же. Пусты. Нет. Пусты меня, ну!» — сказала она злым шепотом. Книжка шлепнулась из раскрытой сумки на пол, что-то посыпалось и раскатилось в разные стороны. Мы замерли, держась друг за друга, в позе, в которой нас застало случившееся. Ибо ясно было, что теперь-то уж старуха нас засекала. Словно застигнутые вспышкой магния, боясь шелохнуться, мы не спускали

глаз с двери. А монета все катилась по полу и где-то в углу наконец упала на бок. Мы смотрели на дверь. Казалось, хитрая старуха там, в коридоре, тоже остановилась и слушает. Стул начал подрагивать. Она дергала за ручку! Вика вцепилась в рукав моей шинели. Комната была словно наполнена известковой водой и постепенно раздвигалась: стали видны ряды столов, портрет над доской и прочее. Вика на корточках подбирала с полу рассыпанные вещи, передвигаясь мелкими шажками, и ее коленки смутно поблескивали в темноте. Я подошел, держа на ладони горстку монет. Она подняла ко мне лунное лицо, это было лицо мальчика, в сумеречной полуяви она превратилась в своего брата. Но на самом деле она была девушкой. Она поднялась, молча протягивая раскрытую сумку. Не глядя, я высыпал в нее монеты. Словно водоросли, наши тела колебались в зыбкой влаге, и время шелестело, пронизанное встречным потоком, как вопрос и ответ. Вопрос и ответ, это были мы сами. Что-то переменялось, пока мы бродили и ползали во тьме, собирая ее девическое имущество, пудреницу, зеркальце, сдвинулось что-то с мертвой точки, и вещи утратили свою угловатую враждебность, стул перестал качаться, и мы почувствовали, что взгляд и слово не падают больше, словно в темный колодец, в бездонную душу другого: мы стали вопрос и ответ, и то, что стояло между нами, словно вражда двух рас, ибо с чем же, как не с проклятьем расы, можно сравнить проклятье пола, то, что нас разгораживало, стало общей родиной для нас обоих. Странно, что это чувство, в сущности такое простое, — что тайна пола роднит, а не разделяет людей, — открылось нам только теперь. Как будто до сих пор мы стояли друг против друга, я в своих мужских латах, она за щитом свой девственности, и каждый напряженно следил за маневрами другого, и вдруг вся эта арматура упала и рассыпалась в прах. Мы стояли возле окна. Все шелестело, стучало кругом и непрерывным бормотаньем наполняло слух. Это снаружи по железному карнизу стучал дождь. И так же бессвязно, непрерывно, чувствуя на губах щекотку ее волос, я говорил ей на ухо бесконечную сагу моего одиночества, тоски, отчаяния. Подоконник сзади вдавился мне в спину, и холод железной батареи пронизывал меня до костей. Распахнув полы шинели, я принял ее в себя, дыша в путаницу волос, а она дышала мне в грудь, не шевелясь и не отвечая моим словам, лишь изредка переступая ногами, касавшимися моих онемев-

ших ног. Дождь стучал и струился у меня за спиной. Дождь — это и был ее ответ. Но в эту минуту произошло нечто постыдно-отвратительное. Я уже сказал, что преграда пала между нами. И это сделало неважным, ненужным то, что за этим обыкновено следует. А тут случилось то, о чем, клянусь, я и не помышлял, когда наши души, наконец узнавшие друг друга, обнявшись, уносились прочь из юдоли страха, недоверия и лицемерных уловок плоти. Из темного тела пришел сигнал, сначала еле заметный, точно кольнуло иголкой — один раз и через мгновение еще раз. Губы мои еще бормотали жалобу любви, когда это случилось, и, объятый нестерпимым стыдом, запнувшись, я отодвинулся от нее, незаметно, но она это почувствовала.

Я думаю, что она догадалась еще раньше, в ту самую минуту, когда кольнуло иголкой; первым произвольным движением ее было прикинуться ко мне снова, и в темном моем сознании внезапно жикнула светящейся мухой мысль, что она этого ждала! Но это была ложь. Гнусная ложь, придуманная спинным мозгом. Случившееся было неожиданностью для нас обоих. Вся еще в кольце моих рук, она неслышно переступила ногами, центр тяжести переместился, и теперь она просто стояла подле меня, совсем рядом, но уже сама по себе. Мы молчали. Ее душа, я чувствовал, опять облеклась в тончайший, но прочный доспех. Это было так же естественно, так же неизбежно, как движение рук, заслоняющихся от огня. С каким-то ужасом мы внимали тому, что происходило во мне, — словно смотрели на столб дыма, вздымавшегося из лесной чащи. Мне было неудобно стоять, жало и давило, я с трудом сдерживал отвратительную дрожь, сотрясавшую меня, и как можно незаметнее я расставил ступни и втянул живот. Дождь царапался и ломился, как утопленник, в оконные стекла.

«Извини», — пробормотал я.

«Ничего, — сказала она тихо, — это сейчас пройдет». И я не понял, кого она имела в виду: меня или себя.

«Да?» — спросил я.

Она снова слегка отстранилась, давая мне возможность встать удобнее. Умница, она все понимала.

«Ничего, Леня, ничего, — шептала она. — Сейчас пройдет. Не думай об этом».

«Да?»

«Не шевелись».

«Знаешь, — сказал я. — Этот как-то неожиданно».

«Ничего».

Она подняла ко мне свое лицо и поцеловала меня. Точно я был ее сын и был нездоров или попался на что-то. Но ведь с сыновьями это бывает.

«Какой он...» — проговорила она голосом, каким говорят с детьми.

Впервые слово было произнесено, названо, хоть и в форме местоимения. И как только оно было произнесено, оно перестало пугать. Оно отделилось от нас. Это был не я, а «он». Смежив глаза во тьме, мы смотрели на него, точно на ядовитый гриб, выросший между нами.

«...большой!..» — досказала она.

«Да? — спросил я, дрожа как в ознобе. — Почему?»

«Не знаю, — проговорила она. — Я чувствую».

Мы молчали, точно ждали чего-то.

«Тебе очень хочется?»

«А тебе?»

«Я не могу», — ответила она.

«Ты боишься?»

Она опустила голову и молчала.

Мои руки понемногу спускались по ее спине, я почувствовал изгиб поясницы, сам того не сознавая, я прижимал ее к себе, как простреленный зажимает рану.

«Ты никогда не?...» Превозмогая стыд, я что-то бормотал и искал ее пуговицы, но она молчала. Я расстегнул на ней тонкое осеннее пальто, она была в шерстяном коротком платье школьницы.

«Лучше потом», — шепнула она.

«Почему?» — тупо спросил я.

Меня бил озноб, и озноб передался ей. Мы оба пылали и леденели.

«Мне сейчас нельзя», — пролепетала она.

«Мы ничего не будем делать, — сказал я. — Мы только чуть-чуть».

«Не надо, прошу тебя», — сказала она, лоя тонкими похолодевшими пальцами мои руки, скользившие по ее худеньким бедрам. Некоторое время продолжалась эта борьба, но это были не мы, это был человек, состоявший из нас двоих, который вздыхал, уговаривал себя и боролся с собой.

Она подняла на меня темные глаза.

«Хочешь, — проговорила она, — я помогу ему?»

Она не сказала: тебе.

Мы снова были оба против «него».

«У меня руки холодные, — сказала она. — Погрей мои руки».

Я поднес ее пальцы к губам. Они были точно пальцы умершей. Я сжал их, но они потихоньку высвободились. Она что-то делала там, неловко и нежно, я успел почувствовать обжигающий холод ее рук, и в ту же минуту мгновенное счастье изверглось из меня. Почти теряя сознание, я привалился к стене. И это было все. Мы молчали.

«Ужасно», — сказал я.

«Тебе было тяжело?»

Я пожал плечами.

«Господи, — промолвила Вика, — откуда столько...»

«Возьми мой платок».

«Ничего. Все в порядке».

«Черт бы все это побрал. Чтобы все провалилось на свете».

«Ты не виноват. Это все естественно».

«Первый раз, — проговорил я с трудом, — и вот...»

«Ничего. Знаешь, сколько времени?»

«Сколько?»

«Половина... Да, половина одиннадцатого».

Мы снова умолкли.

«Пойдем, Леня», — сказала она.

«А как же сторожика?»

«Бог с ней».

«Здесь есть выход во двор. Где военная кафедра. Может быть, он открыт?»

«Может быть. Пошли».

«Иди» — сказал я.

«А ты?»

«Я посижу».

«Ты на меня сердишься?»

«Что ты, — сказал я. — За что мне на тебя сердиться».

Она проговорила:

«Мне ужасно жаль, что так. У меня такое чувство, будто мы кого-то убили».

Помолчав, она добавила: «Какой странный запах».

«Да, — сказал я. — Тут целое человечество».

«Это мы его убили», — произнесла она.

На слове «его» она сделала легкое ударение. Я понимал, о ком она говорит. Теперь, когда «его» не было, он не был нашим врагом. Он был нашим общим творением,

почти ребенком, нашей свечой, цветком на высоком стебле. Подкошенный и увядший, он валялся у наших ног.

«Хочешь, мы посмотрим на него? — сказала она. — Теперь уже не опасно».

«Чего смотреть», — сказал я.

Я сидел в темноте на краешке стула, запахнувшись в шинель моего отца. Мне было холодно.

«Слушай», — проговорил я.

«Что?»

«Ты... в самом деле не могла? Или не хотела?»

«Какая разница», — сказала она устало.

«Отвечай», — сказал я.

«Я же сказала», — ответила она.

«Ты имела в виду месячные?»

«Конечно», — сказала она спокойно.

Еще одно слово, которое удалось выговорить. Но теперь было все равно.

«Конечно», — сказала она.

«Это правда?»

«Почему ты спрашиваешь? Конечно, правда».

«Значит, — сказал я тупо, — если бы это было в... другой день, ну, словом, если б-б-бы этого не было — ты бы согласилась?»

Она молчала.

«Вот видишь», — сказал я.

«Что видишь?»

«Ты мне наврала».

Она пожала плечами. «Зачем задавать такие вопросы?»

«Зачем? — переспросил я. — Чтобы все было ясно, вот зачем».

«Разве и так не ясно?»

Снова молчание, сумрачные высокие окна, портрет, поблескивающий на стене. Дождь на улице стих.

«Я тебе скажу, — тихо произносит она. — Я не знаю. Если ты спросишь, люблю ли я тебя, а ты, между прочим, ни разу не поинтересовался, так вот, если ты спросишь, я отвечу: наверное, да. Я бы с тобой ни за что сюда не пошла, я же понимала, к чему идет дело... Если бы ты для меня ничего не значил. Но это, понимаешь? Это совсем другое дело. Я действительно сейчас нездорова, честное слово даю. Честное комсомольское. Если бы ты был повнимательней, ты бы заметил».

«То есть как?» — спросил я.

«А вот так. У женщин это всегда на лице написано». Я впервые об этом слышал.

Какая-то мысль вдруг мелькнула у меня, и я спросил:

«Разве ты женщина?»

«Конечно, — сказала она. — Я и в десять лет была женщиной».

«Ну и что?» — сказал я.

«Ничего».

«Ты хотела что-то сказать».

«Да, хотела. — Она коротко вздохнула. — Понимаешь, это все не так важно... Я бы, может быть, и решилась, если бы...»

«Если бы что?»

«Если бы ты был немного старше!»

«Вот как?» — проговорил я, болтая ногой.

«Да. Тебе надо все подсказывать... Я... — она замялась. — Я совсем из другой среды, это, конечно, тоже неважно, но все-таки. Я из другой среды, ты должен был знать жизнь лучше меня. А у меня такое впечатление, что я старше и сама тебя учу. А я не хочу быть старше».

«По-твоему, я такой уж ребенок? — угрюмо возразил я. — У меня...»

«Что у тебя?» — спросила она мягко.

«У меня была женщина», — сказал я.

Это нелепое, вычитанное из дурного романа выражение, к моему удивлению, не вызвало у Вики никакой реакции. Помолчав, она сказала:

«Я знаю».

«Откуда?»

«Ниоткуда. — Она пожала плечами. — Я просто подумала, что ты... Ну, в общем, что у тебя уже было».

«Разве это можно заметить?»

«Я подумала, когда ты начал меня целовать в шею. И еще раньше догадывалась. Кто она такая?»

«Так, одна...» Я махнул рукой. Я понимал, что этот жест — предательство, но мне было уже все равно. Во всяком случае, у меня не было ни малейшего желания хвастаться своим опытом.

«Девушка?»

Я покачал головой.

«Ну да. Я так и думала. Леня, милый, пойдем».

ГЛАВА 36

«А вот и сынок пришел!» — бодро выкрикнул мой отец. Он сидел за столом, в полном параде, при галстукке, в медалях, с седым кустом бровей, нависшим над переносицей. Яркий свет абажура струился на белую крахмальную скатерть, комната была погружена в оранжевый полумрак. Кровать Дани расстелена, и ночной горшок стоял наготове; сам Даня, полураздетый, в чулках и лифчике, тер глаза кулаком и болтал ногами, по-видимому изо всех сил борясь со сном, а мачеха, сидя на корточках, читала ему вполголоса нотацию, чрезмерно красноречивую оттого, что в комнате находился гость. Немного спустя послышался тонкий звон струйки по дну горшка.

«А вот и сынок...» Слово это было точно заимствовано из какой-то образцово-патриотической пьесы. Я стоял на пороге, в шинели, с трудом возвращаясь к действительности. В сущности, я был еще там, я брел по пустынной Покровке, пошатываясь от усталости, машинально обходя лужи, сознание мое вяло фиксировало окружающие предметы, вывески, дома, угол темного переулка. Моя рука медленно поднялась и нажала кнопку звонка, отпустила и снова нажала. Звонка я не услышал. Я не имел ни малейшего представления, сколько сейчас времени, они должны были давно спать. Как вдруг дверь отворилась, точно встречное время плеснуло мне в лицо: мачеха стояла в необыкновенно нарядном платье и смотрела на меня.

Я думал, что она будет меня ругать за позднее возвращение. Но вместо этого она просто сказала: «Как ты поздно», подняв на меня ясные глаза, и странным образом в этом взгляде и голосе мне почудилось почти одобрение. В коридоре был уже потушен свет, она открыла дверь в нашу комнату, и я снова увидел ее платье, фигуру и волосы, собранные сзади в пышный пучок; неясная мысль мелькнула у меня в мозгу, что все это должно что-то означать и ничто в ее красоте не случайно. В ту же минуту я вошел, увидел накрытый стол и сидящих за столом.

«Садись, садись...» — проговорил мой отец бодро-фальшивым голосом. Спohватившись, он начал разливать вино по высоким синим рюмкам, которые у нас никогда не ставились на стол, налил полную рюмку себе

и долил гостю и мачехе — их бокалы стояли пригубленные. Мачеха вышла, вернулась и снова вышла. Отец провозгласил: «Ваше здоровьице!» Он был уже довольно пьян и твердо, как ставят штемпель, поставил рюмку на скатерть. Затем принялся расчищать вокруг себя место, сдвинул тарелки, водрузил локти на стол, сцепил руки и прокашлялся, устремив на гостя безумный глаз, как будто намеревался произнести речь.

«Вот так! Такое, значит, дело», — сказал он веско, не то начиная речь, не то подводя итог сказанному. Гость, с бокалом в руке, с преувеличенной уважительностью кивнул ему, отхлебнул и опустил рюмку на стол. Мачеха поставила передо мной тарелку с жареной картошкой, котлетой и половинкой соленого огурца.

«Вот так», — повторил мой отец, глядя на меня.

«Чайник вскипел, — сказала мачеха. — Может, чайку?»

«Можно и чайку!»

«Спасибо. Благодарю вас», — тихим, тонким и угодливым голосом отозвался гость. Печальные склеротические глаза поднялись от скатерти и взглянули на меня.

«Вот, Леня, — начала мачеха, — познакомься...»

В эту минуту Даня подал голос с кровати. Мачеха выпрыгнула из-за стола.

«Это еще что такое? — вскричала она. — Чтоб я тебя больше не слышала!»

«Я пить хочу», — сказал мальчик.

Мачеха расставляла парадные чашки. Скатерть, портвейн, галстук, в который обрядился мой отец, и необыкновенное, черное с красным платье мачехи, делавшее ее молодой и таинственной, все это было не просто ритуалом гостеприимства. Вещи свидетельствовали о высоком уровне жизни и семейном благополучии. Вещи доказывали государственную благонадежность. Комната смердела благополучием. Этого благополучия ни при каких обстоятельствах не мог достичь, этой благонадежности не имел и не мог иметь человек, сидевший за столом, голь перекатная, неведомый пришелец. Мачеха вышла из-за стола и, дуя на блюдце, подошла к кровати моего брата Дани. «А теперь повернись, — сказала она, — на другой бок, и чтоб я тебя больше не...»

«Видите ли...» — вздохнув, сказал гость и плоской ладонью провел по убегающей назад лысине. Он говорил с акцентом, и на руке не хватало трех пальцев. Она была права!

«Г-хм!» — крикнул отец.

«Видите ли... Я вас пхекхасно понимаю... Но и вы меня поймите!»

«Пейте чай», — промолвила мачеха.

Она вскинула на отца жестокие синие глаза.

«А ты что молчишь? Тебя это не касается, да?»

«Вот такое дело, уважаемый!.. — заговорил мой отец, грозно мигая глазом, так что заколыхался косматый куст бровей. — Вот такое дело, уважаемый!.. — Гость поспешно подсказал свое имя и отчество, но отец продолжал, словно не слышал: — Закон, говоришь? А что закон! Закон что дышло. Да... И так, и сяк».

«Нет такого закона, — отчеканила мачеха. — Я была у юриста. Он говорит, нет такого закона».

«Видите ли...» — пролепетал гость.

«А вы пейте чай, пейте», — сказала мачеха зловеще.

«Может быть, — робко и заискивающе продолжал гость, — мы спхосим... может быть, он сам что-нибудь нам скажет?..»

«Что он знает? — отрезала мачеха. — Он еще ребенок».

Гость посмотрел на нее затравленным взглядом.

«Я повторяю, — сказал он с сильным акцентом. — Я... разве я ему враг? В конце концов я ни на чем не настаиваю...»

«Вот, — сказал мой отец. — Не настаиваю. Это уже другой разговор».

Они говорили обо мне так, словно я был одной из этих красивых вещей, которыми мачеха устала скатерть. Мне представилось, как они рвут друг у друга из рук блестящий чайник. Охваченный страхом, я тыкал вилкой в тарелку. Мачеха подложила мне еще котлету. Я отодвинул ее.

Но странным и неуместным, быть может, покажется, если я скажу, что другое чувство оставалось позади этого страха. Позади всех бед и всех новостей, заряженных зловещей неясностью, стояло высшее чувство тех лет. Это было королевское сознание превосходства и тайная жалость к ним. Что бы ни случилось — я был молод. Молодость, словно золотой диплом, лежала у меня в кармане. А для них солнце жизни уже клонилось к закату. Я был как бессмертный среди обреченных на смерть.

«Но хотя бы видеться?.. — спросил гость. — Разве я не имею права?..»

«Видеться пожалуйста», — сказал отец.

«Незачем, — сказала мачеха. — Только зря беспокоить и себя, и... А так что ж... Милости просим, — прибавила она высокомерно. — Всегда будем рады».

Говоря это, она смотрела на отца, затем медленно протянула руку и отобрала у него бутылку. Отец засопел, завесился седоватой бровью.

«Ах, — сказала она вдруг с рыданием, — ну скажи ты хоть слово! Разве я... Разве мы...» Она встала и вышла из комнаты.

Мы молчали, проклятье сковало нам уста, проклятье, тяготевшее над всеми нами еще со времен лесной школы, если не раньше, и я знал, что они не спят, хоть ни единого звука не слышалось за занавеской, но и дыхания их не было слышно. Неутомимо тикал будильник. Затем заговорил Даня. Я лежал, зажмурив глаза, когда мне следовало встать и успокоить мальчика, который сидел на кровати и громко бормотал, говорил, возражая в темноте кому-то. Мачеха выпрыгнула из-за занавески, ее босые ступни и длинная рубашка прошелестели мимо меня; она присела на кроватку и что-то сказала вполголоса, потом запела, и через минуту малыш, распластавшись на животе, спал крепким сном. Вдруг я услышал, как отец сказал: «Я его на х... пошлю! Пусть идет жалуется». — «Тише ты!» — всполошилась мачеха. «Он спит», — сказал отец. Они умолкли, потом мачеха спросила: «Леня?» Я молчал. «Да подожди ты!» — сказала мачеха нетерпеливо и быстро зашептала что-то отцу. Я понял, что у нее есть свой план, и план этот состоял в том, чтобы тянуть время, откладывая окончательное решение, — какое решение имелось в виду, я не постигал, — тянуть и выжидать, пока неустойчивый социальный статус пришельца не сработает, как шесть лет назад, и он снова не сгинет там, откуда пришел. Почему-то она была уверена, что это непременно случится. Отец же был другого мнения. А именно того мнения, которое он только что высказал с такой решительностью, недостававшей ему во время разговора за столом, потому ли, что он был подавлен новым ударом судьбы и нетрезв, или потому, что и сам гость вел себя не агрессивно. Но сейчас, в сумраке и тишине ночи, картавый гость казался посланцем ада, и самый его вид, малый рост, искалеченная рука и угодливая улыбка, его скрытое за робостью упорство внушали желание покончить с ним одним ударом, раз и навсегда. «Я законов не знаю, — сказал отец, — я только знаю, что если он еще раз придет, я его знаешь куда пошлю? Я его

в шею вытолкаю. Пускай только явится». — «Да погоди ты», — сказала мачеха. И вновь зашелестел ее шепот, точно листья, кружась, опускались на воду, слипались и уплывали, и желтая рябь осенних листьев заблестела вдали. Я стоял, перегнувшись через железные перила моста, это был край раскладушки, холодный алюминий. Я смотрел на струящуюся подо мной реку, пора было возвращаться домой. А я все смотрел на плавучие листья. Сны не вещают о будущем, во всяком случае я таких вещей снов никогда не видел. Но сны мои открывали мне в жизни нечто такое, о чем наяву я никогда не догадывался, а может быть, не имел силы признаться себе в этом. Сны озирали мое существование очами некоторой высшей субъективности, примитивной по сравнению с собственным моим разумом и даже чуждой всякому разумению, но стоящей над ним, как большое бледное солнце над уснувшими полями. И лишь на одно мгновение, миг, который во сне равняется целым часам или дням, туманное око этой безличной субъективности, око божественного идиота, вперялось в мои глаза, сливалось с ними, и я как будто постигал то, что невозможно постигнуть, ибо невозможно облечь в разумные слова то, что существует до всякого слова. Итак, пора было возвращаться домой. Домой: это чувство гнало меня, словно ветер, дующий в спину. Улицы, озаренные желтым светом керосиновых ламп, были безлюдны, передо мной блестел наш излучистый и пустынный Лялин переулок, по которому неслышно свистел и рябил лужи внезапно проснувшийся ветер. Там и сям, между темными окнами, над подъездами, воротами и на углах домов я замечал треплющиеся черные флаги. Переулок был необыкновенно длинный. Я шел, минуя один квартал за другим, оставляя за собой перекрестки, над которыми качались желтые лампы, колебля круги света, и в боковых разветвлениях тоже порхали и плескались над запертыми подъездами шелковые черные флаги, — я едва успевал их заметить, ветер гнал впереди меня мусор и раздувал полы шинели, я почти летел, еще перекресток, дальше мастерская по ремонту обуви, отделение милиции и наш дом, издали видно, как хлопает дверь парадного. Чтобы не будить звонками соседей, я решил войти через черный ход. Но крыльцо забито — две доски крест-накрест, я пробую их оторвать, дергаю за ручку, ручка хлябает, но дверь не поддается. Я оглядел наш старый двор. В окнах всюду было темно, дом спал. Я побежал на улицу, вошел в

парадное, делать нечего, как можно осторожнее я нажимаю кнопку звонка. Должен был раздаться резкий дребезжащий звук; никакого звука, однако, не последовало. Звонки, очевидно, не работали, этого только не хватало. Я давил и давил на кнопку, силясь выжать из нее хоть какой-нибудь звук, в отчаянии, понимая, что если я сейчас до них не дозвонюсь, то все погибло. Мне приходит в голову, что надо снова пойти во двор и постучать в окно. И вдруг дверь открывается. «Слава Богу, — сказала мачеха, — это ты. Я уже думала, что ты уехал». Она стоит в нарядном дорогом платье и смотрит на меня. «Куда уехал?» — спросил я. Оказалось, что в квартире и во всем доме никого нет. Я остановился на пороге нашей комнаты, кровать Дани была пуста, и я сообразил, что он эвакуировался с детским садом. Занавеска над кроватью родителей была отдернута, там тоже был один голый матрац. Мачеха стояла перед кроватью, держась за спинку стула, на ней было траурно-черное с красными пуговицами и красным воротничком, подчеркивающим белизну шеи, платье. Я все еще не мог понять в чем дело, где отец и куда делся приезжий. «Я его жду», — сказала она. «А отец? — спросил я. — Ты забыла про отца». Она пожала плечами. «Отец на фронте», — сказала она. Тут я увидел, что стекла перекрещены, как дверь крыльца, это были полоски бумаги. «Немцы?» — спросил я с ужасом. Она опять пожала плечами. Ее губы шевелились, и я понимал ее, не слыша слов. «Конечно, кто же еще, — прошелестела она. — Они входят в город. Они вот-вот придут, собирайся». — «А как же наши?» — возразил я. «Говорю тебе, все уехали, — сказала мачеха. — Москву сдают, а население эвакуировалось». — «А флаги, — спросил я, — почему флаги черные?» — «Они не черные, — сказала мачеха. — Это тебе показалось. В темноте все кошки серые». — «Серые — да, заметил я. — Но не черные». — «Нет, — сказала она, — они красные, и, когда немцы поедут по городу, на них нарисуют свастику. Постой. Кажется, едут», — сказала она. Мы прислушались. «Это тебе показалось», — сказал я. Я оглядел комнату и увидел, что она все еще стоит в своем нарядном платье, с серьгами в ушах и бусами на груди, на столе бутылка красного вина, рюмки и чашки; горит оранжевый абажур, и все это отражается в дверце шкафа, в тускло-желтом стекле, перед которым когда-то я стоял, разглядывая свои шрамы. И я подумал, как хорошо нам было жить в этой комнате. Но теперь шкаф был пуст,

там висели деревянные плечики. Чего же мы ждем? Надо уходить. В двух шагах от нас был Курский вокзал. Она покачала головой: поезда не ходят. Уйдем пешком. По шпалам. Она снова покачала головой. «Мы его пригласили, — сказала она с сомнением. — Надо дожидаться». — «Черт с ним, сам виноват. Надо вовремя приходиться». Я взял со стола бутылку и сунул ее во внутренний карман шинели. «Слышишь? — сказала она. — Уже идут». «Это вода шумит в водопроводе». — «Нет», — ответила она. Гул или, может быть, это был звон, гул самолетов, дробот кованых сапог, звон оружия нарастал, это был звон будильника. Голая рука мачехи, протянувшись из-за занавески, остановила его.

ГЛАВА 37

Мне случается иногда путать воображаемые воспоминания с действительными (что неудивительно в мои годы), но уж этот-то эпизод я не выдумал: я имею в виду аварию на Рублевском шоссе. Самосвал ударил свадебную машину. Я не стал разглядывать, кто там и что. Но, говоря по совести, так ли уж обязательно надо свихнуться, чтобы заподозрить здесь нечто не равнозначное простой случайности? А что такое случайность? Что такое судьба, существует ли она или это плод нашей фантазии? Снова и снова вспоминаю я нашего друга Хрисанфовича и его теорию, смысл которой можно выразить совсем просто: смотря с какой стороны глядеть на события. Связь событий становится ясной не раньше, чем актеры доиграют пьесу до конца, — иначе жизнь показалась бы очень неумелым сочинением. Значит, наша жизнь кем-то сочинена?.. Вот я сижу и думаю о том, что случилось. Я исписал уйму бумаги, многостраничная летопись закрутила мой стол, а ведь речь шла всего лишь о начале жизни, ужели все прочее прошло бесследно и все остальные годы не заслуживают даже беглого упоминания? Неужто я, вдовец своей юности (как выразился один писатель), всю жизнь только и делал, что полот траву на могилах и сидел, перебирая в пальцах сухие стебельки, вперив взгляд в пустоту, пережевывая одни и те же воспоминания? Видел ли я живую жизнь вокруг себя? Вчера попался мне на глаза безногий инвалид перед винным отделом, мой ровесник: он лежал со своей тележкой среди мусора и пустых ящиков, колесиками кверху, и

спал; вот, подумал я, жуткий символ моего времени, моей страны. Нет-с, позвольте, не моей, а вашей. Я в ней не жил, а варился в ее каннибальском желудке, влачился по ее кишкам и был извергнут, словно вонючий отброс; а то, что было моей жизнью, было совсем в другой стране, в стране неувядающей юности, и она ничего общего с вашей страной не имеет. Эта Светлана Сергеевна моя ровесница. Эта сморщенная смерть... Значит, она существовала и в те времена, ходила по тем же улицам и, может быть, сидела на ближней скамейке во время нашего разговора в Александровском саду (к этому разговору я сейчас вернусь), но нужно было, чтобы мы познакомились лишь сейчас. Что если бы она подошла к нам и сказала: ребята, вы, кажется, с филологического? Я на одну минуту... Я только хочу сказать, что наше с вами знакомство впереди, в невероятно далеком будущем. Мы с вами, Вика, будем жить на одной лестнице, а вы, молодой человек, появитесь еще позже. Отчего бы ей так не сказать? Все мы *décombres*. И доктор исторических наук мог бы тоже здесь оказаться, мог подойти ко мне в ту минуту, когда инвалид доставал из штанов папиросы, и сказать: тебя, папаша, я не знаю, а вот ты — ты познакомишься со мной, когда меня уже не останется на свете. Странные фантазии, скажут мне. Люди, когда мы их встречаем, начинают для нас жить как бы только с этой минуты, мы не задумываемся о том, что их жизнь, как и наша жизнь, тянется из глубин прошлого, словно стебель водяного цветка, и там, в этой туманной зеленой бездне, наши стебли, быть может, однажды скрестились. Все мы *décombres* и ничего больше. Нужно было дожить до такого состояния, чтобы понять смысл сочинения и то, что наша жизнь в самом деле сочинена, — понять это теперь, когда все кончено. Смысл жизни лежит вне жизни. Меня тянет резонерствовать (следствие долгого молчания), а пора бы уж вернуться к «нити». Однако нить рвется в моих руках, и рассуждения — далеко не лучший способ связать концы. Что было дальше? Александровский сад; а что было до сада? В памяти необъяснимый провал: похоже, что ничего и не было. В наших встречах снова наступила пауза, порой сидение в классе за одним столом превращалось в мученье; потом тянулись дни полного равнодушия, оупения, несуществования друг для друга; потом однажды мы столкнулись нос к носу в дверях факультета. Я пробормотал:

«Здравствуй».

«Здравствуй», — сказала она и хотела пройти мимо. На ней был теплый платок и другое пальто, длинное, отороченное снизу мехом, сделавшее ее взрослой и чужой. Неизвестность и тайна окутывали ее.

Я спросил, где она пропадала все эти дни.

«Так... Родственники приехали».

«А», — сказал я. Мы стояли в проходе, мешая другим.

«Извини, — проговорила Вика, — я спешу».

Жалким голосом я спросил: «Проводить тебя?»

Она пожала плечами. Я плелся следом за ней по коридору, ждал ее у дверей деканата (она принесла справку). После этого мы спустились и вышли во двор. Был сухой, холодный, какой-то оловянный и незвонкий день.

«Ладно, — сказал я. — Бывай».

Она, однако, медлила. Поглядывала на голые ветки деревьев, покусывая губы. Глаза ее сухо блестели; она что-то соображала. Вдруг она спросила:

«А ты сейчас куда?»

«В столовую, наверно», — пробормотал я.

«Ты разве дома не обедаешь?»

«Да нет, — сказал я неуверенно, — как когда».

Отец доставал для меня талоны «второе горячее», но талонов обыкновенно хватало на неделю-другую. Вообще же я не имел привычки обедать.

«Хочешь, — сказал я, — пойдем вместе?»

«В столовую?»

«Ну да».

«Это мысль, — усмехнулась она. — Я, знаешь, сегодня еще ничего не ела».

С двумя дымящимися тарелками — на каждой по ломтику хлеба — я протиснулся сквозь толпу, осаждавшую раздаточное окно, и, лавируя между стульями, на которых были навалены сумки и пальто, добрался до дальнего столика под глубоким подвальным окном, где ждала Вика. За столом сидел едок, старик сурового вида в железных очках. Вика расстегнула пальто, под которым оказалось кокетливое, еще не виданное мною платье, и сбросила с головы платок. Мы принялись за еду, но сейчас же она сказала:

«Не хочется. Ты не обижайся, все очень вкусно...»

Девушки, одетые так, как была одета Вика, не ели «второе горячее». Они не ходили в столовую. Старик наблюдал, как она щиплет хлеб. Так же внимательно он посмотрел ей вслед («Я сейчас», — буркнула она). Я тоже поглядел. Потом перевел глаза на соседа и узнал

его. Это был нищий, который сидел перед решеткой университета. Я думаю, что в его присутствии не было ничего странного: почему бы ему не заглядывать время от времени в университетскую столовую? Она появилась некоторое время спустя, я поднялся и пошел ей навстречу, а старик подвинул к себе тарелку Вики и начал есть. Мы вышли из-под каменной арки, словно из преисподней, ветер ударил нам в лицо, город, серый и просторный, подхватил и понес, и нам навстречу грянула музыка. Это была пьеса Грига «Дюймовочка», простенькая мелодия, оркестрованная с необычайным блеском. Вероятно, то были дни, близкие к Октябрьскому празднику, и время от времени, для пробы, включались репродукторы на крышах. И снова все повернулось. Я взглянул на Виду и увидел, что она бледна. Она показалась мне некрасивой, и в лице ее появилось что-то заискивающее. А во мне все пело и ликовало. Я был свободен и независим, мог идти куда мне вздумается и делать что захочу. Я был красив и юн, и каждая струнка во мне играла, и теперь она зависела от меня и тянулась за мной, а не я за ней, у меня впереди была целая жизнь, ибо я был мужчиной — а она уже начала увядать. Так ей и надо! Я почувствовал вдруг, какое огромное преимущество быть мужчиной. Мы обогнули двор университета, прошли мимо Герцена в каменной тоге. Впереди был Манеж; потом — высокие чугунные ворота с римской эмблемой, сырой песок, просторный и голый Александровский сад.

ГЛАВА 38

Я что-то рассказывал, а Вика помалкивала, брела, сжавшись и засунув руки в отороченные мехом рукава. Вероятно, ей было не очень интересно, она слушала меня из вежливости. Наконец она сказала: «А ты веришь в судьбу?»

«Не в этом дело...» — сказал я.

Перед этим я говорил ей о Кардано. Кардано был один из любимых героев нашего друга и наставника, продавца газет. Он составил полный прогноз своей жизни, вычислил дату смерти, а когда эта дата приблизилась, уморил себя голодом ради вящей славы искусства.

«А я верю, — сказала она. — Мне одна цыганка предсказала...»

«Не в этом дело. Астрология, видишь ли... это не нау-

ка, но не потому, что она основана на фантастике, а потому что в ней нет проблем. Там готовый рецепт. Вот если ввести в нее внутренние проблемы...» Я увлекся, развивая свою мысль.

Она остановилась и высунула язык.

«Что ты делаешь?» — спросил я.

«Ловлю снежинку».

Я посмотрел на небо. Снега не было. Чувствуя легкое раздражение, я спросил:

«Что же она тебе предсказала?»

«Что я умру в родах».

Мысль эта показалась мне нелепой; я промолчал.

«Ерунда все это, — сказала Вика, усаживаясь на скамейку. — Я хочу покурить, достань мне папиросу».

«Ты разве куришь?»

«Иногда».

В эту минуту редкие белые снежинки появились в воздухе, словно рождаясь прямо из него. Небо над городом было сине-белым, сизым. Сзади доносился гул машин. На пустых дорожках стали собираться щепотки соли. Снег превратился в крупинки, которые сыпались на нас, потом как будто запас иссяк, Вика держала перед собой протянутую ладонь, и редкие крупные снежинки опускались на нее как цветы.

«Под настроение, — сказала она. — А что тут такого?»

«Да ничего», — сказал я и пошел к обелиску.

Там стоял, обозревая это архаическое сооружение, человек в шинели на костылях. Я подошел, он обернулся и спросил:

«Это что ж такое?»

«Памятник революционерам», — ответил я.

«Каким таким революционерам?»

«Разным, — сказал я. — Видите, там написано».

«Ничего я не вижу», — сказал инвалид. Он ухватился за перекладины костылей и подпрыгнул на ноге, как птица, собирающаяся взлететь.

«Извините, у вас не найдется?...» — спросил я. В эту минуту к нам подошел высокий молодой человек в очках, он искал Боровицкие ворота. Солдат молча указал на выход из сада. Я возразил, что надо в другую сторону.

«Чего брешешь? — буркнул инвалид зло. — Ты его не слушай, — сказал он молодому человеку, — он те наговорит...»

«Да вы сами не знаете, — сказал я. — Боровицкие — это...»

«Молчать!» — закричал он.

Все это походило на скверную игру или сон. Я повернулся и пошел прочь.

«Стой! — приказал инвалид. — Держи».

Он отвернул полу шинели и, подняв обрубок ноги, достал из кармана пачку «Беломора».

«Да не бежи ты, куды бежишь. Спички есть?.. Тоже мне куряка».

«Спасибо», — сказал я.

«А ты мне вот что ответь...» После этого он вступил в долгий разговор с будущим доктором исторических наук, а я вернулся к Вике. Она сидела, держа руки в рукавах, и сказала мне:

«Вас, мой друг, за смертью посылать можно».

Порывшись в сумочке, достала зажигалку, затейливое изделие из металла и перламутра. Я спросил, откуда такая штучка.

«Отец привез».

«Разве он приехал?»

«Кто?» — спросила она.

«Отец».

«Отец?»

«Ты же сама говорила, родственники какие-то приехали».

«А... Да нет, — проговорила она. — Никто не приехал».

Она взглянула на меня и повторила задумчиво:

«Никто, Леня, не приехал».

Сделав несколько затяжек, она встала и сплюнула в урну. Она стояла в задумчивости над урной, затем швырнула туда недокуренную папиросу. Подошла, села. Поправила на голове платок, который явно не шел к ней.

«Тошнит, — сказала она. — Все время тошнит. И утром тошнит, и днем... Ты представляешь себе? Ото всего тошнит».

Она смотрела на меня сухими блестящими глазами, как будто впервые меня видела, и мне стало не по себе; все это было как-то некстати.

«Ты больна?»

«Да».

«А что с тобой?»

Она вздохнула и сказала:

«Понимаешь, он еще кое-что привез».

«Слушай, Вика, — сказал я. — Я эти твои загадки не понимаю. Говори по-человечески».

«Что говорить-то? — усмехнулась она. — Ты, мой друг, ненаблюдателен. Ты просто изумительно ненаблюдателен».

Я возрился на нее, и смутная догадка стучалась ко мне в душу, но я ее не пускал.

«Ты думаешь, я ушла из-за этого старика?.. Впрочем, может быть, и из-за этого старика. Меня мутило. Еле успела добежать. Вывернуло всю наизнанку».

«У тебя не в порядке с желудком?»

«Да, с желудком. Я влипла в историю, Ленья».

«К-какую историю?»

«Обыкновенную. И... старую как мир. Ну, в общем, я беременна, вот в чем штука».

«Как это?» — спросил я остолбенело.

«Очень просто. Как все бабы беременеют».

«Какие бабы, что ты болтаешь? — сказал я. — Этого не может быть. Этого просто не может быть. Это противоречит всем законам природы!»

Она спросила:

«А ты-то откуда знаешь?»

«Ну... — я замялся. Потом добавил: — У нас ведь ничего не было».

«У нас?»

«Ну да. Н-н-непорочного зачатия не бывает».

Она усмехнулась. «Ты в этом уверен? Успокойся, — сказала она. — Я пошутила».

Я почувствовал невыразимое облегчение.

«У меня тоже однажды было отравление, — сказал я. — Такая рвота, что... Ты в самом деле шутишь?»

«Конечно, шучу, — сказала она. — Во всяком случае, ты тут ни при чем».

«Что значит — я ни при чем?»

«Ты тут ни при чем», — повторила она.

«А... кто же?»

«Святой дух».

Я взглянул на нее.

«Это к вопросу о непорочном зачатии, — сказала она, вставая. — Пошли, надоело сидеть. Холодно».

Несколько времени мы брели молча по аллее, где кое-где белел в углублениях снежный налет, потом она вдруг сказала:

«Мой братец, вот кто!»

Легко присев, она собрала снежную крупу в щепоть. Бросила, поднялась, отряхивая влагу с пальцев.

Вдруг все стало ясно.

Мы шли, никто не попадался нам навстречу. Лишь у стены невдалеке притопывал сапогами охранник, а справа за садовой оградой плелись пешеходы, неслись и гудели автомобили, тяжело сопел город.

Вика. Я не мог этому поверить. Я не знал, что это бывает или, по крайней мере, может быть. Они были для меня почти одним существом, так что во сне я иногда их путал: мне снилась она, и в то же время это был он. Но, как человек и его отражение, они стояли спиной друг к другу и смотрели в противоположные стороны. И вдруг отражение повернулось. Прелестное отражение...

«Ты его не знаешь, а я знаю, — проговорила Вика, как будто отвечая на мой вопрос. — Ты его не знаешь...»

«Нет, знаю, знаю!» — хотелось мне крикнуть. Знаю! Лунный оборотень! Инкуб!

Она продолжала:

«Он помешан на идее — жить необыкновенно. Он кого хочешь может заговорить... Он... ну, одним словом, мне очень трудно это объяснить. Послушай, Лентя... Я не знаю, что мне делать. У меня никого нет, кроме тебя. Я пришла в университет только для того, чтобы тебя увидеть. Я тебя ждала на лестнице... А когда ты появился, я сделала вид, что иду в деканат. Теперь, конечно... я тебе не нужна!.. То есть я вообще не знаю, была ли я тебе когда-нибудь нужна... по-настоящему. Я его просто боюсь, понимаешь, боюсь! И он меня заразил».

«Чем? Чем заразил?»

«Странно сказать: любопытством. Это как болезнь».

Это я мог понять. Я только не знал, что девушку это любопытство томит так же сильно, как и нас. Не удержавшись, я спросил: было ли это до того, как мы с ней?..

Она кивнула. «Понимаешь, Лентя, ты и он — совершенно разные вещи».

«Разные вещи?»

«Ну да. Разные люди. С тобой, например, мне все ясно. С тобой не может быть никакого любопытства... С тобой может быть только любовь. Ты весь как на ладони. Ты... может быть, лучший человек, которого я знаю. Но до любви ты не дорос».

Мы молчали.

«Везет мне», — проговорила она.

«Как же вы?» — спросил я.

«А вот так. Он меня измучил. Говорил, что если я не соглашусь, он отравится. А он, знаешь? Он же на все способен. Свадьба Птоломея и Арсиной».

«Чего?»

«Есть такая гемма. Супруги-близнецы... Считалось, что никто не достоин быть женой фараона, только его единокровная сестра. Необыкновенно, а конец самый обыкновенный. У него целая теория... Ну, и притом обстановка, мы одни в целой квартире. Знаешь, какая у нас квартира? Ты, наверное, такой не видел. В общем, если хочешь, могу рассказать. Как-то я пришла домой, он меня встречает... Свет горит во всех комнатах... Он целыми днями сидит дома, валяется на ковре и читает. Или спит. А ночью бродит в халате, будит меня, и мы вместе закусываем. Обожают есть по ночам. Да и я тоже...»

«Что ты тоже?» — спросил я.

«Люблю ночью кушать. А ты?»

Я пожал плечами.

«Слушай, — сказала Вика. — Я ужасно голодная. Может, пойдем что-нибудь купим?»

«У меня больше нет талонов», — сказал я мрачно.

«О, Господи, опять... Как вспомнила про еду, так... Откуда только берется?»

Она стояла над урной и выплевывала слюну.

«Сейчас пройдет», — пробормотала она.

ГЛАВА 39

Я не сомневаюсь, что мы были наказаны именно за «это», а все остальное было лишь поводом. Я верю в возмездие. Я знаю, что возмездие может воспользоваться несправедливыми средствами, может отыскать окольные пути, подобно тому как подпочвенная вода просачивается там, где ее не ждут. Но само по себе оно непогрешимо. Мы заслужили наказание и были наказаны. Я говорю — мы, а не она или он, потому что я был виноват не меньше, чем он; может быть, больше. И она это чувствовала. Ее рассказ не был точным и полным пересказом всего, что случилось, хотя казалось, что она находила горькое утешение в том, чтобы, освободившись от недомолвок, выложить все. Искренность была единственно возможным языком, возвращавшим ей достоинство, — да и всем нам. Но было в ее рассказе и нечто такое, о чем я мог лишь догадываться; нечто бросающее особенный свет на эту «свадьбу Птоломея и Арсиной».

Видимо, Вика подразумевал под этим выражением стирающие границы между действительностью и еще чем-то, может быть, мифом. Может быть, в этом и заключался соблазн — стереть границу.

Он принес и начал расставлять свечи, воткнул их где только можно было; вдвоем они убирали комнату, подолгу задерживаясь на мелочах, и временами казалось, что никакого сговора не было. Его и в самом деле не было, ибо она твердо и сухо сказала: нет. Они убирали комнату. Так бывает, когда приговоренного к смерти готовят к казни. Мысли о сиюминутном: куда поставить то, положить это... Впрочем, квартира в самом деле нуждалась в уборке. Оттягивали момент. Это оттягивание было не чем иным, как страхом, но в нем было и нечто освобождающее от страха, словно они уже давно были мужем и женой и не спеша готовились ко сну. Она боялась, что от свечей, расставленных на подоконниках, загорятся гардины. Настояла на том, чтобы убрать их с окон. Они задернули шторы. От свечей, стоящих перед зеркалом, большая комната преобразилась. Он распорядился вынести стол. Но она не могла двинуться от страха, страх сковал ноги, и она боялась споткнуться на ковре. Он стал просить ее помочь ему вынести стол. Умолял ее. Берись, сказал он. Вдвоем вынесли стол, точно гроб, и это усилие снова немного развлекло и успокоило. Разбросали по ковру подушки, Вика сидела в углу, а он оглядывался, как будто разочарованный тем, что все готово и больше нечего убирать. В эту минуту явилось «это». Окуда оно взялось, было неизвестно, возможно, Вика нашел его в письменном столе отца. Отец любил привозить разные любопытные штучки. Теперь он держал его между двумя пальцами, словно талисман. Пластмассовая коробочка с таблетками, таинственное какое-то средство. Как же оно действует? «Не знаю», — сказала она.

«Как это ты не знаешь? Ты ничего не почувствовала?»

Она пожала плечами и помотала головой.

«Но ведь ты сказала...»

«Это не я сказала, это он сказал».

«Что же он сказал?»

«Что лекарство останавливает время».

«Чего?»

Она снова пожала плечами.

«Лекарство останавливает время, и любовь становится бесконечной», — сказала она словно в трансе.

«Что ты городишь?» — сказал я.

«Вика сказал...»

«Да не Вика сказал! — рассердился я вдруг. — Ты сама ответь».

«Вика сказала, — повторила она упрямо, — что с этими таблетками можно ничего не бояться». По-видимому, это был препарат, задерживающий извержение семени.

Мне захотелось бежать. Не оглядываясь и все равно куда. Пока я погружался в туманы, пока носился со своей жалкой любовью, тут из будущего времени перешли в настоящее и от томных мечтаний к «делу». Это был коварный миг, где снаружи было одно, а внутри происходило другое, где все было ложью и предательством. Мир богачей (уж не знаю, кого я подразумевал под этим), которые могли позволить себе все что угодно, украсть у меня возлюбленную, но хуже всего было то, что она сама была грязь, они превратили ее в грязь. Малейшее воспоминание о том, что было раньше между нами, что произошло тогда вечером в университете, вызывало во мне нестерпимую боль. Я чувствовал, что теперь она тянется ко мне, ищет помощи и спасения; да она и не скрывала этого. Кажется, она даже сказала, что не может идти домой, не может видеть брата. Это было произнесено в некотором безличном контексте, в том смысле, что ей, вероятно, придется прожить несколько времени у знакомых, возможно, взять академический отпуск, и я уж не знаю, что еще она собиралась предпринять, но за всем этим стояло одно: помощи, помощи! Чем я мог помочь? Я сделал вид, что не понял. И она поняла, что я притворяюсь, будто не расслышал и не понял как следует ее слов. Мы расстались, говоря друг другу, что надо будет что-то придумать, найти выход. Подразумевалось, что мы должны встретиться, но когда, где? Мы не успели договорить эти фразы, когда вдруг подъехал автобус, она вспрыгнула на подножку, двери сомкнулись, я остался. Сразу же подъехал второй автобус, я хотел было вскочить и ехать за ней, но заколебался; автобус помедлил несколько секунд, пассажиров не было... и уехал. Я остался на остановке, но возвращаться домой я не мог. Мне надо было куда-то деться. Идея бегства, как в давно прошедшие времена, вдруг всецело овладела мной, и тут меня осенило.

Я поехал на Комсомольскую площадь. Никакого плана у меня не было, обещание приехать могло служить разве только внешним оправданием этого путешествия,

— я и адреса толком не помнил, главное было куда-нибудь деться, унести прочь, исчезнуть. Похолодало в самом деле. Холодный черный ветер пронизывал до костей. Я стоял в толпе, запрудившей платформу, наконец толпа заколыхалась, из-за темных пакгаузов показался и стал наползать навстречу ожидающим тусклый, горящий вполнакала глаз электрички. Толпа ринулась в пустые полуосвещенные вагоны, началась давка; те, кто, как я, оказался между входами, вошли последними. Двери соединились. Минуту спустя поезд тронулся. Меня прижали к стене тамбура, я ощущал неприятную слабость в плечах, в ногах, мне хотелось сесть на корточки, что я и сделал, когда стало немного свободней, но и эта поза была неудобной, и я опустил совсем. Поезд с лязгом переходил с одного пути на другой, люди шарахались из стороны в сторону, я сидел, обняв руками колени и дыша в воротник шинели. Мне стало тепло, потом жарко, в голове плыли вереницы слов, мыслей. Первые минуты меня не оставляло не то ощущение, не то воспоминание о черном пронизывающем ветре, я как бы воочию видел, что декорации жизни раздвинулись и из черных щелей подуло свирепым сквозняком. Но по мере того как я согревался, другие мысли и воспоминания постепенно усыпили меня. Я спал и не спал; пожалуй, это были воспоминания о том, чего не было. В памяти вставали лица, за которыми сквозило какое-то прошлое, но я не мог их узнать, словно в мозгу у меня поселились чужие мысли, чужие воспоминания. В то же время я хорошо сознавал, что сижу на полу в тамбуре вагона в холодном, гремящем, качающемся поезде, и время от времени поднимал отяжелевшую голову, глядя на выходящих пассажиров. На одной остановке вышло сразу много людей, площадка опустела, да и внутри вагона стало просторней, можно было войти и сесть, но я не мог подняться, я сидел на полу, меня не оставляла уверенность, что все это мне только грезится. Сон и явь были просто двумя обманчивыми видимостями одного и того же, более важного, но чего — я не мог понять. Привалившись к стене, я смотрел на стекла дверей, казавшиеся мне совершенно непрозрачными, но на самом деле голова моя лежала на коленях, и поезд, почти пустой, весь в тусклых лампах, с рядами пустых сидений и темных окон, визжа и качаясь, несся — казалось мне — в обратном направлении, а может быть, это был вовсе не поезд. Я поднял голову, где вся тяжесть сосредоточилась во лбу, в налитых смо-

лой надбровных дугах, между глазами: у дверей стояла компания мужчин с папиросами в зубах, готовясь сойти.

Удостоверившись таким образом, что я не сплю, я стал вспоминать разное, имена писателей, названия улиц, дату Саламинского боя; вспомнил о походе десяти тысяч и Павла Хрисанфовича, с которым мы не видались уже давно, — кажется, он хворал или уехал куда-то, — потом начал припоминать, как мы с Викой первый раз пришли в заброшенный дом на Тетеревом (почему-то мне хотелось сказать) бульваре; как поднялись по лестнице, увидели дверь в лохмотьях и среброглазого кота, как выглянуло нам навстречу пухлое, рыхлое, как булка, личико Клавы. Клаву я временно отставил в сторону и занялся прихожей. Я старался не убыстрять событий, соразмеряя ритм воспоминаний с той истинной скоростью, с которой все это происходило в тот пасмурный, в тот темный день, и вещи обступили меня, все требовало внимания, словно мы вошли в музей: зеркало, шкаф, портретик над рабочим столом профессора; наконец, Хрисанфович вошел в комнату, сдвинув с места забуксовавшее время, и начались разговоры о метаастрологии и таинственном пути России. Вика острил, помахивал трубкой, а на кухне за дверью в одиночестве сидела Клава. И я стал представлять себе, играя сам с собой в какую-то игру, как я встаю, придумываю предлог выйти и выхожу — на кухню, но Клавы нет, кухня пуста. Зато я вижу там еще одну дверь, что-то вроде черного хода, и, толкнувшись в нее, выхожу на площадку, ожидая увидеть лестницу, но вместо лестницы там оказался узкий загибающийся коридор, и я пошел по этому коридору. Игра настолько увлекла меня (как и сознание того, что я сохраняю контроль над своими мыслями, что это игра, а не сон), что мне уже не нужно было напрягать фантазию, ноги сами несли меня вперед. Навстречу мне шел контролер. Контролер стоял и ждал, когда я предъявлю билет. Билета у меня не было, но, к счастью, в этот самый миг я пробудился: контролер был сном. Я сидел, уронив голову на грудь, в пустом вагонном тамбуре, но и вагон был тоже сном. Явью был коридор и зал, похожий на зал каталогов в Ленинской библиотеке, где я шел и отыскивал свою букву. Вокруг ходили, тихо шаркая, вынимали и вставляли ящички. Сзади стоял Хрисанфович и подсказывал, где искать. В конце концов я нашел нужный ящик, правда, это была не та буква, но я числился здесь под другой фамилией. Я чувствовал, что сейчас я увижу и узнаю то,

чего никогда не видел и не смогу увидеть в действительной жизни: тайну своей жизни. В самом деле, не странно ли, что, узнав об удивительных достижениях продавца газет, о его науке, мы ни разу не попросили его открыть нам наше собственное будущее. Я сидел на полу с затекшими ногами и ждал, что будет дальше. Вот оно. Длинные и лоснящиеся от типографской краски пальцы профессора протянулись из-за моего плеча, выхватили нужную карточку, наверху стояла фамилия и даты рождения и смерти. Затем, как можно было догадаться, перечислялись события моей жизни, лесная школа, почтамт, и очень много еще внизу стояло, частью зачеркнутое, с надписанными наверху исправлениями; эти помарки ставили под сомнение достоверность самого метода, о чем я сразу же хотел сказать, но времени дочитать до конца уже не оставалось. Поезд стал тормозить. С величайшим трудом я встал и, шатаясь, на онемевших, неживых ногах вышел на платформу.

ГЛАВА 40

Многие существенные подробности для меня в то время как бы не существовали: я имею в виду бюрократическую сторону жизни, бюрократический аспект, столь важный в нашей стране. Поэтому я могу лишь строить догадки относительно того, на каких правах проживал в поселке, куда я сейчас направлялся, человек, предъявивший на меня свои права, — если он вообще обладал какими-либо правами. Итак, я оказался на голой платформе, впереди горел одинокий фонарь под жалким навесом, освещаая название полустанка; было уже совсем темно. Я поплелся следом за кучкой людей, сходявших по лесенке на тускло поблескивающие пути, миновал шлагбаум, трансформаторную будку; приезжие рассосались во тьме, я шел мимо темных дач, мимо провалившихся мостков, стараясь припомнить объяснения, которые он мне давал. Кое-где в низких окошках тлели желтые огоньки керосиновых ламп. Улица кончилась, впереди было широкое поле, тонувшее во тьме, и я понял, что сбился с пути. Оставалось либо вернуться, либо повернуть налево, где виднелись какие-то строения; я свернул влево и некоторое время спустя очутился у разрушенного палисадника с проплывшей мимо глаз ржавой табличкой, на которую я не обратил внимания и лишь позже, отойдя далеко, сообразил, что это и есть та самая

улица. Никакой улицы, собственно, тут не было; лишь с одной стороны тянулся бесконечный, кое-где покосившийся палисадник, вдоль него канава, а далее начиналась пустошь — все то же поле, к которому я вышел с другой стороны. Оставался один-единственный дом, высокая островерхая дача, темневшая в деревьях в глубине участка. Спусти несколько десятков метров ограда окончательно развалилась. Но обнаружилось еще одно здание. Среди остатков огорода, на отшибе, ютилась, моргая тусклым оконцем, хибарка с железной трубой. И вот я всхожу на крыльцо, не веря своей удаче, я стою перед верандой, где половина стекол заменена фанерками, рука моя поднимается к стеклу, я всматриваюсь в темноту и вижу спинку железной кровати, опрокинутые ведра, хромой детский велосипед... Я постучал, раз, другой, и он вышел.

Вышел, оставив открытой дверь, маленький человек — такой маленький, что его можно было принять за карлика с седыми, стоящими дыбом волосами вокруг покатога лба, — прикрывая ладоншкой коптилку, в меховой безрукавке.

«Леня? — сказал он полувопросительно. — Боже! Ты?..» Мы вошли в комнату. На столе лежали остатки еды, в углу деревянный чемодан, кровать. Это было его жилье. «Сейчас, сейчас, — бормотал он, гремя алюминиевым чайником, кружа по комнате. — Как же так?.. Я бы тебя встретил... Боже мой». Я сидел, не раздеваясь, у края стола, мне было холодно. Рыжий лепесток огня, повевая, как кисточкой, струйкой копоти, гипнотизировал меня, я протянул руку и прикрутил пламя.

«Но ведь ты совсем болен, бедный мой мальчик», — пропел он, всплескивая короткими ручками. На левой руке не хватало трех пальцев. Он пощупал мне лоб маленькой влажной ладонью и поглядел мне в глаза своими выпуклыми глазами старой склеротической птицы, и я медленно взглянул на него совиным взором, он сидел на корточках и развязывал мне шнурки башмаков. Его лысина в венце вздыбленных волос кольхалась перед моими глазами. И я чувствовал, как голова моя мотается, когда он стаскивал с меня рукава шинели. Я слышал, как он задул керосинку, и остро запахло горелым керосином. Я лежал, укрытый одеялом, шинелью и еще чем-то, и он сидел рядом, озаренный пламенем коптилки, и помешивал ложкой в оловянной кружке. Он шептал, бормотал, приговаривал, протягивая мне ложку, и я слушал его и все ниже спускался по ступенькам плат-

формы в темные подземелья, где надеялся наконец согреться. Я проспал, вероятно, часа полтора и, проснувшись, увидел, что он сидит в глубокой задумчивости подле кровати; прикрученная коптилка, как искра, мерцала на столе, и вся убогая комната тонула во мраке. Вздохнув, я выпростал руки из-под вороха одежды, лежавшей на мне. Голова у меня была удивительно свежа. Он посмотрел на меня и улыбнулся.

Лицо у него было маленькое и широкое и улыбка несколько лягушачья. Было очевидно, что я опоздал на последнюю электричку. Некоторое время мы говорили об этом, оттягивая другой, главный разговор; он намеревался идти на станцию, звонить моим родителям о том, что я здесь ночую, я отговаривал его, солгав, что я их предупредил. «Разве ты едешь из дому?» — «Нет, но...» В таком роде продолжалась наша беседа еще некоторое время, и я чувствовал, что тяжкая нерешительность, та нерешительность, которую и я унаследовал от него, зреет в нем, как нарыв, чтобы наконец прорваться потоком слов, быть может вовсе ненужных и не способных изменить положение. Что-то похожее на трудное и постыдное объяснение в любви, без всякой надежды, но избежать которого уже невозможно. К этому шло. Пламя полыхало на столе. Я пил чай и ел хлеб с большим аппетитом. Глядя на меня, и он усердно жевал мякиш обломками зубов, потирал руки. Время от времени он расхаживал по тесной комнате. И его голова со стоящими дыбом волосами металась по стене и потолку.

«Я здоров», — сказал я.

«Нет, нет, лежи. Я тебя устрою поудобнее... вот так».

Он говорил: устхою.

«Мне жарко».

«Не раскрывайся, вот так...»

«Вы, наверно, думаете...» — начал я.

«Ты мне говоришь «вы»?.. Впрочем, конечно, конечно. Как же может быть иначе?» — бормотал он и стискивал руки. Огонек коптилки освещал половину его лица, другая была в тени, и глаз блестел на темной половине, это производило странное впечатление. Он сидел на табуретке, упираясь ладонями в расставленные колени, голова в провале между плечами, как у птицы. Потом он встал и заглянул за марлевою занавеску в окно. Неплохая квартира, заметил он, но придется эвакуироваться, так как у него сто первый километр. Он спросил, знаю ли я, что такое сто первый километр. Разумеется, я

знал и сказал, что сто первый километр — это тот, который следует за сотым. Пхавильно, сказал он. Собственно, мне и не нужно знать, но раз уж зашел об этом разговор... а что такое волчий билет? Волчий билет — это паспорт. Не такой, разумеется, который бывает у волков, потому что у волков всегда прекрасный, безупречный, настоящий паспорт. Волчий билет похож на настоящий паспорт. Вот, сказал он, я достаю из широких штанин. На нем были старые мешковатые штаны. Он сидел на табуретке, седой бурьян волос колыхался над его плоским черепом. Если посмотришь на этот паспорт, то абсолютно ничего не заметишь. Но самая последняя шавка, самая последняя девчонка в паспортном столе поймет, что ты за птица, потому что в этом паспорте есть одна-единственная крохотная пометочка, всего два слова в пункте, «на основании каких документов выдан паспорт». На основании справки номер такой-то «и положения о паспортах». И вот это «положение», которое никто никогда не видел, эти два слова будут идти за тобой всю оставшуюся жизнь, а как же может быть иначе?.. Все это сопровождалось кашлем, сопеньем, потиранием рук, похлопыванием себя по коленкам и бесконечными заверениями, что мне это не надо знать. Воспроизвожу его речь так, как она мне запомнилась.

«Сколько времени прошло с тех пор, как мы с тобой не виделись? Тогда, я имею в виду тогда! Впрочем, что я говорю, — ведь ты меня так и не видел. Ты меня не заметил, а я сидел и смотрел на тебя. Там была беседка. Но ты, конечно, ничего не заметил. И я был рад, что ты меня не заметил. Я для тебя в полном смысле слова чужой человек, — сказал он, кивая при каждом слове. — Я внушаю подозрение, я вызываю страх, а как же иначе? Все должно быть именно так, иначе и быть не может... А сколько я тебя тогда искал! Сколько я писал, ездил, обивал пороги. Ты и представить себе не можешь. И вот мы наконец встретились, Боже мой. И я вижу, как ты на нее похож. Я знал твою маму давно. Тебе это трудно представить... Я знал ее тогда, когда мне было двенадцать лет, ей — четырнадцать... Я встретил ее всего на несколько лет позже, чем Данте встретил Беатриче. Ее отец, твой дедушка, был в нашем городе уважаемым человеком, он был провизором. У них был дом на главной улице. А мой отец был картузником. Знаешь, что это такое? Картузник — это тот, кто делает картузы. На нашем квартальном был картуз, сделанный руками моего отца. Это был

его самый лучший заказ... Мой отец был бедняком. Но он считался одним из лучших знатоков Торы. Он знал Шулхан Арух не хуже самого раввина. А суббота? Чтобы кто-нибудь посмел в субботу, я не знаю, чиркнуть спичкой, чтобы зажечь лампу! Ты знаешь, какой это был бы скандал? У нас на улице жил один человек, шабес-гой, так вот этот шабес-гой приходил и зажигал свет и делал всякую мелкую работу вместо мамы в этот день. А потом сидел на кухне и выпивал свой стакан водки и потирал вот так руки. И приговаривал: люблю еврейский народ! Люблю еврейские праздники! Мне было двенадцать лет. Не намного меньше, чем тебе, а? Я давал уроки. Я учился в коммерческом училище, был первым учеником. А у нас быть первым учеником — ого! Это было не так просто. Я был первым учеником и репетировал детей состоятельных родителей. Вот так я и познакомился с твоей мамой. Не правда ли, как все странно сложилось? У нее были нелады с математикой. И с географией, по правде сказать, тоже не все обстояло как следует быть. Не все было блестяще. Но зато она играла на рояле. И то, что она играла на рояле, внушало мне необыкновенное уважение, потому что я сам полностью лишен каких бы то ни было музыкальных способностей. Я смотрел, как ее пальчики бегали по клавишам, и дивился этому необыкновенному искусству так, как если бы я слушал иностранца и удивлялся, как он быстро и ловко выговаривает слова, и при этом не понимал бы ни слова... Потом она уехала в Петроград поступать в консерваторию, а меня жизнь повлекла в другую сторону. Я стал ниспровергателем старого мира. Эти слова для нас тогда очень много значили... Старый мир, Леня, — в этом понятии соединились вся несправедливость, вся мерзость, вся трусость, накопленные за десять веков. В нем сближались несоизмеримые вещи, то, что недавно еще было разделено огромным расстоянием... Да, изменение масштабов и дистанций, вот это главное. И становой пристав, и архиерей, и наш кагальный староста, и царь, и Распутин, все это было одно. Все это был старый режим. Я еще помню, как директор училища выступал на митинге по случаю объявления войны и закончил свою речь так: «За здравие царя, уря!» Вот это «уря», можно сказать, воплощало для меня весь тот мир, да и только ли для меня? Революции сочувствовало подавляющее большинство народа, это было другое время, другая эра. И не только евреи, евреи в массе своей отнеслись к ней скорей

недоверчиво, евреи ценят порядок, пускай даже несправедливый, потому что слишком хорошо знают, что в любой смуте они будут первой жертвой... Но молодежь зажглась... Не стоит сейчас говорить об этом, но, по моему, в революции было много хорошего. Был полет, был идеализм. И все чувствовали: назад дороги нет. Одним словом, в семнадцать лет я был членом партии Поалей-Цион в нашем городке и даже был выбран председателем ячейки. Мне это потом припомнили, несмотря на то что, я должен сказать, наша партия на выборах в Учредительное собрание блокировалась с большевиками. По своей программе и по своим целям наша партия была пролетарской партией! Таки да, таки да! — сказал он. — Потом я покинул эту партию, стал комсомольцем... Это было лучшее время моей жизни, Леня... Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе, — только я не был такой, как ты, высокий и красивый, я был маленького роста, я плохо питался, так вот, когда мне было столько же лет, я чувствовал себя, как будто у меня в кармане тысячерублевый билет, как будто у меня билет в царство небесное. Между прочим, я писал стихи. Я писал стихи в честь твоей мамы! Я писал стихи в честь революции! У меня был псевдоним: Перекати-поле. В нашем городке в двадцатом году вышел сборник моих стихотворений под названием «Стальной строй», я не помню из него ни одной строчки. Началась гражданская война. Два слова, и больше не будем об этом... Возле нас в четырех верстах находилось богатое село. Там скрывалось несколько белых офицеров. Мы знали, что там скрываются белые офицеры. В апреле двадцатого года, может быть в мае, но не позже, в этом селе вспыхнуло восстание. Объявился кулацкий батька, при нем штаб, торжественный молебен в церкви, хоругви и все прочее. Об этом мы знали, у нас были лазутчики. И вот, я помню, прекрасный весенний день, и мы лежим, нас тридцать или сорок человек, по большей части таких же сопляков, как и я, перед нами свежевспаханное поле, а впереди село, изумительно красивое. Солнце встает, и купола блестят так, что больно смотреть... Лежим и ждем. И по ту сторону поля тоже лежат в ложине, но им солнце бьет в глаза, а нам в спину. Ни они не решаются подняться, ни мы. Кто-нибудь не выдержит, сделает выстрел, и сейчас же ответный, и снова лежим. Командир у нас был высокий, костлявый парень. При шашке, в руке наган. Былинная личность. Шагает, как журавль,

вдоль цепи и повторяет: «Товарищи, патронов зря не расходовать. Зря патронов не расходовать, товарищи!» — одну и ту же фразу, все время. И вот там, за полем, видим, разворачивается трехцветное царское знамя, а ты знаешь, что значило в те годы для нас трехцветное знамя? — это было как красная тряпка... Разворачивается знамя, значит, сейчас пойдут в атаку. Свистнула шашка, блеснула сталь, и мы все поднимаемся и бежим на оставшее село. Слева от меня бежит Сема Перельмутер, один из наших первых учеников, прекрасно помню их семью, в толстых очках. Справа красноармеец, черный, заросший щетиной до самых глаз. Вот так это было. Вот так это началось... Как я вступил в партию? Очень просто. Тогда все было просто. В двадцать третьем году в честь двадцатилетия РКП(б) губком комсомола передал в подарок партии тридцать комсомольцев, в виде исключения их сразу утвердили членами без прохождения кандидатского стажа. Я был среди этих тридцати. И вот представь себе, без году неделя, едва только приняли, начинается дискуссия о «новом курсе» Троцкого. Было опубликовано заявление сорока шести. На уездной партконференции группа делегатов, имеющих особое мнение, выделяет содокладчика. И этим содокладчиком таки был я! Все это мне, само собой, припомнили. — Он встал и начал бегать по комнате. — Что я хотел сказать? — спросил он, останавливаясь. — О чем? Да! Иначе и не могло быть. Иначе быть не могло! Все, что произошло, произошло закономерно. Ленин был абсолютно прав, когда говорил о закономерности исторического процесса, но он не догадывался, о *какой* закономерности идет речь. Колесо катилось вперед по назначенной ему дороге... Мы, может быть, этого не видели, думали, что это мы вращаем колесо. А оно катилось себе и нас везло. Одних тащило, других давило... Был такой еврейский поэт, Хаим Бьялик. Году в двадцатом он уехал из России. Так вот, когда его спросили: что у вас там, в этой стране произошло? Он сказал: ничего особенного. А хазер перевернулся на другой бок. В двадцатом году, если б этот Бьялик мне попался, если бы я услышал от него эти слова, я бы его расстрелял на месте! Это известные слова, ты их еще услышишь... В них много грубого и несправедливого. Если вдуматься, то на самом деле несчастный хазер, этот огромный народ, беспомощный, как ребенок, сделал последнюю попытку вылезти из трясины. А вместо этого ушел в нее еще глубже. Этот слепой Голиаф

схватился за столбы и обрушил на себя крышу и на все, что было вокруг него... Что я хотел сказать? — Некоторое время после этого слышалось бормотание и скрип табуретки. — Ты думаешь, что ты родился в Москве, — сказал он, — так указано в твоей метрике. Но на самом деле ты ленинградец, Леня, ты появился на свет на углу Невского и Мойки, там был большой красивый дом. Кажется, в нем жил Некрасов, если я только не ошибаюсь. В него попала бомба. Я имею в виду во время войны. В этом доме ты родился на три недели раньше, чем указано в метрике, потому что через несколько дней после твоего рождения, как только твоя мама смогла встать, она уехала, а точнее говоря, бежала с тобой в Москву. А если быть совсем точным, то не в Москву, а сюда, вот в этот самый дом. Ты, наверно, не догадывался, что в этой комнате ты провел первые месяцы своей жизни. Пожалуй, тогда она выглядела получше... Я сказал твоей маме, поезжайте, все может быть. Когда все успокоится, приеду к вам. Эта дача принадлежала тете Риве, была у нас такая тетя, твоя двоюродная бабушка. И представь себе, все обошлось. Меня даже ни разу не вызывали. Как я попал в Ленинград? Я попал в Ленинград в двадцать четвертом году, я был направлен на учебу в Политехнический институт. И я разыскал в Ленинграде твою маму. В первый же день я явился к ней. По-моему, она очень обрадовалась. Мы оба изменились. Стали взрослыми. Разумеется, я помогал ей. Ее отец умер, семью выселили, то да се... Консерваторию она не кончила. Ее отчислили как дочь буржуазных родителей. Она была больна. У нее с детства было большое легкое. Не оба легких, а одно. Каждую весну повторялось воспаление, кашель. Все считали, что у нее туберкулез, но это был не туберкулез, а другая хвороба, несколько не лучше. Кто-то из врачей сказал, что ей полезно замужество, я не знаю, может быть, это сыграло роль... Словом, она была рада со мной встретиться, но о том, чтобы меня полюбить, не могло быть и речи. И так продолжалось довольно долго, прежде чем мы стали мужем и женой. Когда-нибудь тебе расскажу, как это произошло. Но в двадцать девятом году меня арестовали за участие в троцкистской оппозиции. Моим следователем был мой же товарищ, тот самый Сема Перельмутер, с которым мы брали штурмом кулацкое село. В камере можно было иметь перо и бумагу, вообще сохранялись еще старорежимные традиции. Мы сидели и писали заявления... обо-

сновывали свою позицию. Я не помню из нее ни одной строчки. В ответ на репрессивные меры пели Интернационал, стоя перед окнами, всей тюрмой. Расскажешь кому-нибудь, так не поверят! Потом в газетах было опубликовано заявление видных участников. Я был отпущен на поруки на три дня, продумать свою позицию. Потом еще на три дня. Требовалось, чтобы мы подписали заявление о том, что мы разоружились перед партией. Вместо этого заявления я написал письмо в ЦКК Шкирятову. Это было в двадцать девятом году, а в тридцать седьмом это письмо лежало в моем деле. Мы жили, мы работали, мы махали руками, а где-то там пухли и копились наши досье... Словом, я возвращаюсь из тюрьмы в полной уверенности, что если не через неделю, то через две недели, не через две недели, так через месяц меня возьмут снова, а маму вышлют. И я принимаю решение. Через неделю после родов отправляю вас к тете Риве. Проходит месяц, еще месяц. Ничего не проясняется. Меня никуда не вызывают. Я как коза на веревке. Щиплю траву, но в любой момент веревка может натянуться. Живу без партбилета, на птичьих правах. О маме, о тебе никаких известий. Наконец не выдерживаю, бросаю все, срываюсь с места и еду в Москву. Выхожу на Каланчевку, и что же я вижу? Огромная площадь между тремя вокзалами вся забита народом. Вся! Тысячи, может быть, десятки тысяч людей. Бабы, старухи, дети, бородатые старики, лежат, сидят, с деревянными сундуками, с мешками, с котомками, в залах ожидания, всюду, где только можно, народ. Деревня двинулась... Бегут от коллективизации. И я вдруг понял, что наша партийная борьба, наши разногласия, все эти платформы, заявления, собрания — только жалкая тень грандиозных и грозных событий, которые происходят в стране. Мы, как кучка насекомых, копошились на поверхности огромной дымящейся массы. Мы произносили длинные речи о классовой борьбе, о расслоении, о смычке. Мы руководили. Мы думали, что в руках у нас ключ от действительности, и, так сказать, рвали друг у друга из рук этот ключ... Мы мыслили широкими категориями. Но мы ни черта не понимали. Тогда, может быть, в первый раз в моей душе шевельнулось какое-то чувство ужаса перед грандиозностью тех сил, которые мы привели в движение, тех масс, которые мы всколыхнули. Стыдно признаться, но это так... Потом, конечно, все наладилось. Была введена паспортная система, и это человеческое наводнение спало. На

Каланчевской площади установился порядок... Какое-то время спустя меня восстановили в партии, все наладилось, я стал работать в газете. Вокруг был голод, по улицам ходили нищие, но мы все были прикреплены к закрытой столовой для ответработников на Арбате, это там, где ресторан «Прага». Обедали там, а завтрак и ужин получали сухим пайком. И это считалось в порядке вещей. Считалось в порядке вещей то, что мы обедаем в ресторане «Прага», а по улицам ходят нищие. Считалось, что это временные трудности и результат кулацкого саботажа. Одним словом, на Каланчевской площади воцарился порядок, и мы этот порядок принимали за порядок во всей стране», — выговорил он, схватившись обеими руками за космы волос и качаясь на табуретке, которая скрипела, как старый корабль.

ГЛАВА 41

«Я знал твоего отца, — сказал он, — ты видишь, я называю его твоим отцом. Он-таки действительно стал тебе отцом, надо отдать ему справедливость. Он заменил тебе отца. Потому что я сгинул, я исчез, меня больше не существовало. Коза щипала травку и помахивала, знаешь ли, хвостиком, и все было прекрасно. А потом веревка натянулась, и нет больше козы! Я имел наивность думать, что мне не повезло и что я стал жертвой ужасной клеветы и подлости, когда та же самая газета, которая была моей боевой трибуной против классового врага, начала публиковать против меня серию статей, где меня самого называли классовым врагом и замаскированным бундовцем. Когда я всю свою жизнь ничего общего с Бундом не имел! Да, я имел наивность думать, что это недоразумение и подлая интрига... Но смею тебя уверить, что такое же недоразумение произошло с тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч. Это была какая-то дьявольская, не скажу сознательно поставленная задача, нет, не задача, а закономерность. Вот именно! Долгое время нам казалось, что мы овладели закономерностями истории, проникли, так сказать, в ее машинное отделение. Но на самом деле закономерности действовали сами собой, никого не спрашивая. До какой-то станции мы ехали и даже думали, что управляем этим поездом. А потом поезд набрал скорость, и мы слетели с подножки, а он пошел себе дальше! Одним словом,

чистка за чисткой, то да се... Люди стали исчезать на глазах. Все начало меняться. Вот тебе один маленький пример... Ты уже взрослый, я думаю, что тебе все можно говорить ... Но ты, конечно, понимаешь, что то, что я тебе рассказываю, не надо никому повторять. Ты меня понимаешь?.. Так вот, я уже говорил, что довольно долгое время был газетчиком. Конечно, теперь мое имя исчезло бесследно, как тысячи и десятки тысяч других имен, но в свое время я был известным газетчиком. Между прочим, я некоторое время работал в «Известиях», не говоря уже о том, что постоянно там печатался. Я был знаком с самим Николаем Ивановичем Бухариным. Когда-нибудь потом расскажу тебе об этом замечательном человеке... Но я хотел тебе рассказать один маленький случай. Один пример того, как менялось на наших глазах время. Захожу я как-то в кабинет завотделом партийной жизни. Фамилия его была... ну, неважно. Там сидит еще кто-то, неважно кто. И я слышу такой разговор: «У вождя нашей партии и мирового пролетариата не может быть такого низкого лба. Поднять выше». Понятно тебе, о ком идет речь? Так с тех пор он и стал на два сантиметра выше. Но я не разделяю мнения тех, кто считает, что он один во всем виноват. Тут все гораздо сложнее. И я даже скажу тебе больше. Мы, так называемые левые, мы ничему так не радовались, как отмене нэпа. А что такое было решение перейти от политики ограничения кулачества к политике ликвидации кулачества как класса, что такое это было, как не решение покончить с нэпом? Когда Рыков, Томский и Бухарин опубликовали в «Правде» заявление о том, что они отказываются от своих взглядов, разве я не одобрял его искренне, всей душой? Мало того, оно казалось мне еще недостаточно решительным. Потом мы поняли, в какой террор, в какое безумие вылилась коллективизация. Но назад-то дороги уже не было! Задача была поставлена гигантская, неслыханная в истории. Октябрь был революцией в городе. Но страна, огромная страна осталась деревенской, лапотной. И теперь наступило время провести революцию в деревне, рано или поздно это нужно было сделать. И я тебе скажу даже больше. Надо было быть логичным. Надо было быть логичным и последовательным до конца и провести эту революцию со всей решительностью, на которую только были способны партия и пролетариат. Иначе государство, то государство, которое мы создали после Октября и отстаивали в

гражданской войне, в конце концов бы развалилось, потому что оно представляло собой противоестественный гибрид пролетарского города с мелкобуржуазной и кулацкой деревней. Эта деревня была колоссальным внутренним врагом, хотя бы она этого и не сознавала. И поэтому, однажды начав, уже нельзя было отступать. Нельзя было отступать потому, что наша политика в деревне начиная с тридцатого года вызвала такую ненависть, создала такой заряд мести и злобы, что он зажег бы кровавый пожар, если бы вдруг власть выскользнула из наших рук. То, что я тебе говорю, это вовсе не тайна. Об этом говорилось открыто, люди поднимались на трибуну и говорили, что если мы сейчас не свернем шею кулаку, а под кулаком подразумевался нормальный зажиточный крестьянин, то есть тот крестьянин, которого породила Октябрьская революция, ибо революция дала ему землю, если мы не свернем шею кулаку, он сам свернет нам шею! Мы это прекрасно понимали. В тридцатом году мы понимали, что мы составляем ничтожное меньшинство в стране, что мы маленькая кучка перед огромной враждебной массой. Перед этим пожаром Пугачевщина показалась бы рождественским фейерверком... Что же удивительного, что мы все были со Сталиным, что после двадцать девятого—тридцатого года никакой серьезной оппозиции уже просто не могло быть! Но тогда ты спросишь, почему же я, убежденный ленинец, революционер, член партии с двадцать третьего года, я, который мог только приветствовать решительные меры, почему я в конце концов был вычищен из партии, девятнадцать месяцев просидел в тюрьме, а потом меня вызвали и объявили, что, по решению Особого совещания, меня высылают в Казахстан на пять лет за участие в контрреволюционной бундовской организации, а спустя немного времени меня снова арестовывают и я уже по настоящему узнаю, что такое сталинское следствие, а потом снова короткая передышка, и опять арест, и тюрьма, и лагерь, словом, все тридцать три удовольствия, — почему? За что? Почему столько людей, я бы сказал, лучших, преданных людей, о себе не говорю, — было вычищено, причем тогда, когда война с крестьянством была закончена, когда мы выиграли эту войну? Потому что надо было быть последовательным. Надо было освободиться от всех, кто усомнился и это свое сомнение поставил выше единства партии. Кто однажды нарушил эту ленинскую заповедь, важнейшую заповедь... В усло-

виях, когда нам пришлось воевать с целой страной, партия должна была сжаться. Сталина упрекали в аморализме. Но, между прочим, никто никогда не обещал, что партия должна следовать общепринятой морали. И что такое общепринятая мораль? Разве можно было бы совершить революцию, выиграть гражданскую войну, выиграть классовую войну в деревне, если бы мы всегда и во всем считались с обывательской моралью? Пролетарская мораль — вот единственная мораль, которая нами руководила. А в условиях отчаянной борьбы уже даже не за власть, а за жизнь, ведь мы знали, что потеря власти означает для нас потерю жизни, — в этих условиях пролетарская мораль была не что иное, как партийная мораль. И я даже скажу больше: партийная мораль — это мораль руководства партии. Если эта мораль приказывала быть беспощадным, значит, надо было быть беспощадным. Надо было придумывать любые предлоги, любые, пускай самые абсурдные обвинения, чтобы освободиться от колеблющихся. Партия — это клин. И этот клин должен быть без сучка и задоринки. Одним словом, в тридцать втором году я был разлучен с твоей мамой навсегда. Я больше ее не увидел. Первое время, когда я был в ссылке, мы переписывались. Но однажды я получил от нее письмо, из которого узнал, что я уже больше ей не муж. Я не знаю, что со мной было, я рвал и метал, я, наконец, недоумевал. Но когда настал тридцать пятый год, тридцать шестой год, тридцать седьмой год, когда меня привезли из Кокчетавы прямо сюда и моим следователем был уже не Сема Перельмутер, от таких, как Сема Перельмутер, уже давно след простыл, а ублюдок, который двух слов не мог сказать без мата и который отмолотил меня в первую же ночь, так что я потом пластом лежал, — я понял, как она была права. Я понял! Ее уже тогда не было в живых... И если бы не этот шаг, не это заявление, которое она написала, тебя, может быть, уже тоже не было бы в живых. И я бы не увидел тебя, как не увидел ее. Я, Леня, знал твоего отца, он действительно был тебе отцом все эти страшные годы. Я его знал, вопреки тому, что он обо мне думает, и он должен был меня знать, хотя вряд ли мог меня помнить, иначе он узнал бы меня тогда, перед войной, когда я так неосторожно явился к вам в дом. Но он, конечно, меня не узнал, он не притворялся. Зато я его помню. Боже мой! Два желанья, всего два, у меня было за все эти годы. Увидеть тебя и увидеть наш городок... Конечно,

вряд ли там кто-нибудь мог остаться, евреи погибли, а остальные? Тоже, наверное, разбежались кто куда. Между прочим, твой отец происходит из порядочной семьи, его отец служил на железной дороге, и жили они в казенном доме. Это была хорошая русская семья. И он, как твоя мама, ходил в гимназию. Я учился в коммерческом, а они ходили в гимназию... А уж как они встретились потом в Ленинграде, я не знаю. Конечно, я был удивлен, узнав о том, что он стал ее мужем и дал тебе свою фамилию, но в конце концов, почему бы и нет? Даже если бы ничего не случилось, если бы вообще не произошло никаких событий — поставьте меня и его рядом: кого бы она выбрала? Конечно же его. Между прочим, твоя мама была не обычная женщина, я не говорю о том, что она была талант, она была музыкантша, все это само собой, но я говорю о ней как о женщине. Она была красавицей, этого нельзя было не заметить. На нее оглядывались на улицах. И когда я рядом с ней шел, я чувствовал себя гордым, как индюк, и ревновал ее ко всем прохожим. Ты ее, конечно, не помнишь. Но видел ли ты хотя бы ее фотографии, или фотографий уже тоже не осталось? Между прочим, ее никогда не принимали за еврейку. Я не хочу сказать, что все еврейские девушки некрасивы, а все русские — красавицы. Но у нее действительно был совсем другой тип, и это касается не только лица, но и всего телосложения. Конечно, рядом с ней я не выглядел богатырем, что говорить... Твоя мама была высокая, у нее были серые глаза. Волосы? Волосы были очень длинные. Я люблю, когда у женщин длинные волосы. Тогда все стриглись, и эта завивка, знаешь... но я умолял ее не обрезать волосы. Они были длинные и мягкие. И от этих волос шел необыкновенный аромат. От этих волос кружилась голова. Они были такие мягкие, что просто текли сквозь пальцы, текли по ее плечам... Конечно, она была рада, когда я ее нашел в Ленинграде. Она где-то служила, потому что ее отчислили, как я уже сказал, как социально чуждый элемент. Она была рада. Но, знаешь ли, дальше дело не пошло. Когда я что-нибудь говорил, она молчала. Я бывал у нее каждый день. Я доставал ей самые лучшие продукты и возил ее к знаменитым профессорам. Я разбивался в лепешку. И никакого результата. Она молчала. И вот представь себе: я решил покончить с собой. Смешно, а? На дворе двадцать пятый или двадцать шестой год, город бурлит, собрания, дискуссии, снова всплыло ленинское

завещание, а я погрузился в личную жизнь, а я сижу и смотрю на эти волосы, на эти глаза. Эта девушка теперь важнее для меня всего на свете. Словом, после одной ночи, когда я не сомкнул глаз ни на одну минуту, я прихожу к ней рано утром, как снег на голову, пока она еще не ушла на службу, расстегиваю портфель, не говоря ни слова, и кладу на стол браунинг. Как? что?! Она ничего не понимает. Как же, я говорю, ты ничего не понимаешь, если ты своей индифферентностью довела меня до такого состояния? А ты когда-нибудь меня понимала, ты интересовалась когда-нибудь моей жизнью? Тогда она переменялась в лице и сказала, что она мне не пара. Значит, я говорю, ты подтверждаешь правильность моего вывода? Значит, мне действительно ничего не остается, как вот сейчас этой игрушкой разmozжить себе голову? На это она мне отвечает, что она считает, что она мне не пара, во-первых, потому, что она старше меня, а во-вторых, потому, что она больна. А просто так жить со мной она не хочет. Глупая, я говорю, а о чем я тебе толкую? Разве я прошу тебя жить со мной «просто так»?.. Пойдем в ЗАГС и регистрируемся! Словом, что говорить, — сказал он. — Она меня уважала, она меня ценила. Она была моим другом, моей дочерью, матерью, сестрой, чем угодно. Но что касается всего остального, то в этом отношении я интересовал ее как прошлогодний снег. Мы поженились, мы стали мужем и женой. Но она жила в каком-то другом мире. Моя работа ее не интересовала. Вот так... а все, что было дальше, я тебе уже рассказывал. И вот ты теперь спросишь, зачем же я через столько лет врываюсь в вашу семью, я, выходец с того света? Зачем я пришел к вам в дом, зачем я нарушаю твой покой и покой всей вашей семьи? Я тебе отвечу. Потому что я твой отец. Так уж получилось, что у тебя два отца, и один из них, между прочим, таки я. Но, видишь ли... Дело не только в этом. Если бы дело было только в том, что я твой отец, я бы как-нибудь потерпел. Клянусь тебе. Я бы как-нибудь справился со своими чувствами. — Он остановился и потер лоб двупалой ладонью. — Слушай меня внимательно, Леня, мальчик мой, — сказал он. — У меня за плечами немалое прошлое, и, как видишь, я до сих пор жив. Большинство тех, кто прошел мой путь, исчезли. Может быть, это мое счастье, а может быть, несчастье. Несчастье потому, что я увидел то, чего никто из нас никогда не думал увидеть. Но раз уж я дожид до этого, я должен был как-то это

понять... С высоты моего опыта продумать и проанализировать весь ход событий... Ничто не происходит случайно. Если так все повернулось, значит, для этого были какие-то предпосылки. Я имею в виду не только мою жизнь... Все эти годы я потратил на то, чтобы продумать исторические закономерности, я должен был это сделать, и я пришел к определенным выводам. Я понял, что наша программа, наше дело, вся наша деятельность была основана на ряде ошибок. И эти ошибки дали себя знать уже в двадцатых годах, не говоря уже о тридцатых... Я говорю не о тактических ошибках. В конце концов, у кого их не бывает! Я говорю об ошибках стратегии и прежде всего самой главной, коренной ошибке, которая состояла в том, что мы в своих расчетах не приняли во внимание самый главный фактор — Россию. Да, как это ни смешно, именно Россия выпала из поля зрения и не была учтена как фактор, имеющий первостепенное значение. События затуманили нам глаза. Страну словно заволокло дымом... А когда этот дым рассеялся, мы увидели совсем не то, что ожидали увидеть! Я приведу тебе один маленький пример: году в тридцать шестом мне попадает на глаза статья Николая Ивановича в «Правде» о проекте конституции. По-моему, это была его последняя статья, да и я, наверное, последний раз тогда держал в руках эту газету... Бухарин был секретарем комиссии по разработке конституции, а председателем был, если я не ошибаюсь, сам Сталин. Но это неважно... Читаю эту статью. Говорится о преимуществах нашей социалистической конституции перед конституцией фашистской Германии. Но фашисты тоже считали себя социалистами. И вот я читаю и вижу, что автор не просто говорит о преимуществах, но он сравнивает, он считает возможным проводить параллель между двумя государствами! И там, и здесь у власти стоят партии рабочего класса, и в обеих странах победа социализма с железной необходимостью приводит к установлению термидорианского режима, к диктатуре. Разве так мы представляли себе диктатуру пролетариата? Я не отрекаюсь от социализма. Я уверен, что социализм — это в конечном счете будущее всей планеты. Но какой социализм? Какое будущее? Россия нам это будущее не приближает, наоборот. Она скорее отдаляет его тем, что в ней произошло. Россия — это скорее отрицательный пример. Отрицательный! Дескать, вот что произойдет, если и так далее. В этом смысле можно сказать, что революция потерпела

крах. Когда это случилось? Я думаю, где-то уже в самом начале. Еще при жизни Ленина... Можно было бы все это проследить во всех подробностях, хотя сталинцы сделали все, чтобы замутировать историю, но дело не в подробностях. Не в тактике дело, вот в чем трагедия! За политической историей стоят долговременные факторы, стоят закономерности, которые действуют на протяжении многих веков. Это и есть те факторы, совокупность которых я называю Россией. Видишь ли, революция была для этой страны последним шансом. Последней отчаянной попыткой свернуть шею чудовищу, которое называлось Российской империей и представляло собой самое отвратительное порождение истории, самое тяжелое наследство, которое страна получила от Византии и монголов. Это не моя мысль. Это мысль Маркса... И вот представь себе, сначала казалось, что эта попытка удалась. Чудовище испустило дух! В сущности, оно уже давно агонизировало, и революция просто добила его. Но затем большевики столкнулись с необходимостью строить новое государство. Государство, о котором у классиков марксизма конкретно ничего не сказано. Об этом как-то не было времени хорошенько подумать... Многие были уверены, что государство попросту отомрет, как только власть перейдет в руки пролетариата. Так думал даже Ленин — до тех пор, пока сам не стал главой государства. Согласись, что стоять во главе государства и проповедовать отмирание государства невозможно. Словом, стало ясно, что без государства построить социализм нельзя. И вот теперь что же мы видим? Мы видим, что чудовище, которое мы уничтожили, возродилось! Оно возродилось, и даже в еще худшем варианте. И я тебе скажу почему. Мы, я имею в виду марксистов, упустили из виду одно маленькое обстоятельство. Мы упустили из виду национальный фактор. Годами большевики спорили о том, можно ли построить социализм в отсталой стране, а надо было подумать о том, чем обусловлена эта так называемая отсталость. Мы не понимали, что нужно этому народу, потому что мы невнимательно читали его историю. А Сталин понял, хотя он невежественней любого учителя средней школы... Мы думали, что этому народу нужна свобода, равноправие, достоинство личности, свободный коллективный труд на самих себя. А на самом деле ему это было совсем не нужно, вот в чем дело, вот в чем трагедия! И сталинцы это прекрасно поняли. Мы, марксисты, опирались только на

одну историю, на историю революционного движения в России. Нам казалось, что это — стержень русской истории. Ну что ж, рассмотрим эту историю! Ты, конечно, знаешь ленинскую концепцию трех этапов революционного движения. Посмотрим, имело ли оно массовую базу. О декабристах говорить нечего. Народники? Народники не получили никакой поддержки, как только крестьянские массы, этот самый народ, — как только он понял, что они хотят сокрушить государственный порядок и свергнуть царя. Остается третий этап, на котором революционное движение действительно приняло массовый характер, но этот третий этап совпадает с разложением монархии и всего феодального уклада, и теперь только мы понимаем, какой зловещий смысл имело это массовое революционное движение. Оно выражало недовольство народных масс тем, что империя шатается, недовольство царем, что он плохой царь, недовольство хозяевами, что они плохие хозяева, оно выражало страх и ненависть к демократии, которая начала развиваться в России, ненависть к городу, ненависть к капитализму, который несет с собой эту демократию. Да, это была антикапиталистическая революция, но не ради того, чтобы построить новое общество, а ради того, чтобы вернуться назад, к крепостному праву, к византийскому владыке, к хозяину. Тогда это мало кто понимал, но сейчас это ясно как Божий день... Это не была революция народа, доросшего до сознания свободы и понимания того, что он сам имеет право решать свою судьбу. Это была революция рабов... Я не собираюсь порочить русский народ, — проговорил он угасшим голосом. — Каков он есть, таков он и есть... Это народ, загнипнотизированный имперской идеей. И он всегда предпочтет тот режим, который эту идею реализует, и того вождя, в ком она воплощена. И поэтому он будет держаться за сталинскую власть, будет проливать за нее кровь, будет совершать во имя ее подвиги, все вытерпит и все ей простит... Ибо только эта власть обеспечила сохранение империи. Только сталинская власть обеспечила порядок, как он его понимает... Большевики должны были установить такую власть — или сойти со сцены. Вот в двух словах итог и смысл нашей революции. К светлым вершинам коммунизма? Где они, эти светлые вершины? Как до них добраться, если государство вместо того, чтобы отмирать, с каждым десятилетием крепнет и свирепеет и уже оккупировало всю жизнь людей — и культурную жизнь,

и экономическую жизнь, и даже личную жизнь? Я тебе скажу. Собственно, это и есть мой главный вывод... Никакого выхода нет и не может быть. Это заколдованный круг. Это безнадежная страна. Был шанс — но больше его уже не будет. Одним словом, это страна без будущего. Все, что может в ней происходить, это только к худшему. Я знаю, что ты скажешь: ты скажешь, что это точка зрения человека, потерпевшего крах. Его, так сказать, столкнули с поезда, и вот он теперь лежит под откосом, корчась от боли, и смотрит вслед уходящему поезду и предсказывает ему крушение... Но я не крушение ему предсказываю, нет, это государство несокрушимо, но оно безнадежно. Оно неизлечимо, как неизлечим его народ. И кто знает, может быть, все даже к лучшему... Может быть, я так никогда бы и не опомнился, если бы меня не выкинули из поезда. Я не имел бы времени подумать... Да, мы были уверены, что устремляемся к светлому будущему. Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка... А на самом деле мы ехали в новое средневековье. Получается так, что каждая новая победа, буквально каждый новый успех приводит к тому, что этот вурдалак становится все могущественнее! Теперь он раздавил самого Гитлера, и что же? Станет ли страна от этого счастливее?.. Ты посмотри на нее, ты только посмотри вокруг! Можно подумать, что над этой страной тяготеет какой-то злой рок. Куда ни поедешь, всюду развал, разруха. Грязные хибары, повалившиеся заборы, совершенно невероятные уборные! И не говори мне, что это результат войны. Это, конечно, результат войны, но война только добавила к тому, что уже было, и смею тебя заверить, через двадцать лет будет то же самое. И через двадцать лет ты на каждом шагу будешь слышать мат, и на каждом углу будут валяться пьяные... Это страна, где надо было загнать двадцать миллионов человек в лагерь, чтобы заставить их работать, и надо было восстановить в деревне крепостное право, чтобы опять-таки заставить крестьян работать. И что будет дальше, никто не знает, может быть, завтра в лагерях окажется пятьдесят миллионов... И все будут по-прежнему славить великого Сталина... Ибо никаких перемен, я имею в виду перемен к лучшему, ожидать невозможно. Нет альтернативы, Леня. Полная беспомощность народа и невозможность ничего иного, кроме хаоса. И это есть, если хочешь знать, самый большой козырь сталинской власти: никакого другого выхода быть не может, или этот

порядок — или распад. Вот тебе баланс тысячелетней русской истории — как сказал поэт Некрасов. Все, что мог, ты уже совершил!»

«Мальчик мой, — сказал он, стискивая руки и устремив на меня круглые глаза, глаза старой птицы, — мальчик мой... Я не для того тебя разыскал, чтобы мучать тебя загадками, и не для того, чтобы надоедать тебе рассказами о моей жизни. Моя жизнь... что моя жизнь! Моя жизнь прошла. Речь идет о тебе, о твоей жизни... Будем откровенны. Моя жизнь была ошибкой, потому что я принес ее в жертву ложному кумиру, и я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку. Но я прожил свою жизнь недаром, нет! Мы все прожили свою жизнь недаром, потому что наш проигрыш дороже иной победы... Победители не способны чему-нибудь научиться, а побежденные... о!.. Надо было пройти через этот опыт. Вот почему я считаю, что опыт России представляет для человечества безмерную ценность. История сделала из России подопытного кролика. Когда-нибудь это поймут... Но наша роль в ней сыграна. Леня, мальчик мой... Мы должны понять, кто мы такие в этой стране. Мы — я имею в виду евреев. Мы должны понять историческую и национальную судьбу России, но мы должны понять и нашу собственную национальную судьбу. Мы были верными детьми этой страны, мы считали ее своей страной. Я говорю не о вчерашнем дне, я говорю о веках. Евреи веками жили в России и сохранили ей верность даже среди самых жестоких гонений. Антисемиты упрекали нас в том, что мы хотели гибели России и поэтому активно участвовали в революционном движении. Белогвардейцы тыкали нам в нос тем, что первые марксистские кружки чуть ли не наполовину состояли из евреев, что в двадцатом году евреем был чуть ли не каждый четвертый член Цека, что во главе советского государства, я имею в виду председателя ВЦИК, стоял еврей и что еврейские родственники были у Ленина, не говоря уже о всех его друзьях, и что в конце концов сам Маркс был евреем. Но при этом они забывают, что революция отвечала чаяниям русского народа, конечно, и других народов, но прежде всего русского, причем в совершенно особом смысле, как мы это теперь видим. Не в том смысле, что она избавила его от рабства, хотя вначале-таки избавила. А в том, что новый режим сохранил империю. Да, теперь мы это хорошо видим! Так что даже с этой точки зрения евреи хорошо послужили Рос-

сии. Тут какая-то насмешка истории, какой-то рок... Но они служили ей и в других областях: посмотри на литературу, посмотри на науку. Шахматисты, артисты, я знаю?... Антисемиты упрекают евреев в том, что они захребетники и трусы и во время войны, дескать, отсиживались в Ташкенте, а я тебе скажу, что на фронте было полмиллиона евреев. А сколько погибло? Об этом они не пишут. Никто не имеет права упрекнуть евреев в том, что они плохо служили своей родине. Но что такое родина? Вот вопрос. Что такое национальная основа, национальная почва, если уж пользоваться этим словом, которое нам тыкают в нос антисемиты? Для русского человека это земля, на которой он живет. Вот эта самая глина, которую ты видишь вокруг себя... А наши корни глубже. Потому что они проходят сквозь эту почву и идут еще дальше. Родина — это не государство. Это надо понять. Государство сегодня одно, завтра другое. Сегодня оно есть, а завтра его нет! Что же это такое: география? Нет, не география. Для всех других родина — это и государство, и географическое место, но не для нас. Потому что родина включает в себе и умерших, родина — это не только место, где я родился, но и место, где жили предки моих предков. Хорошо, скажешь ты, но каких предков, до какого колена? Я отвечу. До той поры, до которой простирается историческая память народа. Русские помнят своих предков, живших на той же самой территории, на которой живут они сами, и больше никаких. Другие народы помнят себя с тех пор, как они живут там, где они живут сейчас, хотя у многих на самом деле была другая родина, еще более древняя, откуда они когда-то вышли. Но они ее не помнят. А евреи помнят. Вот и вся разница! Евреи помнят всю свою историю — почему? — потому что у них была письменность, и что еще важнее, потому что письменность, книга стала достоянием всего народа, а не только ученых или жрецов. Каждый еврей был обязан изучать эту письменность и эту историю, без этого он не мог считаться полноценным членом общины... У нас нет знати, потому что весь народ помнит свое происхождение. Весь народ знает, откуда он родом, кто его предки. И только поэтому это — народ, только поэтому евреи не исчезли, не растворились, как десятки, а может быть, и сотни других народов вместе с их цивилизацией и историей, которую они не удосужились запомнить. Другие народы — это народы одной цивилизации, одного исторического периода, а мы

свидетели нескольких цивилизаций. Другие народы жили или живут внутри истории, а мы видели всю историю человечества. Мы старше истории: она прошла на наших глазах. Мы старше религии, ибо мы сами ее создали... Поэтому то, что для других наций служит определяющим признаком, — территория, государство, одежда, разговорный язык, я знаю? — для нас только эпизод, только роль, как для актера, который сегодня играет Гамлета, завтра будет играть Полония... Сегодня мы говорим по-русски, вчера говорили по-немецки, а семьсот лет назад по-испански. Сегодня мы носим пиджаки, вчера носили кафтаны и лапсердаки; у нас есть нечто поважнее кафтана... Более вечное, чем государство, чем все империи на свете. Где они, эти империи? Все рушилось, исчезали целые цивилизации, а евреи сидели и писали свою историю, молились и снова писали... Когда-то мы были в плену у фараона, и не было ничего на свете страшнее, чем этот фараон, а где теперь фараоны? Где Египет? Где Вавилон, где Рим, который растоптал иудеев, где, где? Сколько народов упомянуто в Библии, о которых никто никогда бы не вспомнил! Их помнят просто потому, что они когда-то воевали с евреями. И я тебе скажу больше. И нынешние великие нации когда-нибудь закончат свое существование, а евреи останутся. Евреи останутся и запишут в своих книгах, что когда-то, несколько веков, они жили в России. Да, еврейская история кажется чем-то необъяснимым, поэтому об нее обломал зубы исторический материализм — это говорю тебе я, марксист и атеист! Не будем сейчас доискиваться до причин, один скажет, что это Бог ведет евреев, как он когда-то вел их через Синайскую пустыню, другой придумает что-нибудь другое. Я лично думаю, что объяснить загадку еврейской истории невозможно, для этого нужно выйти за пределы истории... Марксизм замечательно объясняет историю, не было еще такой стройной и последовательной теории. Но он объясняет только то, что находится внутри истории, понимаешь ли, то, что порождено самой историей. Все годы я думал над этим, у меня было время подумать... И вот я тебе скажу. Я тебе скажу, что стоит над историей: над историей стоит Израиль. Как мать над колыбелью ребенка. Что я хотел сказать... Да! У нас отнято все. Все, что необходимо для исторического существования, что считалось необходимым для исторического существования. Но у нас осталась наша память. У нас осталась книга и сверхязык, на котором она напи-

сана, лашон кодеш... Двадцать две буквы, из которых мы сотворили наш мир... Послушай, я тебе расскажу одну сказку, мне когда-то рассказывал ее мой дедушка. И ты когда-нибудь расскажешь ее своим внукам. Однажды Израиль Баал Шем Тов — ты знаешь, кто такой Баал Шем Тов? Это был великий учитель. Никто не знает, куда он исчез. Считается, что он не умер, он просто ушел. Ничего не поделаешь: бывают такие люди, которые не умирают! Так вот однажды он объявил, что срок пришел, тысячи лет еврейский народ ожидал Мессию и вот наконец дождался: Мессия идет на землю. Мессия идет! Чаша страданий переполнилась. Он не может не прийти. И если даже он не захочет прийти, то он, Баал Шем Тов, заставит его это сделать, ибо недаром его прозвали Баал Шем Тов, что значит Хозяин благого Имени; он назовет это Имя вслух, он произнесет такое заклинание, что небу станет жарко, и Мессия, хочет он этого или нет, будет вынужден сесть на ослицу и отправиться в путь. Но это было ошибкой, потому что на самом деле чаша еще далеко не была полна. В ней еще оставалось много места... Впереди были еще печи Освенцима. Нет, еще не пришло время, Бешт (это его сокращенное имя) совершил ошибку, и за это он был наказан. С неба спустилось облако, накрыло его с головой, и в одну минуту он был перенесен на необитаемый остров. Но он оказался на этом диком острове не один. Вместе с ним был его ученик, по имени Герш Сойфер. И вот они стоят и думают, что им делать. «Учитель, произнесите какое-нибудь заклинание». — «Какое заклинание», — спрашивает Бешт. «Какое-нибудь, ведь вы же мастер, вы чудотворец, скажите волшебное слово. Не можем же мы здесь оставаться. Здесь никого нет, здесь нечего есть». — «Да, — говорит Бешт, — здесь действительно нет никого, и здесь нечего кушать. Но беда в том, что я все забыл... все слова». — «Что же мы будем делать?» — «Ты должен сам вспомнить, — говорит Бешт. — Ведь я же тебя чему-то учил. В конце концов ты мой ученик». — «Нет, — говорит Сойфер, — я тоже все забыл. Эти сволочи постарались отшибить у меня всю память». — «Какие сволочи, не богохульствуй! Лучше постарайся вспомнить». — «Я стараюсь, — говорит Сойфер, — но ничего не могу вспомнить. Знаю только одну-единственную первую букву алфавита: Алеф». — «Алеф? — спрашивает Бешт. — Но я знаю еще одну букву, Бэйт. Давай вспоминать вместе. Как будет третья буква?» — «Третья буква будет Гимел».

— «Отлично, давай дальше!» — И они стали вспоминать, и вспомнили, буква за буквой, весь священный алфавит. И это было единственное, что сохранилось у них в памяти, единственное, но самое главное, из чего состоит любой текст и из чего состоит весь мир, потому что мир — это тоже текст. И вот постепенно из букв начали сами собой складываться слова, а из слов сложилась фраза. И когда эта фраза сложилась, он громко произнес ее вслух. И они вернулись. Они вернулись, а Мессия так и не пришел. Ты понял, о чем эта притча? Нет? Так я тебе объясню... Ты видишь, что в ней три действующих лица: праведник, его ученик и еще одно лицо, о котором мы скажем позже... Праведник достиг вершины знания. По еврейской традиции близость к Богу невозможна без мудрости, этим она отличается от христианской традиции с ее уверенностью, будто первыми вступят в царство небесное нищие духом — иначе говоря, слабоумные! Нет, еврейская традиция не унижает разум. Праведность включает в себя знание, праведник — это ученый. Хасидизм пытался преодолеть законничество, это другое дело, об этом мы скажем ниже, но, как видишь, и величайший учитель хасидизма, Баал Шем Тов, — это тоже обладатель великого знания. И это знание дает ему сверхъестественную власть. Он может ускорить приход Мессии, заставить его сойти на землю. Другими словами, он может прекратить историю. Ты должен иметь в виду, что за терминами еврейского предания всегда скрывается какой-то другой смысл, а за ним еще другой и так далее... Но приостановление исторического процесса, обрыв истории — мы скажем проще: революция, которая имеет целью разом покончить со всеми несправедливостями и установить на земле то, что в другой системе представлений называется царством небесным, — не может быть произвольным решением одного человека, хотя бы и одушевленного самыми лучшими чувствами и... и намерениями. Любовь к народу, сострадание к народу завели Бешта слишком далеко. Он потерял терпение, как многие теряли до него, и решил, что чаша страданий полна, между тем как в ней не было еще и половины. Он решил, что дьявол выложил на стол уже все свои козыри и пора заканчивать игру. А дьявол — дьявол истории — шел-то, оказывается, с младших козырей, до старших еще было далеко! Старшие козыри дьявол выложил в двадцатом веке. И вообще неизвестно, сколько у него козырей... И вот высшая инстанция, которая только одна знает всю

игру, наказывает праведника. Она наказывает его полным лишением памяти, а что значит лишиться памяти? Это значит потерять власть над вещами и утратить контакт с людьми. Вот что означает ссылка на необитаемый остров. Теперь рассмотрим вторую фигуру, второе действующее лицо: это реб Цви-Герш Сойфер. Сойфер — это значит книжник. Сойфер — не праведник, все, что он получил от учителя, — это формальное знание. Сойфер при Беште — это примерно то же, что Вагнер при Фаусте. Но при этом он представляет собой новую вариацию законника, это ученый новой формации; законник был чистым схоластом, корпел над книгами и извлекал из них все новые крупинки знания, а ученый нового времени — это каббалист, он манипулирует со знаками и формулами, и в этом весь смысл его жизни, знание для него — самоцель. Формальные построения, в сущности, и есть для него структура мира, никакого другого смысла в мире для него нет. Замысел Бешта — что-то вроде научного эксперимента, который должен подтвердить правильность теории. Естественно, что он делит наказание со своим учителем. И наконец, в этом рассказе есть третье действующее лицо, это — Спаситель, Машиах, что значит помазанник... Это загадочный персонаж еврейской истории, который вечно — при дверях, но который никогда не появляется, потому что его появление означало бы конец всему, без чего невозможно представить себе историю: конец войн, конец насилия, конец эксплуатации, конец государства. Это, если хочешь знать, далекий и окончательный смысл истории, смысл всех страданий и жертв, но он находится уже за пределами истории. Поэтому, пока длится история, Мессия не придет, сколько бы мы его ни ждали и сколько бы нам ни казалось, что мы уже слышим, как бренчат бубенцы ослицы, на которой он едет... Теперь ты понимаешь, что эта притча о чудотворце на самом деле — притча о еврейском народе. Всякий раз, когда нам кажется, что мы уже у цели, что избавление вот-вот придет, всякий раз нас постигает жестокое разочарование. Всякий раз, когда мы пытаемся сбросить проклятье истории и выпрыгнуть из истории в рай, — нас ждет кара. Какая же это кара? Эта кара — забвение самих себя. Утрата памяти, единственного, что у нас есть, что сохранило нас как народ. Утрата памяти! И разве не то же произошло с нами сейчас? Бросившись в русскую революцию, как в окошко, за которым — алая заря, за которым все —

блеск и голубизна, бросившись в это окошко, чтобы полететь, мы упали на камни, мы очутились на бесплодном острове. Мы забыли, кто мы и откуда мы. Мессия не пришел и никогда не придет, а мы? Что нам делать? Нам нужно восстанавливать память. Нужно начинать с азов, буква за буквой, слово за словом восстанавливать свою память, иначе говоря, восстанавливать самих себя... Мы разбились вдребезги, выпрыгивая из окошка, от нас уже почти ничего не осталось!.. Леня, — проговорил он, и в глазах его стояли слезы. — Леня, мы должны с этого острова бежать. Как сказал этот Цви-Герш, — он горестно усмехнулся, — как сказал Цви-Герш: не можем же мы здесь оставаться... Леня, мы должны уехать! Для этого я тебя разыскал».

Он остановился, тяжело дыша, глядя на меня в упор выпученными слезящимися глазами, и начал приглаживать ключья стоящих дыбом волос, точно смотрелся в зеркало. Так прошло несколько мгновений, потом он как будто пришел в себя и заговорил спокойнее. «Забудь все, что я тебе говорил, всю эту философию. Дело не в философии. Мальчик мой... Я имею возможность выехать. Эмигрировать, пусть тебя не пугает это слово. Одним словом, навсегда покинуть эту страну. Это кажется невероятным, никому даже в голову не приходит, что отсюда можно бежать, и за одно упоминание, за одну только мысль можно схватить срок. Но это не значит, что это невозможно. Короче говоря, у меня есть разрешение. Это потребовало больших хлопот и, конечно, знакомств, с меня взяли подписку, что отъезд останется в тайне, и еще одну подписку, что я не буду заниматься антисоветской деятельностью. Я подписал. Почему? Потому что я действительно не собираюсь заниматься никакой пропагандой, я вообще не намерен заниматься политикой... У меня есть только одно маленькое желание. Я хочу написать воспоминания. Видишь ли, я хочу полностью рассчитаться со своим прошлым, с нашим прошлым. Я хочу описать все как было, я не хочу оправдываться. И я не хочу, чтобы ты... чтобы ты... здесь остался, — договорил он. — Послушай, что я тебе скажу... Ты можешь мне поверить: в этой стране больше делать нечего. Жить здесь невозможно. Если бы я мог тебе рассказать, что здесь творилось и продолжает твориться, — вся эта колоссальная подземная система, миллионы, может быть, десятки миллионов заключенных... но не будем об этом. Исправить это невозможно, это надо просто

забыть. Я уезжаю, уезжаю навсегда, безвозвратно, и ты едешь вместе со мной. Теперь, когда я добыл все документы, полностью доказал свое отцовство, ты имеешь право как мой сын ехать со мной. Твои родители пока еще не знают, они вообще думают, что я отступился и махнул рукой. Но я не могу махнуть на тебя рукой. Если бы не ты, я бы и не затеял все это. Ты для меня все, и я не имею права тебя здесь оставить. Твой отец инвалид. Он пьяница. Твоя мать... у нее другие заботы. Нет, я ничего плохого сказать о них не хочу. В конце концов, они тебя воспитали, сделали для тебя все что могли. Но они несчастные люди, бесправные, еле сводящие концы с концами, и они ничем тебе помочь не смогут. Одному Богу известно, что с тобой будет. Ты можешь мне поверить. Я долго думал, прежде чем решился сказать тебе все. Я хочу тебе сказать, что там ты будешь свободным человеком. Ты даже не представляешь себе, какие возможности откроются перед тобой. Ты молод и, слава Богу, кажется, здоров. Что еще нужно? Ты получишь настоящее образование. Ты, наконец, станешь евреем. Ты знаешь, что значит быть евреем в России? Что значит дышать воздухом, в котором вместе с кислородом и азотом содержится еще один газ? Этот газ может быть таким же невидимым, как азот и кислород, но ты им дышишь, ты вдыхаешь его каждый день и каждую минуту: газ недоверия, газ презрения, газ ненависти к евреям! Ты это, может быть, еще не почувствовал, и дай Бог тебе никогда не почувствовать. Сейчас решается важный вопрос, — сказал он, — ты, может быть, слышал о том, что срок мандата истекает. Палестина получает самостоятельность. Ты будешь жить в собственном государстве, в подлинном социалистическом государстве, которое не имеет ничего общего с тем социализмом, который ты видишь вокруг... И, наконец, самое главное, у нас есть родственники. У тебя там целая куча двоюродных братьев и сестер, ты знаешь об этом? Я сделаю все, чтобы обеспечить тебе нормальную полноценную жизнь. Я разобьюсь в лепешку. Леня! Это редчайшая удача, ты вытянул счастливый билет. Послушай, что я тебе скажу. Ты никуда не пойдешь. Ты останешься здесь. Тебе не надо возвращаться... так будет лучше. Я сам съезжу за твоими вещами. Потом, перед отъездом, попрощаешься, а пока поживешь у меня. Так будет гораздо лучше. Леня, я хочу, чтоб ты понял... Скажи только: да, и больше ничего не надо, я беру все на себя.

Я объясню твоим родителям. Они люди разумные. Они поймут, что это в твоих интересах. Я уже заполнил все бумаги, я достал тысячу и одну справку, и достану еще, если понадобится. Мы едем, да? Леня, скажи: да? .. Да? Ты согласен?»

«Нет», — сказал я.

ГЛАВА 42

Ночью наступила зима. Пока я слушал его, пока гремели выстрелы, пока Мессия сидел у ворот Рима, земля повернулась, и все вокруг, пустыри, канавы, картофельное поле, перед которым я кружил вечером во тьме и которое сейчас мы пересекли, чтобы сократить путь, шагая по комьям замерзшей грязи, — все покрыл свежий и чистый утренний снег. В сумраке мы оставляли черные следы на голубом снегу. Словно первопроходцы, мы шли вдоль палисадников, мимо белых заколоченных дач, мимо мертвых деревьев. Миновали шлагбаум и поднялись по деревянным ступенькам, где снег был уже изрядно потоптан. Темные фигуры кучками стояли вдоль платформы. Над входом в зал ожидания тускло освещенный циферблат показывал какое-то невероятное время. Блистая огненным глазом, подошла электричка, битком набитая людьми. Он вцепился в меня, стараясь дотянуться губами до моих окаменевших губ, — и поехал назад вместе с платформой, часами, темной станцией. Несколько мгновений я видел его сквозь мутное стекло: он стоял, воздев руки, в венце полыхающих волос. И исчез.

В Москве, идя в толпе по мокрому перрону, я увидел серое олово крыш, стальной гребень Ярославского вокзала и то особое, бледно-лиловое сияние, охватившее полнеба, которое служит знаком наступающего дня. Я был бодр, спокоен, слегка озяб и, несмотря на бессонную ночь, испытывал во всем теле ощущение чудесной перемены, которая произошла со мной. Я чувствовал себя так, словно переплыл холодную реку. Вся вчерашняя, прежняя, путаная и тягостная моя жизнь осталась на том берегу, единственное, что меня немного беспокоило, — это мысль о моих родителях, которые, наверное, с ума сошли от беспокойства: впервые в жизни я не ночевал дома. Я шел, ежась от холода, и думал, что придумать. Не было никакого смысла рассказывать дома, где я про-

вел ночь. Я шел — и за всеми моими мыслями стояло, как лиловое сияние, горделивое сознание новой жизни. Я не знал толком, что это была за жизнь, к которой я стремительно приближался, в которую вступал с каждым шагом; но это была уже совершенно другая жизнь. Прошлое было достойно презрения. Я чувствовал себя взрослым.

Необыкновенно торжественно выглядел наш тихий переулок, устланный, как белым ковром, еще нетронутым снегом. Снег запорошил машину, стоявшую против дома на другой стороне. За рулем дремал, опустив голову, шофер. Окна отсвечивали металлической мертвенной голубизной. Было еще совсем рано. Я вошел в темное парадное, позвонил, мне открыли, в темном, затхлом тепле квартиры я увидел бледное лицо мачехи, ее расширенные от ужаса глаза, и мне стало по-настоящему совестно. Она была одета, следовательно, не ложилась. Сзади стоял кто-то, в погонах и портупее. Я подумал, что кто-то приехал к соседям и по ошибке вышел открыть дверь, и еще какая-то сложная и путаная мысль промелькнула у меня в голове, мысль, что всегдашнее мое суеверие на этот раз оправдалось; то есть если бы оно оправдалось, все выглядело бы именно так. И мгновенная идея — повернуться и уйти — явилась мне как возможность, как ход в пьесе, если бы эта пьеса вдруг стала реальностью. «Леня, — пролепетала мачеха, — ты... тут у нас...» Человек отодвинул ее в сторону и, притворив за мной дверь, сказал: «Пройдемте, прошу».

Ирония заключалась в том, что меня действительно ждали. Нервничали, беспокоились и ждали, по-видимому, уже давно. Ибо требовалось, по крайней мере, несколько часов, чтобы превратить комнату в то, чем она стала. С изумлением оглядывал я наше тесное гнездо, точно расклеванное железным клювом. Все, что можно было взломать, разъять, рассыпать, было взломано и рассыпано. Ни одной вещи не осталось на месте. Белье валялось на полу. Занавеска над кроватью родителей была оборвана, постель перевернута, шкаф стоял растворенный настежь и пустой, зеркало было отвинчено и стояло между шкафом и Даниной кроваткой, тоже опустошенной, — вспоротый матрас висел, свесившись через спинку. Горел свет, хотя уже рассвело. В углу за диваном сидел Даня, точно островитянин, зачарованный зрелищем прибытия таинственных белых людей. За столом сидел один из них, курил и играл носком сапога.

Напротив сидел, насупившись, мой отец. Ожидание наполнило разоренную комнату, как удушливый газ.

Человек раздавил в блюдце окурок и протянул руку к портфелю, стоявшему возле ножки стола.

«Так, — сказал он. — Где гулял-пропадал? Поди сюда. Фамилия, имя?»

Можно добавить, что в комнате присутствовал еще один персонаж: присутствовал, так сказать, незримо. Он и потом остался неназываемым до самого конца, до нынешнего времени, когда, стоя уже на пороге могилы, я помянул его на этих страницах. Простой факт, легко вычисляемый уже из того, что его имя не фигурировало в бумагах, что им не интересовались следователи, этот факт — то, что он состоял на службе в ведомстве, куда меня должны были препроводить и где уже с двух часов ночи находился Вика, — этот факт так и остался в сфере подразумеваемости, ибо незачем пояснять, что я никогда больше не видел нашего друга Хрисанфовича. Да если бы и увидел — что он мог бы сказать в свое оправдание? Что наша гибель была предначертана звездами?

Несколько мгновений я вертел в руках ордер с печатью и подписью прокурора, мачеха металась по комнате, собирая в наволочку кружку, зубную щетку, и, собственно, на этом все было кончено, лейтенант отобрал ордер, щелкнул челюстями портфеля, — но тут произошло еще кое-что. Мой отец заскрипел стулом и медленно произнес:

«Вот что, господа хорошие...»

Лейтенант застегивал шинель, а другой ждал в дверях.

«Вот что, — сказал отец каким-то желудочным голосом. — Возьмите лучше меня. И делайте со мной все, что надо. Подпишу все, что хотите. А его не трожьте. Ясно?»

«Алексей, — это был голос мачехи, — что ты, Алексей?...»

«Уйди прочь, — сказал отец, вставая. — Сволочи, крысы вонючие...» И он добавил кое-что.

«Ты полегче, полегче!» — сказал лейтенант мрачно.

«Не трожь, говорю! Только попробуйте, гниды... Всех, гадов, перестреляю!»

С изумившей меня ловкостью молниеносным движением он выхватил из пиджака свой «ГТ» и выставил перед собой, прижимая локоть к груди и мигая сверкающим глазом. От неожиданности лейтенант шархнул, заслонился портфелем, а второй, стоявший сзади меня, сел на корточки.

«Руки вверх!» — гаркнул отец. Лейтенант начал медленно поднимать руки. Все это напоминало пародию на приключенческий фильм. Продолжая поднимать руки, лейтенант вдруг опрокинул ногой стул и бросился вперед. Через секунду пистолет лежал на полу. От сильного удара отец скорчился и сел на стул. Лейтенант поднял пистолет; ствол был просверлен и магазин пуст. «Падла старая, проститутка, — буркнул он, — у, проститутка! — Он подошел к нему и замахнулся локтем. — Скажи спасибо, падла, что не до тебя сейчас, выбил бы тебе последний глаз. Ты бы меня запомнил, гадина». Мой отец молча поднял на него свое продавленное лицо, и это было последнее, что я видел. Меня толкнули в коридор и повели на улицу; один спереди, другой сзади.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАС КОРОЛЯ. <i>Повесть</i>	27
АНТИВРЕМЯ. <i>Московский роман</i>	85

Хазанов Б.

X 15 Час короля, Антивремя: повесть, Московский роман.
— М., СП «Слово», 1991. — 252 с., ил.

ISBN 5-85050-274-2

Борис Хазанов — современный русский писатель. Живет в Мюнхене. Повесть «Час короля» была написана в Москве, впервые опубликована в 1976 году в русском журнале «Время и мы», выходившем тогда в Иерусалиме. Роман «Антивремя» также был написан в Москве, изъят у автора при обыске и не возвращен. Автор восстановил его по памяти. Опубликован в 1985 году в книге Бориса Хазанова «Я воскресение и жизнь» (издательство «Время и мы». Нью-Йорк — Иерусалим — Париж). Повесть «Час короля» была опубликована в 1990 году в журнале «Химия и жизнь». Роман «Антивремя» в Советском Союзе публикуется впервые.

X 4702010201—016 Без объявл.
M128(03)—91

ББК 84Р 6

Борис Хазанов

Час короля

Редактор *Б. М. Сарнов*

Художественный редактор *В. В. Медведев*

Технический редактор *Л. И. Витушкина*

Корректоры *Г. И. Киселева* и *Т. И. Томашевская*

Сдано в набор 11.11.90 г. Подписано в печать 29.03.91 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Тип
Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,4. Уч.-изд. л. 16,2.
Тираж 25 000 экз. Цена 5 руб. Заказ № 2310.

СП «Слово». 119034, Москва, Остоженка, 41.

Отпечатано с диапозитивов Ордена Трудового Красного
Знамени Тверского полиграфического комбината Государ-
ственного комитета СССР по печати. 170024, Тверь,
пр. Ленина, 5 на Книжной фабрике № 1 Министерства
печати и массовой информации РСФСР. 144003, г. Электро-
сталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

Ex Libris

— это издательство совместного
советско-британского предприятия

Слово/Slovo

Наши книги для вас:
знакомство с шедеврами мировой литературы,
новые сведения об истории, общественной жизни,
культуре, религии,
увлекательное чтение.

В 1991—1992 ГОДАХ МЫ ПЛАНИРУЕМ:

- вернуть читателю лучшие книги известных авторов Русского зарубежья, наших соотечественников: Ф. Горенштейна, А. Амальрика, Б. Хазанова, З. Зиника, А. Авторханова...
- издать произведения еще недавно опальных мастеров слова: В. Некрасова, С. Довлатова, И. Бродского, П. Вайля, А. Гениса...
- представить самый широкий спектр современной литературы книгами советских авторов: И. Герасимова, Л. Зорина, Ю. Карабчиевского, М. Кураева, В. Нарбиковой, А. Приставкина, А. Родина...
- познакомить читателя с шедеврами зарубежной литературы, оказавшимися по разным причинам «белыми пятнами» в нашей стране: «Сенсация» и «Черная напасть» И. Во, «Тропик Рака» Г. Миллера, антология «Английский готический рассказ»...
- дать возможность прочитать исповедь Г. Вишневской «Галина»...
- ввести в широкое обращение книги, давно ставшие раритетами...

- выпустить семитомный труд протоиерея Александра Меня «История религии»...
- продолжить серию «Английский детектив»...
- начать серию «Зарубежный детектив»...
- удивить детей и взрослых выпуском ярких, оригинальных изданий...

Следите за информацией издательства

Ex Libris

совместного
советско-британского предприятия

Слово/Slovo

Коллективные заявки на приобретение книг нашего издательства (не менее 1000 экз.) можно присылать по адресу: 121433, Москва, Б. Филевская, 37/1.

Борис ХАЗАНОВ

Борис
ХАЗАНОВ
ЧАС КОРОЛЯ
АНТИВРЕМЯ.
МОСКОВСКИЙ РОМАН

